

3-81



ЛЕОНАРД
ЗОЛОТАРЕВ

Любящая Жария

трагедии
драмы
комедии





ЛЕОНАРД
ЗОЛОТАРЕВ

Любящая Жария

трагедии·драмы·комедии

A 238709

2007



Орел
2005

ББК 84(2р)

З-80

Рецензенты:

КУРЛЯНДСКАЯ Галина Борисовна – доктор филологических наук,
профессор;

ОСМОЛОВСКИЙ Олег Николаевич – доктор филологических наук,
профессор;

УЗИЛЕВСКИЙ Геннадий Яковлевич – доктор филологических наук,
профессор

Ответственный редактор:

ОСМОЛОВСКИЙ Олег Николаевич – доктор филологических наук,
профессор

З-80 **Золотарев Л.М. Любящая Мария (комедии, драмы, трагедии).**
Орел: Издательство “Вешние воды”. – 2005. – С. 320.

ISBN 5-87295-186-8

Леонард Михайлович Золотарев давно известен читателю как крупный прозаик и поэт, публицист и переводчик (автор многих рассказов, романов в прозе и стихах, переводов с древнерусского, французского), в этом сборнике трагедий, драм и комедий выступает как самобытный, талантливый драматург.

Пьесы предназначены театрам, кинематографу, широкому зрителю, читателю, всем любителям оригинального сюжета, меткого, острого слова, живого характера в непростой ситуации романтических поисков автора, на грани возможного и невозможного, реального и инобытийного в очевидных и невероятных перипетиях жизни.

ББК 84(2р)

ISBN 5-87295-186-8

© Золотарев Л.М., 2005.

© Издательство “Вешние воды”, 2005.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборник драматических произведений “Любящая Мария” большого русского писателя-орловца Леонарда Михайловича Золотарева включены семь пьес различной жанрово-художественной и социально-психологической направленности. Это целый театральный репертуар – от трагедии-мистерии (“Любящая Мария, или Орловский централ” – о судьбе женщины, лидера левых эсеров Марии Спиридоновой) до многослойных военно-приключенческих детективных сюжетов (“В кольце нибелунгов (Двойник Гитлера)”, (“Ехала телега по войне”); от классического театрального переложения Г. Мопассана (“Пышка”) до ажурной ассоциации инсценированной прозы (“Жижи” А. Колетт, “Немного солнца в холодной воде” Ф. Саган).

Мастерство и масштаб, тонкость и лиризм, ироничность, юмор драматурга предстают во всем блеске таланта, игры ума, в подтексте владения словом, законами жанра, в коллизии личности и социума. Многопланова, естественно-гармонична, кинематографична палитра автора. Целые пласты различных социальных слоев предстают в живой образной форме, выражая энциклопедию жизни, “феноменологию духа” (Гегель). И это, на мой взгляд, важно сейчас театру, кино, интересно читателю, зрителю искушенному, со вкусом, в нынешнюю эпоху наступления массовой культуры. Сцена нуждается в такой обладающей традиционным и в то же время современным духовным абсолютом, немалым внутренним потенциалом, многообещающей драматургии. Светлого пути Леонарду Золотареву на театральную сцену, на киноэкраны! Верю в него и надеюсь.

*Г.Б. Курляндская,
доктор филологических наук,
профессор*

МНОГОЛИКАЯ ДРАМА ТЕАТРА

(ОТ АВТОРА)

*Можете ли вы не любить
театра больше всего на свете,
кроме блага и истины?*

В. Белинский

Легче, выше, проще, веселее.

(Из театральных заветов
по системе Станиславского)

Слышал в телепередаче от Жанны д'Арк – Инны Чуриковой, как ее с молодости посещали приливы счастья, и задохнулся от совпадения чувств. Бреду как-то осенней рощей у нас тут в поселке Синяевском, а под ногами шелестящее золото, над головой – шепот листьев в тонком струении воздуха, а еще выше – синее-синее небо. Этот прилив во мне сопоставим разве что со словами, помнится, бабы Дарьи – словотворицы нашей о том, что тут у нас на поселке такая заповедная красота природы, что просто “рай летают”. Пришел я к соседу Виктору, подошел к яблоне, глянул ввысь – обалдел: море зелени, золотые мячики яблочек пахнут антоновкой, и там, за золотом пятен, – синь поднебесная. Вот и ношу в сердце все это, а оно никак не пропадает. Но где-то постоянно глуховатая боль по России.

Это говорит во мне заложенная от природы артистичность, сопереживаемость, что ли. Отродясь французы называют писателя “*écrivain*” (пишущий) или же “*artiste*” (человек, меняющий облики). А как иначе? Если “артист” – актер умирает в роли на сцене раз, то “артист” – писатель умирает, возрождается и снова умирает многожды, каждый раз возрождаясь и перенастраиваясь в одном лишь абзаце, из космоса улавливая и создавая в себе и вокруг себя биоэнергию, переходя миры от героя к герою, от мысли к мысли.

Помните Пушкина – его “Ай да Пушкин! ай да молодец!”? Или в “серебряном веке” русской поэзии “Я – гений Игорь Северянин”? Ругали его за наглость, а мне нравится. Что же, персидским поэтам древности можно было, а двадцатому веку нельзя? Вот как поэты-персы любили, просто обожали самих себя: “Ты совершенен, Баки, в тонком искусстве газелей”, “Хакани, о Хакани!”... “Хафиз, Хафиз!..”

Помнится, основатель Орловской писательской организации В.А. Мильчаков сказал мне, ступившему к писателям на порог сразу же после газеты:

– Лень, диалога тебе не хватает, понял?

– Понял.

И вот теперь десятка два пьес у меня за спиной, в том числе и в стихах, а это ведь все диалоги – с людьми, с миром во всех его проявлениях и измерениях. И они ведь, эти “дети Мельпомены”, еще и дети мои. Конечно, хотелось бы, чтобы пьесы ставились, люди видели их на сцене. Для чего и пишутся тогда современные и исторические – эхо нынешних “солнечных бурь”. Однако по театрам у нас тут в провинции теперь какие-то магазины, постоянна оглядка на субсидии; так легче жить, вояжировать – вне выполнения прямых творческих функций. И потому авторы с острым современным чутьем, которые могут создавать интерес, даже зрительский поток, таким театрам не интересны. Но, скажем так, наше дело – писать, поелику возможно – издавать, а ставить пьесы дело не наше, не “господское”, не авторское.

Зачем мы ходим в театр?

Это если мы ходим, то зачем? Что ищем в самих себе, ждем от сцены? Хорошо об этом сказал В.Г. Белинский у театрального занавеса. А ведь и тогда шли спектакли вроде “Ваньки-Каина” или “Приключений аглицкого милорда Георга”. Однако эпоха требовала отмены рабства вовне, а в себе – внутреннего освобождения. И вот в московском журнале “Телескоп” появляются такие строки молодого “Виссариона неистового”: “Гордись, гордись, человек, своим высоким назначением... подави свой эгоизм... дыши для счастья других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества”. А ведь и тогда в обществе все было смутно, неясно. Как жить? Какого пути держаться, где и в чем найти истину? Молодой Белинский искал ее на сцене, даже самолично участвовал в постановке первой отечественной комической оперы А. Аблесимова “Мельник, колдун, обманщик и сват”, выступал в роли Яго в трагедии Шекспира “Отелло”, поставленных в родном городе будущего критика – уездном Чембаре Пензенской губернии.

Вот что писал восемнадцатилетний Белинский домой, приехав учиться в Москву: “Видел в ролях Отелло и Карла Моора знаменитого Мочалова... гений мой слишком слаб, слишком ничтожен, чтобы описать игру сего неподражаемого актера, сего необыкновенного гения, великого актера... Лучший комический актер здесь Щепкин: это не человек, а дьявол...”

“Таланты есть, а театра нет!” – с горечью восклицал позже Виссарион Григорьевич. А ведь это были, казалось бы, славные времена

постановок “Горя от ума” Грибоедова и гоголевского “Ревизора”, афиши которых, правда, появлялись весьма редко.

Белинский совершил тогда драматургический подвиг, собственноручно написав пьесу “Дмитрий Калинин”, за свободолюбивый пафос которой и был изгнан из университета. Так писал он в то время в своих театральных рецензиях: “О, риторика! О, набор слов!.. О, герой без образа и лица, без характера и силы, без величия и смысла... О, драма, в которой нет ни характеров, ни действия, ни народности, ни стихов, ни языка, ни правдоподобия... бездна скуки...”

Врагом Белинского были светские чопорность и манерность, господствующие на сцене, пустые театральные эффекты, певучая декламация, красивые позы, минутная фальшь. “От них на Руси пострадало немало дарований, – писал будущий великий критик, – и только немногие могучие таланты... могли освободиться от... манерности и бездушной однообразной игры”.

Дурные примеры живучи, комплексы из разряда “экономии сил” неискоренимы, даже временем неизлечимы. Что же мы видим в нашу эпоху, сейчас? Хотя бы такой, можно сказать, классический, всем известный пример из “Двенадцати стульев” Ильфа и Петрова. Один из московских театров, в сферу которого попадает Остап Бендер, везет на гастроли для постановки “Женитьбы” Гоголя гидравлический пресс – так сказать, “адскую машину” – “домкрат”.

Без “домкрата” мы не можем! Нам нужен именно “домкрат” для поднятия уровня! Натиск так называемой “массовой культуры” – это и “обрезание” авторов, и эти самые спецэффекты – механизмы на сцене, за которыми теряется автор, актер, искажается замысел, внутренний смысл спектакля. Грубые внешние эффекты, действуя на подкорку, подавляют сознание, уменьшая его долю в тонком сочетании, соотношении с подсознанием, дело-то все в чувстве меры.

Орел не такой уж в драматургическом смысле крупный центр, а в городе – три театра (имени И. Тургенева, юного зрителя – “Свободное пространство”, муниципальный – “Русский стиль”), – и все три театра драматические. Ни музыкального, ни какого-нибудь “варьете”, хотя бы для студентов-практикантов из института культуры. Все “академики”, все надувают щеки, дуют вместо трубы – тенора-горна – в контрабас. Представляете, “басовый” репертуар. Берут постановки с иных сцен и то терзают “модернами”, то морят классику нафталином.

Где нам до Паневежиса! Вот феномен был – режиссер, актеры (чего стоит Донатас Банионис). Малы возможности провинциального городка, зато духотворны же силы провинции. Помнится, было кое-что и у нас, от чего трепетали души: “Дни Турбиных” Булгакова, “Грабeж”

Лескова... Молодыми были и дерзкими режиссеры (Л.Ю. Моисеев), актеры (П.С. Воробьев), даже жена Булгакова – автора – приезжала в Орел на спектакли. Были точки отсчета, были...

Так все-таки зачем мы ходим в театр, если ходим? Чего мы хотим – от себя, от актера, ждем от спектакля?

Недаром я помянул Мельпомену – одну из девяти муз, покровительницу античного лицедейства. Драмы – искусство древнейшее. В той же Элладе сами люди участвовали в сценах, народ разыгрывал действия. Затем эти функции были переданы профессионалам – артистам, хору. А народ присутствовал, наблюдал, оценивал – одобрял или не одобрял. Однако видел каждый себя на сцене, проникая через художественное чутье в божественные сферы, в закрытую жизнь тех же царей. Например, в Лондоне, на городской площади – в шекспировском “Глобусе”. Росло, поступательно двигалось все человечество. Профессионализма, философской глубины, осмысления себя в мире перепутанных, запутанных ценностей, утверждения института Человека – вот чего добивался театр, ожидал от сцены шекспировский зритель.

Сколько же надо было знать драматургу! Как только не зашифрованы иные космические вещи. И Шекспир не разочаровывал зрителя. Вот что я прочитал недавно из “тайного” у него. Пишу “Белую Скифию” – продолжение “Одиссеи” Гомера. По словам слепого провидца Тиресия, Одиссей должен был совершить новое путешествие, чтобы достойно быть похороненным в земле родимой Итаки после убийства им молодых ахейян, сватавшихся к жене его Пенелопе. А в этом путешествии встретить человека, который бы весло в его, Одиссеевых, руках принял бы за лопату. Вот такая триада: лопата – земля – хлеб.

Одиссей должен был совершить вояж именно к нам сюда, в “Белую Скифию” – в наши места, откуда шел в Грецию хлеб; его выращивали тогда наши пращуры (праславяне – скифы – скоты). Этим хлебом скоты – пращуры-предки наши – вскормили немало греческих мудрецов, вроде Аристотеля, Еврипида, Платона с его Академией... И вот просматривается не только “гомеровский”, но и “шекспировский” след в литературе. Узнается, что Шекспир, действительно, “изнутри” знал Гомера, претворяя его в своем творчестве. Лаэрт – имя отца Одиссея, старого царя Итаки – напрямую употребляется в “Гамлете”, в лоб. А вот сам Гамлет (Hamlet) – кто это, если прочесть наоборот? “Те-ле-мах” – сын Одиссея. У драматурга в тексте воистину прозренческая, магическая глубина!

И вот что еще совсем недавно открылось. В телепередаче “искали” могилу Рюрика. Известно, что он был из викингов. Иные исследователи отдавали предпочтение теории норманнского происхождения

княжеской власти в Киевской Руси. Так вот, археологи “находят” могилу Рюрика сначала в Старой Ладогe. Скорее всего, для обоснования древности территориальных притязаний Руси (как, например, у поляков в Познани имеется такой камень в раскопках храма). Однако далее археологи ищут захоронение Рюрика на Новгородской земле, в кургане каменной кладки (вроде египетской пирамиды). О пирамидах мы после поговорим, связывая их, может, еще с авестийской, поставестийской эпохами. Сейчас о другом подумаем: все о том же “шекспировском” следе. Обратим внимание на резюме одного ученого, который, во-первых, сказал, что Рюрик-Рерик – это не просто князь был, а конунг – король у викингов, где-то в пределах Дании. Очевидно, к тому времени он оказался в изгнании. Во всяком случае, в записях след его теряется в 864–866 годах. В это же время Рюрик-Рерик появляется на Руси (850 год – упоминание Киева как столицы). Редукция первого звука – буквы, и что получается? А следующее: Ерик – Йорик у Шекспира.

“Увы, бедный Йорик!” – восклицает Гамлет, беря череп из рук могильщика. Представим себе, что за искры высекаются при этом в голове бедного Гамлета? Какая дилемма встает перед датским принцем: изгнание, как “у бедного Йорика” – Рюрика куда-то на край света – в Скифию, в тот же Киев? Или тоже тут, в земле родной, и остаться – погибнуть и быть захороненным, подобно Йорику?..

Вот как порой читаются авторы, какова глубина одной только шекспировской фразы, как может “читать” и “видеть” подготовленный читатель, зритель.

Перетекание миров

Марселя Пруста называют писателем XXI века. Скажем, за расширение изобразительности, связанной особенно со временем. В романе “По направлению к Свану” герой движется по пути культуры, психологического изыска, философского осмысления. По направлению к другому соседу в городке, где жил и работал писатель, – это движение к более заурядному реально-бытовому плану.

Однако связка состоит в том, что реальный факт (стук – падение стакана или увиденное – определенный ракурс головы) рождает в герое ассоциации в прошлом. Вяжутся два времени – настоящее и это самое прошлое, как будто когда-то герой жил уже, себя ощущал. Именно два времени, а где третье? Достаточно внимания будущему мы находили у Нострадамуса, у поэтов. Велимир Хлебников – “Президент Земного Шара” (родом из калмыкских степей) в дыхании буддийской веры усматривает цикличность в 365 лет, устремленную

не только в прошлое, но и в будущее. Кем ты, человек, был каждые столько лет назад и кем ты будешь через каждые столько лет впереди? Даже Земля, по исследованиям, кстати, нашего земляка-орловца астронома Козырева, фиксирует в космосе место, где ей надлежит быть через те же 365 лет каждого временного витка. То есть не два времени “вяжутся” воедино, как у Марселя Пруста, а все три (хотя в космическом плане времен даже больше, это практически – три).

Сам по себе смысл “двойки” – от египетской цивилизации (мир мертвых и живых, свет и тьма, война и мир, лед и пламень, Бог-отец и Бог-сын). “Тройка” – из индийской философии (Бог-отец, Бог-сын и Бог дух святой). Кстати, первичная цивилизация наших авестийских прашуров помечена “единицей”, цвет красный. Вот и происходит перетекание времен и миров, взаимодействие, проникновение одной цивилизации в другую, что, как бы спускаясь по ступеням, и отражается косвенно в плане бытовом, реальном – в жизни народов, государств, в их истории, эволюции, судьбе общества, судьбе каждого человека. Или она, эта судьба, укладывается в космос, в гармонически божественные начала – и тогда все происходит в любви и согласии, по законам предписанным, то есть нравственно, гармонично. Или же не укладывается – и тогда нас ждут катаклизмы, извержения, войны, трагедии, дисгармония, смерть как смена циклов. Остальное зависит от таланта и изобретательности, мастерства художника, драматурга, как он все это изображает.

По некоторым сведениям, Земля представляет живой организм, который в эволюции или принимает себе подобное, или отторгает инородное, перерабатывая его. Те же океаны на планете – это космические льды, сброшенные Вселенной вместе с минеральными осколками на Землю и превращенные затем теплыми земными недрами в воду. Земля сама не идеальный шар, да еще эти недра, вращаясь, перетекают, усугубляя эллиптические формы, меняя веса и противовесы. Вот и происходит “кувыркание” Земли, сменяются полюса, а отсюда, в процессе эволюции, и генетические коды живого, облики цивилизаций, человечества. Это в гигантском масштабе.

Нечто (ближе сюда к нам, нашей цивилизации) знала и фиксировала “Авеста” – древняя книга еще доиранцев о первых землянах то ли как о космических пришельцах (взрыв планеты “Фаэтон”), то ли как “осколке” прежних земных цивилизаций. Книге той уже 26 тысяч лет. Где-то от нее, видимо, “отпочковались” древнеиндийские поэмы “Рамаяна” и “Махабхарата”, вся эта мистика, древнеиранская белая, черная магия. Именно сюда стремился Александр Великий – посланец Олимпа...

Может, и не всякому автору или постановщику важно знать такую кучу вещей, однако для более успешного, точного попадания – желательно. Почему живут вечно и так “от души” принимаются всеми народные сказки? Потому что с “детства человечества” они все попали в самую “точку” – в гармонию, сочетания сфер. Послушайте настоящих творцов – художников, режиссеров, артистов, они это знают, но молча делают дело, достигая всего неустанной работой мозга, души, распространяя затем свои достижения на всех.

Фантазии и фантасмагории.

В поисках внутреннего освобождения

XX век – век лицедейства, прежде всего в политике – явил миру и новый “лицедейский” театр. У нас в России в 20-е годы, в период нэпа, возникли вроде бы несовпадающие театральные системы Станиславского и Мейерхольда, которые, однако, вписывались в единую художественную орбиту обновления старого мира. Это тогда в ветшающей театральной традиции и появились “прессы” на сцене как вопль моды, факт модернизации. Однако театральное искусство рождало и таких мастеров, как, скажем, актер Михаил Чехов – брат великого драматурга, которого от щедрот своих Россия “подарила” Западу.

В последние времена “бури и натиска” массовой культуры, озирая собственные возможности, мы привыкли считать, что в той же Америке ничего особенного не происходит. Бродвейские театры, дескать, нечто вроде театра “Ваньки – Каина” в давнем на Москве. “Железный занавес” и следовавшие затем потоки дешевеньких фильмов “помогали” такому восприятию с обеих сторон. Если нашему зрителю и сейчас посетить театральный Бродвей сложно, не по карману, то, во всяком случае, мы можем судить об американском уровне хотя бы по экранизациям пьес известных драматургов, как, например, “Любовь под вязами” (пьеса Юджина О’Нилла с участием Софи Лорен), “Трамвай желание” (пьеса Уильяма Теннесси с участием Вивьен Ли) и др. По воздействию они не уступают психологически тонкой экранизации драмы “Театр” (с участием Вии Армане). Конечно, столичному зрителю легче ориентироваться в театральном “рынке”, провинциалы же могут судить обо всем чаще всего по фильмам. В последнее время, с появлением телеканала “Культура”, ситуация улучшается. Появляется счастливая возможность смотреть лучшие драматические постановки, забираться даже в “святая святых” – недра Большого театра России, например, в балет А. Хачатуряна “Спартак”, прежде его показывали лишь за валюту.

На канале “Культура” функционирует клуб любителей оперы. Удивителен дуэт телеведущего Станислава Белзы с драматическим режиссером Романом Виктюком. Любовь к опере Виктюка, выходца из западно-украинского Львова, думается, объяснима безусловной его одаренностью, “подогретой”, как у всякого львовянина, любовью к своему оперному театру, который красуется на лучшем месте в городе, к театру драмы имени М. Заньковецкой где-то рядом, во глубине души.

Говоря об опере, Виктюк заявляет, что ее постановка (в стиле, скажем, фон Карояна) – вообще-то вершина всякого режиссерского искусства. Его “розовая мечта” – осуществить постановку одной из итальянских опер. Роман Виктюк музыкально вполне одарен, подготовлен, но режиссер все-таки драматический. В нем лично можно не сомневаться. Однако резонно встает вопрос о профессионализме, компетенции, ответственности режиссера перед культурой, искусством, перед автором, наконец, перед законом, авторскими правами.

И что ж на этом “фронте” делается, каковы поверхностные и поддонные течения? Это по Станиславскому ясно, прямо-таки на поверхности: театр должен динамично развиваться как всякий живой организм. И опять-таки на поверхности, что для этого важна прежде всего творческая фантазия деятелей сцены. Однако фантазия в рамках вкуса, ответственности, профессионализма. Лидером драматических театров в последней трети прошлого века, на мой взгляд, являлся ленинградский (С.-Петербург) БДТ с его замечательным составом (Смоктуновский, Лебедев, Лавров, Басилашвили, Доронина и др.) во главе с их кормчим – режиссером Товстоноговым.

Какие спектакли! “Ханума” с ее искрометным юмором, неподдельной легкостью, музыкальностью, “Холстомер” с его непомерно пронзительной глубиной, человечностью.

Вот дивный пример сотворчества. Это Лев Толстой и в то же время Товстоногов, Лебедев, придуманный ими высокий мир “человечности”; коняга – “холстомер”, а все как живое, настоящее, кровоточит. Но что положено Юпитеру, не положено быку. В реальности то же самое у других превращается во вседозволенность на сцене, в фантазмагорию, режиссерские поиски себя, своего внутреннего освобождения – в маломотивированное вмешательство в пьесу, даже глумление над текстом. Прежде существовал ВААП – агентство по авторским правам, оно отслеживало процесс. Слышу недавно по Российскому радио, в Москве ставят трагедию Шекспира “Король Лир”. Сокращая текст на две трети, до того “самовыразились”, что и от шекспировского названия осталось одно только слово “Лир”. “Мой друг, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?” Чем через колено ломать того же Шекспира, Пушкина, Достоевского, Мольера, Бернарда Шоу...

Классиков можно, оказывается. Давно жили, даже ближайšie родственники в бозе почили. А всякая ответственность за авторство прекращается 25 лет спустя.

Не потому ли и в Орле так нерасторжима любовь к Тургеневу? Ведь у современников свой мир, свои воззрения, наконец, а у постановщика тоже все свое, вплоть до популярной формулы “Я так вижу!” От Товстоногова с его мировидением можно это как-то воспринимать, а от его эпигонов? Вот тебе и подводные течения, камни, рифы, так сказать, на стреме движения к полноценным спектаклям на уровне времени, нового века.

Магическая маска. В тисках освобождения от самого себя

Не меньше зрителя страдают сами актеры. Постановщик “так видит”, а как “видит” актер? Внутренняя свобода одних оборачивается не только внутренней, но даже и внешней несвободой других, на которых вся пирамида и держится.

Настоящему режиссеру, если он глобально “видит”, самому придется готовить, продвигать, давать раскрываться актеру, если этот режиссер жаждет успеха спектаклю. Конечно, в театре были, есть и будут существовать скромные и большие таланты, однако “малых ролей”, как и “малых” спектаклей, нет, не бывает. Частенько из малой характерной роли драматург делает “конфетку”, а уж актеры и режиссеры после “обсасывают” ее (например, Раневская, Пельтцер, Козловский – Юродивый в “Борисе Годунове” и др.). Попробуйте создать в театре нетрагическую атмосферу “магических масок”, жаждущих и получающих освобождение извне и изнутри, и вы получите МХАТ Чехова – Горького в начале XX века.

Воссоединение и рассоединение

Театр – живой организм со множеством сложно воссоединенных компонентов: сам коллектив с режиссером-постановщиком и артистами, Его Величество зритель, зрительный зал и господа Авторы – пьесы, музыки, танца. А еще в ухо дышит Время создания пьесы, спектакля, художественного направления, театральной школы и т. д. Выпадение любого из качеств грозит снижением уровня, а то и провалом. Тонкий механизм возможен при наличии взаимодоверительности, взаимного дополнения и обогащения. На сцене как при исполнении малой формы, допустим, песни, так и при постановке всего драматического полотна зрителю видны малейшие шероховатости. Снижена ли биоэнергетика, признаки нездоровости выражены ли в отдельных сбоях,

фальшь ориентирует на общий недостаток этических, эстетических ценностей. А зал ведь неоднороден. Заигрывание с одной его частью, стремление “подыграть” низменным вкусам оскорбляют других – высоко мыслящих, тонко чувствующих. Их, может, не так уж и много, но на них ориентируются. Под их влиянием, в порыве минуты, меняются вкусы, настроение масс. “Законодатели” моды, так называемые клакеры при итальянской опере, определяют провал даже шедевров. Премьеру “Кармен” Бизе закидали тухлыми яйцами, успех пришел лишь через полсотни лет. С тех пор опера неизменно присутствует на сценах оперных театров мира.

Так же и в драме. Московский театр имени Е. Вахтангова долгое время открывал сезон спектаклем “Турандот”, изменив себе осенью 2003 года.

Воссоединение с автором порой (как в случае с “Кармен”) ведет к рассоединению с залом, и, наоборот, воссоединение с залом ведет к рассоединению с автором. Как добиться единства автора, зала, сцены – этого триединства? Ведь каждый играет первую скрипку. Как добиваться постановщику, чтобы все это действовало синхронно, гармонично в триединстве, взаимодополняясь и взаимообогащаясь, создавая ту атмосферу, которая, вдохновляя, помогает творить дерзкое, дерзновенное, возвышенное, казалось бы, невозможное...

Вот пример. Чтобы успешно работать, в частности, в прозе, ваш покорный слуга, будучи корреспондентом областных газет, обошел, объездил всю область по книге Чернова “Орловщина литературная”. Посетил немало мест, связанных с именами, это просто прекрасные, живописнейшие уголки срединной России. И вот он, наконец, поселок Синяевский. Это тургеневский край, рядом фетовское Козюлькино, в этих местах у ученого-пчеловода Абрикосова бывал сам Лев Николаевич Толстой, проезжая к дочери своей Татьяне, по мужу Сухотиной, в Кочеты. Вот живу и пишу тут романы в прозе – трилогию о современности (“Кормильцы”, “Берегиня”, “Два пророка в одном Отечестве”). Однако как с неба сваливаются мне сюда, в эти мои глухие “пенаты”, кто? – а народный артист Василий Семенович Лановой с женой Ириной Петровной Купченко, тоже заслуженной. Однако только малый огонь задувается ветром. И если до того в “репертуаре” у меня об артистах (вернее, даже о матери артиста Василия Макаровича Шукшина) была всего одна повесть-причеть “Не рыдай меня, мати” (написана на накале, свободным, почти белым стихом через год после смерти Шукшина), то сейчас у меня десятка два пьес, даже роман в стихах “Арсений Чигринев”, тоже о судьбе артиста.

Роман о событиях 93-го года в Москве и провинции.

Вот тебе “воссоединение”, вот тебе и “рассоединение”. Помнится, пришел тогда ко мне, в первый день события, на другой край поселка Синяевский Василий Семенович, сказал обеспокоенно:

— Ну, что делать будем?

Про себя думаю: это он о “рассоединении”.

— Н-не знаю, — говорю. — А что делать-то? Работать будем.

И написал в порядке “воссоединения” этот роман в стихах “Арсений Чигринев” (у Пушкина “Евгений Онегин” был да вот у меня). Вот как этот роман начинается. Как тогда было, когда мы с моим другом пришли к В. Лановому, а он, сидя на бревне, ошкуривал его.

*— Так вот, сидел Арсений на бревне
Да стружку гнал на диво всей родне.
То стружку там, то стружку тут —
Пусть знают, помнят, сознают,
Что мы там, выходцы, в столице
Не просто спицы в колеснице.
— Ну да, когорта вы, портреты!
Деревня, верх над городами, —
Проникнув в суть его, в заветы,
Сосед пришел к нему садами
И, стоя где-то за спиной,
Как бы кольнул его еще:
— Видал? — Чего? — Аврал.
По телевизору опять.
Какой? — Да так, — махнул рукой. —
Да Лебеди на озере... печально...
— Постой, — оставил наш герой свои труды. —
Балет передают? — Ну да, как в рот воды...
Какая-то трагедия молчанья...
— В Москву, в Москву! — вскочил Арсений,
Почуяв запах потрясений.*

Биоэнергетические пятна планеты.

Как “шкура леопарда”. “Третий глаз” человечества

В драматическом театре имени И. Тургенева в Орле есть и малая сцена — театр Каменских. Известно, основателем орловского театра был старший сын фельдмаршала Каменского — Сергей Михайлович, как и младший брат, тоже генерал. А всего их, Каменских, было трое: отец — Михаил Федотович, два его сына: младший — Николай Михайлович, талантливый русский полководец, командующий Дунайской

армией, которого прочили в предстоящей войне с Наполеоном командующим всей русской армией, а впоследствии назначен был Кутузов. И вот этот старший сын, Сергей Михайлович, и оказывается основателем орловского театра. И что интересно, все трое – военные, все трое воевали на юге, с турками. Брели турецкие крепости, в том числе и Рушук.

И вот осенью 2003-го, в начале октября, театр Каменского посетил потомок знаменитого рода русских военных граф Алексей Николаевич Каменский – наш современник, живет в Москве, является президентом Московского аристократического клуба. В театре проходили ставшие уже традиционными Каменские чтения. Алексей Николаевич и местные краеведы оживляли яркие страницы былого, приводили подробности, связанные с историей рода, династии, России. К этому времени у меня вышла новая книга “Арсений Чигринев” (роман в стихах), в составе которой имеется также историческая трилогия малых трагедий “Господа Каменские”: о младшем сыне Николае Михайловиче – “Тайна трех империй” (Россия, Франция, Турция – Блистательная Порты), об отце – Михаиле Федотовиче (“Забытый фельдмаршал”) и о старшем сыне – Сергее Михайловиче (“Дон Кихот Орловский”).

Даря книгу господину Алексею Николаевичу Каменскому, я, между прочим, сказал, что трилогией малых трагедий начал заниматься не традиционно, то есть не с Сабуровской крепости, не с Орловского театра, а “заехал”, так сказать, издалека – с истории, от крепости Рушук, которую в разное время брали все трое Каменских. Так вот, я поставил акцент на том, что вопрос имеет длинную “бороду”, даже древность. Прежде, когда я писал другую трилогию (в стихах) о Крещении Руси (“Половецкие ночи”, “Великая псковитянка” о княгине Ольге, “Владимирская горка”), я уже тогда обратил внимание на название этой крепости. Именно на дунайские земли, сюда, ближе к границе Римской империи, откуда когда-то наши предки русичи пришли и сели на Киев, князь Святослав уже было перенес назад столицу Руси. Князь Святослав ушел туда “на вы”, то есть воевать за свои и римские интересы, а княгиня Ольга одна тут защищала Киев от степняков.

– Приходи, не то ляжем под степь, – слала она Святославу гонцов именно туда, под Рушук.

Этот Рушук приглядел еще дед Святослава – князь Олег, который прибывал щит ко вратам Царьграда.

Вот какая история, ситуация.

А Алексей Николаевич, нынешний потомок знаменитого рода, мне и говорит:

– Этимология слова “Рушук”? Происходит то ли от турецкого ruzzuk – дружба, а то ли от “рушишь”, “русское место”. Это южная грань дунайских земель, где испокон бывали или куда “заступали” русские. А еще сказать, я много читал, размышлял о своем родовом корне. Этот видный род, особой, магнетической силы, не затерялся в веках. Несет Отечеству через время благородство и значимость.

– Да, конечно, – говорю я. – Помню, встречался я с праправнуком Пушкина – Григорием Григорьевичем. Так он что говорит: как узнают, что я из рода Пушкиных, тех самых, так вопрос: “А вы сами стихи-то пишете?” – Да нет, – говорю, – не пишу. Легенда в роду такая у нас: на Александре Сергеевиче природа разрядилась, а теперь если и явится в нашем роду поэт, то никак не раньше, чем через семь поколений”.

А о значении рода Каменских скажу так. Это Николай Михайлович, будучи командующим Дунайской армией и предвидя поход Наполеона в Россию, еще в 1806 году составил так называемый скифский план ведения будущей военной кампании с французами. Подобно скифам, заманившим в степь превосходящие силы персидского царя Дария, Николай Михайлович рекомендовал “заманить” поглубже французского полководца. Затем, после скоропостижной смерти Николая Михайловича, это и сделал, в сущности, по его плану, Барклай де Толли, а затем, ничего не изменив, и Михаил Илларионович Кутузов.

– Да, еще, – добавил граф Алексей Николаевич Каменский, – взяв Москву, Наполеон вскоре покинул ее поспешно, можно сказать, панически бежал, отступая. А почему? Ведь зима была. Не легче ли было отсидеться даже в сожженной Москве? Вот именно! Согласно стратегическому плану, составленному еще Николаем Каменским, с юга Наполеону угрожала русская Дунайская армия, она готова была отрезать его от Европы. Картина становится ясной...

– Да, и еще, – добавляю я, интригуя. – В сорок первом, после нападения Гитлера, Сталин долго хранил молчание, сидя в Кремле. Выступил только 3 июля...

– Понял, понял вас, – говорит Алексей Николаевич Каменский. – Вообще – да. Но об этом говорить еще рано... Живы многие, рана слишком уж...

– Кровоточит? Вот именно, – соглашаюсь я.

Вникнув в героический смысл и значение молодого таланта Николая Михайловича для всего существования России, я несколько по-иному взглянул и на весь род Каменских – на отца-фельмаршала и на старшего сына его, Сергея Михайловича. Отреагировать захотелось на отрицательную литературную традицию, идущую от “Сороки-воровки” Герцена,

от лесковского “Тупейного художника”, в которых Каменские, особенно отец-фельдмаршал, представлялись как реакционеры. Ох уж эти фантазии, династические интриги, очевидные междоусобные распри, литературная борьба! Почему бы в таком случае не вспомнить пушкинские строки или же страницы Льва Толстого из его “Войны и мира”, где прототипом старого Болконского, верного служаки Отечеству, явился все тот же “забытый” фельдмаршал?

Молодой Каменский был отравлен в Бухаресте агентами Наполеона. Хоронить его везли под Одессу, куда-то в устье Днестра. На это прежде уже имелся ответ. Что такое устье Днестра, что тут находится? Когда я писал продолжение “Одиссеи” Гомера, про то, как Одиссей совершал путешествие сюда к нам, в Белую Скифию, я думал, помню: что же самое главное привез царь Одиссей отсюда в родную Итаку? Само собой, надежду на укрепление торговых связей, возможность улучшения снабжения хлебом, так сказать, повышения материального состояния. Однако в духовном плане самое главное, что привез Одиссей из своего путешествия в Белую Скифию, в край наших пращуров – праславян, скелотов, скифов, – так это идея “рая” для простых смертных, для героев, отдавших свою жизнь во имя, скажем теперь, Отечества. Это идея “бессмертия души”.

В “Велесовой книге” на деревянных дощечках была записана эта красивая легенда о рае скифопраславянском – об Ирии, расположенном где-то в пределах устья Днестра. Именно сюда веками с Востока, из района Балхаша, накатываясь волнами, проходя со своими стадами по 12 км в сутки, съедая траву, вслед за уходящим солнцем и двигались стада, передвигались кочевники-скифы, наши пращуры. Где-то там, у устья Днестра, был Ирий – их рай земной, где за подвиги во имя своего народа простые смертные, став героями, обретали бессмертие. Царям – курганы, подобие пирамид, героям – рай, сферы небесные.

Идея “бессмертия души” была настолько демократична, притягательна для Одиссея, что она одна стоила свеч – придавала смысл всему его путешествию. Ведь у них в Элладе подобие рая – Олимп занимал лишь верховный бог Зевс со своей свитой. Даже царей туда не допускали. Ад – Фессалийский Боспор существовал в античности для всех, в том числе и для царей. Впрочем, у скифов, праславян, тоже был ад – Киммерийский; именно для героев был у них еще и этот рай – Ирий.

Торговые греки, ходившие на Север по известному пути из “варяг в греки” – туда и обратно, по всей вероятности, могли привезти в Элладу красивую, духотворную скифско-праславянскую легенду о “рае”, которая вернулась затем через века сюда к нам, на Русь, в

виде православия – Христианской Веры. где главной, опорной является эта самая идея “рая” для простых смертных – героев. идея “бессмертия души”.

Так вот куда везли хоронить тело героя, молодого русского полководца из славного рода Каменских.

И когда в пьесе о нем я подошел к финалу, дрогнуло сердце мое, переполненное состраданием и от понимания величия факта. Отсюда и туда, в срединную Русь, и оттуда сюда пронеслись во мне слова песни, которую пели тут у нас совсем ведь недавно, в наши героические годы Отечественной войны, а могли петься и там, согласно “машине времени”, всегда, во все времена.

Молодой граф умирает в этих местах, в Ирии – “рае” скифопраславянском, и просит повернуть его лицом сюда к нам, к России.

(Отрывок из пьесы).

“ГРАФ КАМЕНСКИЙ. Россия вступает в эру Водолея, все виктории будут за ней...

Откидывая голову, медленно умирает. А тут тишина. Весна. Перецелкиваются соловьи. И щелканье нарастает, переходит в мелодию, очеловеченную словами:

*– Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат.
Пусть солдаты немного поспят”.*

Энергетические пятна существуют на Земле – зоны повышенной биоэнергии, это как “шкура леопарда” – с невероятной силой магнетизма (Курская магнитная аномалия, Бермудский треугольник, Спаское-Лутовиново – Никольское-Вяземское – Абрикосово-Синяевский). Существуют и рода, поколения человеческие с повышенной биоэнергетикой, как, например, славный род русских военных – род Каменских. Существует и отдельные люди с такой же повышенной силой, огромной ответственностью за весь род человеческий, за все, что делается на Земле. “Третий глаз” человечества – воспаленно-красный, неусыпный зрак – смотрит сверху, следя за нами, за нашими помыслами и делами, не давая нам, землянам, сгинуть, пропасть. Во всяком случае, верю в бессмертие русских, Руси нашей древней, нашего могучего и правдивого, свободного и великого, прекрасного русского языка.

Камо грядеши? Моя Афродита

И куда мы идем? С 2003 по 2008 год мир вступает в эру Водолея, благоприятную для России. Кончается эпоха в 8 млн. лет. Грядут на земле потрясения основ, всего нашего биологического существования. Вот Одиссею в его начинаниях благоприятствовала прекрасная Афродита – богиня, Зевесова дочь. Силы небесные, помогите и нам!

От автора

“НЕ РЫДАЙ МЕНЯ, МАТИ...”

(Повесть-причеть)

*“Она на меня смотрит и смотрит.
Спать ложусь – смотрит, вскинусь с постели –
смотрит, кусок в рот протяну – и тогда
смотрит.*

– Да кто хоть?

*– А все она вот, житная женщина, наша
всематерь людская”.*

(Из разговора у фрески “Не рыдай меня, мати”
триптиха Карпа Золотарева,
что в церкви Покрова в Филях).

*Марии Сергеевне – матери Василия Макаровича
Шукушина и моей матери Марии Герасимовне –
посвящается.*

К дверной ручке привязан плоский железный крючок, по черному дерматину написано мелом коряво: “Стучать”.

– Это я. – Поднимает письмоноска к возникшей расщелине свой огромный живот – подраспухшую сумку. – Гляди, мать, не забывают сыночки.

– Смертушка его меня окале-е-е-чила, – раздается за дверь. – Бела света не вижу, телефона не слышу, давление всю сокрушило... Я-то, миленькие вы мои, свое пожила, он, сердечный, ушел не пожимши...

В комнате сумеречно, зрение налаживается, и письмоноска начинает видеть перед собой невысокую, широкой, рабочей кости Старую Женщину. Она в кожаных шлепанцах, простеньком ситцевом платышке горошком, в черном платке шалашиком. Губы по-старинному поджаты, крупные, с красной прожилкой глаза полнятся скорой влагой. Письмоноска в них глядеть не решается: больно топко. Она вытряхивает, держа за углы, свою сумку – на стол льются белые, синие, розовые, узкие и лопатой, увесистые и всего в листик конверты. Старая берет одно наугад:

– На-ка, милая, без очков я не шибко, буквы мотаются.

– “Сегодня побывала на могилке Вашего Сына...”

– Ох, да что же я. – Так и села Старая Женщина и, утерев ладонью сухие губы, шаркнула на кухню. – Да мы чайку счас. Сам-то любил угощать, был ши-ро-окай. К человеку по-человечески – он к тебе по-человечески, так она, жизнь, и налаживается...

Письмоноска с интересом разглядывает портрет на стене: это Сын Старой Женщины, их земляк; даже не верится: здешний, из села, и столичная знаменитость, шел в искусстве сразу по трем направлениям. В простой крашеной рамке, как вчера снят: пиджак нараспашку, все такой же отчаянный, а взгляд уж не тот – будто подстрелен человек. В квартирке все обыкновенно, по-деревенски: самотканые половички-кругляши, дорожки рядновые, на диване – пестрый свойский ковер. А это вот его вещи: золотой, в полметра, ключ от Ростова-на-Дону, сигареты “Опал”, на машинке недопечатанный лист, часы настенные остановлены на без десяти шесть...

– Утра, конечно, утра, – перехватывает взгляд Старая Женщина и стелет на стол рушник, расшитый петухами, ставит пироги с голяном-рыбкой, плоску светлого горного меду, тарелку с калеными яйцами, дробные, все в чесночном крошewe малосольные огурцы.

– “Сегодня побывала на могилке Вашего Сына, – в этом месте голос письмоноски дрогнул, она передохнула. – Добралась наконец из своих сибирей. Человек Вам, родная, я совсем незнакомый, но утрата и для меня велика...”

– О Господи, – вырвалось из груди Старой Женщины.

– “...Вот уж не забыта эта могилка. На деревцо набросил кто-то ветку горькой рябины. Стоишь, хочешь – плачь, хочешь – молчи, говори с собой и с ним, с близким тебе человеком... Поклон за него, Матерь Вы наша...”

Ложка в стакане письмоноски подрагивает. Тонкий звук далеко-далеко, а боль в груди близко-близко из-за того, что муж уже в третий раз не приносит полочки, прожито и пережито все за всю свою жизнь. Пора уходить, засиделась, засмотрелась. На стене в темных рамах картины – старинные люди; отец – с окладистой бородой, в меховой, сбитой на ухо шапке, в человеке что-то казацкое; отец фанатично сверкает взглядом, и свеча у него за спиной.

– Это, миленькая моя, наши предки, с Волги, – каменеет Матерь лицом. – Они, изначальники наши. В нашем роду все несломные, это Он пожил мало, дальше себя не пересигнул...

Матерь смахивает в фартук крошки от пирога, огуречные попки, сминает рушник с петухами.

– С молодости все мы лихо берем, а потом, глядишь, забуреем, упреем в гнездышке. Кабы вместе, в согласие, жизнь бы скорей приподняли... Вот они, – глядит Матерь на письма, – и расшибают, и как живая вода. Прочитаю иное – уревусь, обрежусь слезьми, а камень с души спадет, значит, есть они, хорошие, близкие люди... Он сюда,

в город, на этажи, меня определил: “скорая” тут тебе, телефон, вода, топки не надо – живи, мама!” А Сам не пожимши. Каково это – дитя свое пережить? Все Он предо мной, веки разведу – опять Он. Уже год как отлетел, завтра еду в деревню на поминки. Все места его обойду, обголошу, обкукую кукушечкой... А в Москву на могилку, боюсь, не доеду, завалюсь где-нить по дороге. А тут, случись что, подымут люди, да помереть, дочк, не страшно, положат рядом со всеми, где все.

I

В эту ночь Матерь не сомкнула очей, сомлела вся в жданках: когда же в окне затеется утро? Она ехала к себе в деревню, в свои Схлестки, на поминки Сына. Приедет – придет на погост, как ляжет на горяч-камень, под которым отцы-деды-пращурь, так и не подымет-ся, не сумеет подняться: ворон выклюет ей глубокие очи, дожди выполощут белые косточки, отлетит в высокое небо душа. А пока она стояла на автобусной остановке, скорбная, в черном своем шерстяном полушалке, с тонко подобранными губами.

Солнце намекнуло о себе за мостом, за новым трамвайным кольцом, и на открытом месте воздух зарозовел, прояснился. Она плечами передернулась зябко и покосилась на четкие трубы химкомбината, на город за ним. Сколько тут своих, деревенских, а где они, где?.. Подтаивая, иней оседал на лицо, шуршали листья о плечи – пришел первый зазимок, завтра Покров.

К остановке подходили и подходили люди, сторонились, стояли тихонько – народ трудовой, молчаливый, еще плохо проснувшийся. Она потеряла ладонью виски: ее подташнивало, видно, снова поднялось давление. Простуженным басом расхныкался совсем близко ребенок. Молодая женщина стала заботливо подтыкать одеяльце, потом ворковать в живой свёрток, потом отшлепала его. “Бедная, бедная женщина, – вздохнула Матерь. – Бедный, бедный ребенок”. Молодая женщина была в закрученном вокруг шеи грубом платке. Таким платком Она, Матерь, покрывалась всякий раз, когда вот так же выходила чуть свет на работу. А ну отмахай свой век тряпкой, вычисти, выскреби за всем госхозом полгектара полов – правление, клуб и гостиничку. Так-то ставят на ноги сыновей, а на тот свет – ничего не стоит спровадить, р-раз – и нет человека. Председатель, бывало, придет в кабинет уж на тепленькое да еще и наорет, что она больно пряткая, успела, дуреха, вытряхнуть мусор, а он, оказывается, швырнул в корзину вчера нужную бумаженцию...

В автобусе на Схлестки Ей уступили местечко возле шофера. Пока тот оформлял документы, людей поднабилось – свои, схлесткинские, и незнакомые. Она слушала всех затылком, узнавала по голосам. Одна только близость земляков, одно только их слово смягчало душу, тяжелило веки. Больше всех Матерь боялась не доехать, завалиться где-нибудь по дороге.

Запыхавшись, в автобус ввалилась еще одна группа – тоже схлесткинские. И еще с порога завелась говоруха:

– Ой, расскажу такую штуку...

– ...что не влезет в руку, – подхватил сипловатый бас.

– А чего?

– А то взорвется.

– Га-га-га, – грохнул автобус.

– Дурак, – обиделась баба. – Еще не проспался, идол! Опять вчера пришел: “Нюр, Нюр, я в дугу”. Когда ж тебя черти в оглоблю растянут?

Матерь не выдержала, оглянулась. И все узнали Ее, замолчали. “Жалеют”, – догадалась Матерь, и ей стало трудно дышать.

Сразу за новым мостом начинался их знаменитый Граевский тракт, по которому возят грузы в горные районы и еще дальше, за перевалы, в Монголию; тридцать пятым столбом по счету, у схлесткинской столовки, для Нее он кончается. С полгода уже живет в городе Матерь, а домой в деревню все манит. Вот и вчера все высывалась с балкона, все смотрела сюда, за Крутунь-реку, как бывало... И теперь, чуя в себе падение сердца, неожиданную липкость-испарину, мысленно подгоняла Матерь автобус туда, в долину, к лесистым увалам, мимо столбов, столбов. А долина выдвигалась, ширилась, золотилась на последнем своем осеннем дыхании.

“Сидишь на этажах, – думала Матерь, – сжимает тебя стеной бетон и малая подвижность, и ведать не ведаешь, как осень пришла и как ушла”. Попала Она, помнится, в Москву, к Самому, а у них во дворе, как в колодце, небо такусенькое. Бабки сидят на скамейке, полжизни здесь оттерпужили, коров, небось, в глаза не видали и доить не доили – это уж точно. А ты, говорят, дояки такие видала? Век бы, говорю, их не видеть. А теперь вот нужда заставляет: здоровьишка нет, а тут рядом – “скорая”, магазин, отопление, дрова не колоть. Сын устроил... А сам взял да и помер...

Автобус взлетал на увалы и спускался с увалов, от быстрого хода вертушкой вертелись околки, поселки, поля сливались в бело-серые полосы березы, березки, березоньки. Слева мелькнула, вся обитая железом, изба бабы-яги. И не читая, Матерь знала, что там, на вывеске:

“Верхне-Крутунское камнедробильное предприятие”. Дробят гальку с Крутунь-реки, вывозят на тракт.

Когда взлетели на самый высокий увал, у Нее так все внутри и загорелось: вот оно. Прикрутунье, родная краюшка земли. Золотая осень движется ввысь по долине, против хода Крутуни и полета птиц. Там, в городе, ближе к устью, березы и липы уже сквозятся, догорают осины-рябины, здесь же едва начинают буреть. А самым берегом тянется темно-зеленая лента – река. Щедрь ныне верховые дожди.

Их автобус обгоняли автофургоны: из засушливых районов везли скот в предгорье. Словно тучки живые, в обратную сторону, вниз по долине, летели, перепархивали птицы. И отсюда видать, как ястреб вил над ними круги, над ястребом зависал орел, над орлом тянул белый шлейф самолет. Но вот самолет пошел к земле, орел грудью врезался в ястреба, ястреб впился в овсянку, и кровавые перья пичужки упали в овсы. В недозрелой бороде овса мелькнула вся в перьях хитровая мордочка лиски-огневки. И только дрозд-рябинник как сидел, так и остался сидеть на ветке, прохваченной зазимком алой рябины...

Все живое и мертвое падает наземь. Вот и Сам походил по заоблачью, а упал, где и все...

В Березовце, под самыми Схлестками, остановились, шофер полез заднюю ось поддомкратить, сменить баллон, и все вышли из автобуса. У газетного киоска уже стояла та самая женщина, с дитем. Свой грубый платок она ссадила на плечи, и Мать увидела, что она совсем молоденькая. Вертела наборчик кинооткрыток, и вдруг полыхнуло по глазам Матери Его родное лицо. Спросила в киоске для себя, – наборчик оказался последним.

– Продайте мне, – сказала она молодой женщине чужим, самой себе незнакомым голосом. – Продайте, зачем он вам?

Не дожидаясь автобуса, Мать двинула в Схлестки напрямки, через поле. Вот она, единственная, неизъяснима кочка земли. Бревнинка к бревнинке, стоймя натянулась к горизонту плантация хмеля. В войну здесь выращивали табак для махорочной фабрики, что в городе, солдатам на курево. На подростках вытягивали план да на бракованных из госпиталей, в память об этих госпиталях столько сейчас табличек по зданьям города: “Здесь в 1941–1945 гг. размещался эвакогоспиталь”...

Когда-то Она Сама учила Сына, как запрягать, следила, как надевает хомут Он, Ее Сын, Ее кусочек, кровинка. О боже!.. Сын вдруг возник перед Ней из воздуха, просто из складок земных, просто из ничего и пошел рядом. Мать даже посторонилась, чтобы уступить местечко,

так явственно. остро-близко Он шел сейчас рядом с Ней, таким, как видела Его только что на открытке – уже не мальчишкой, мужчиной с понимающим взглядом. Он шумно вздохнул, и у Нее задрожали губы...

Вот Ты и вернулся к Матери. Сыночек мой, живой, невредимый. Как будто и не было этого черного года, ничего с Тобой не произошло. Ты ушел и вернулся к Матери. Да и стоило ль все дело Твое, чтобы ради него уйти навсегда от Матери, из дому и не вернуться? Ну что людям Твои ночи бессонные, Твои думушки думные да вся Твоя жизнь, как ветки у рябины, что качаются на ветру? Ну что в том, что та кисть отгорела так рано? А люди – одни уж забыли, другие забудут. Сколь в жизни у каждого, сколь в каждом всего своего.

– Не плачь, мать, не отпевай. Прожил, как умел, по-другому не мог, – услышала старая Его голос и увидела, что в левом глазу у Него держится, вот-вот выкатится и хлопнется оземь слеза. – Только вот обидно, мама, не успел сколько! Главное, не успел хоть на капельку людей сделать счастливее.

– Ты был широ-о-кай, широкай был, как Земля. А перевитой весь, а бурный, ходил по кроме. И где ж такому жить долго?.. А помнишь, как в последний раз были здесь вместе с Тобой? Как шли по Схлесткам и вспоминали: вот тут, на углу, возле тополя, посадил Ты еще мальчишкой в пятку дно от бутылки, я прибежала, стянула Тебе пятку электрокабелем... Вот отсюда провожала Тебя в Москву, в институт, и каждый раз провожала тут после отпуска. А туточки, как метнуться на похороны, взбиралась на самосвал...

Но вот и солнце ударило, охватило Плоскун-гору, веером разрисовало по-всякому облака, но один бок Плоскуна, сами Схлестки, лепившиеся к Плоскуну, все в сумраке стали, кажется, даже темнее. Нет нигде такой горы, нет. Как будто кто взял и срезал вершок, оставил ее, как стол, плоской, а вершок взял да отшвырнул за Крутунь-реку в пойму Монахову. К Плоскуну-столу притулился их дом, последний, где жили: видный, беленый, с оцинкованной крышей, темных лишь два квадрата на свесе – не хватило листов. С этого дома начинается улица, переходит в другой край села – “Сарынь, сарынь на кичку!”. От дедов еще слыхала, что брела с Волги артель бурлаков, переселенцы, горластая, с истертыми бечевой плечами – долгогривая братия, брела степью, тоскуя по яблоням, оставленным там, в Центральной России, пока не уперлась в Плоскун-гору на берегу Крутунь-реки. В шаге от воды и облюбовали они землю; в Сарыни – решили – и у них будет лучшая доля. С Сарыни и взялось вон какое село, теперь раскинулось по обе стороны тракта. А давно ли здесь, где живут сейчас,

где огороды, шумел березняк и она, Мать, была тогда девочкой, потерялась в траве, которая была ей поверх головы, и всей Сарынью ее на конях искать выезжали? Теперь и там давным-давно улица, дома доверенные, поглядистые, из кругляка. Что ж, лес кондовый, из спелой сосны. Дед Андрей, бывало, выдерживал дерево на корню, срежет к лету, когда прохватит солнышко, и бревно делается гулкое, смоляное, гниль-грибок не подступись. Это сейчас все подряд валят, как синевой окольцует по срезу, так и мальцу понятно: недозрела лесина. Да ведь всего сколько надо – страна строит и строит. Вон машины с лесом по тракту идут и идут... Жизнь длится, а Его нет...

Мать заметила, что изморозь уже сошла с травы, с деревьев съехала сизоватость, с веток докапывают капли. Она приостановилась, загляделась на солнце, что выглянуло из-за Плоскуна, и до того захотелось Ей поговорить, побыть на свиданье с Самим подольше, потом зайти по пути в одно местечко, куда, наезжая в Схлестки, Он забегал, бывало, каждый раз прямо с автобуса, чтобы свидеться с кем-либо, а уже после шел с друзьями домой.

Схлесткинская столовка сроду не пустовала: стояла на Гравском тракте, на самом ходу. Мать прошла через “хитрый рынок”, кивнула схлесткинским бабам, разложившим прямо на земле яйца, семечки, чашки с черной смородиной, малосольные огурцы, и поднялась к пружинной двери. Пиво привезли, поэтому возле буфета ходит ходуном все, за столами рой голосов – это толчок схлесткинский, местная справка. Хочешь – враз всего нахватаешься: от кого Ванька Неведров нынче ушел на рассвете, почему у Катюшки Стремглавой куры несут самые крупные в Схлестках яйца и так далее. Вот и сейчас сидят, обставились кружками в уголочке, под фикусом, схлесткинские мужики. К ним подсел Белый Лебедь – мужик-говоруна, Сын любил с ним бывать, знаваться. Слышит Мать Белого Лебеда, как подкинул он всем сидящим вопросик: по какой такой причине один азиатский владыка повадился ездить в другую страну каждый раз с новой бабой?

Как бы впился, Сын, Ты сейчас в их разговор! Это друзья, знакомцы Твои, “персонажи” из кино и книжек. Сам любил их, и люди Тебя любили, липли, ровно репы. “Испеки, мам, – говорил, бывало, – моих, из тертой картошки, драников. Друзья сегодня придут, посидим”. – “Встретила управляющего, – говорю. – Чего это, спрашивает, с Белым Лебедем Сын Твой вожжается? Ай нет у нас в Схлестках более устойчивых, достойных, с Почетными грамотами? Что ему, хороших людей для кино не хватает? Глянь, доска ломится”. – “И это – люди! – поджал Ты так-то

вот губы. аж побелели. – В народе, мать, много достойных, да не каждого же клеить на доску Почета... Сама учила: выбирай жену по пяткам, коли репаные – значит, трудяга, надежа. А еще надо... по душе, поняла?”

Как сойдутся, придут на драники Его “персонажи”, сидят – толкуют, и в разговорах летят долгие зимние вечера. И Сам то смеется, как хлопнет себя по коленке: “едрить твою раз”, то нахохлится, светит мохнатые брови, молчит. И сидит, поджавшись, где-нибудь с краешка она, Матерь, следит – обмирает по Сыну, готовая тут же вскочить, подать что-нибудь, подсказать. И тихо теплится в Ней радость, когда кто-либо назовет Его по имени-отчеству, когда Сам в нужном месте ввернет словцо, притчу – свою или услышанную накануне от Нее, Матери. И нет большего счастья Ей, когда все у Него хорошо, все ладится. И в Ее жестких ладонях клубок катится, катится, вяжут руки пуховую шалинку. Приотставит Матерь очки, взглянет на Него: наклонился Сын, пишет-пишет, стопка бумаги растет...

А теперь Тебя нет, и сюда, на толчок, Ты уже не придешь. Здесь как было все при Тебе. Зальчик лишь подштукатурили, побелили, а плесень в углу не просветлили, чернеет. Ветерок из фортки отволакивает занавеску – по молочному фону, как горох, просыпаны скрипки. Красные, зеленые, синие. Каждая имеет свой цвет и тон, каждая слышит только себя... Все вокруг то же, все есть, как было, нет Тебя одного... Стенки возвести легче, человека попробуй выходи, поставь на ноги, дай разумение.

– Все на этом месте падали – скользко, – выделился под фикусом голос Белого Лебеда, – звезданулся и Он. Поднялся, задрал голову – видит, вывеска: “Госбанк, областная контора”. Как вскочит, как вскинется: “Денег до чертовой матери, а дорожку посыпать не можете?!”

– Ну дает, – засмеялись, заскрипели столиками Тюха-Матюха да Колупай с братом. – Дальше-то, дальше что?

– А дальше, естесъсно, у Него на лапах по кило грязи. Но ничего, говорит, пардон-мерси, грязно камни грузить, а за стакан братья можно...

– И когда ж хоть водка будет стоить тыщу рублей? – сказала Матерь вроде буфетчице, но на всю столовку до самого фикуса. – Когда ж хоть отопьются ее?

– Плачет по нас палка, нам и тыщи не жа...

И тишина. Лишь звякнул у Белого Лебеда косо поставленный стакан на стакан.

– Сама приехала, – прошелестело по столикам, – Матерь.

“Жалеют”, – загорелось внутри, и Она заторопилась на воздух. Взбиралась на Плоскун-гору, придерживая грудь. Вот и обрыв, Его любимый. На том берегу паром, стада, поля – до самых гор, до самого Солнца. Жизнь, она бесконечна, человек смертен. Сколько нужно было всего Земле,

чтобы наслоиться, вздыбить этот Плоскун? Сколько нужно было Крутунь-реке, чтобы промыть эту долину? Сколько надо теперь всего Плоскуну, чтобы выдержать натиск Крутуни. Стоит Она, Мать, над самым обрывом в черном своем полушалке, снежна волосом, землиста лицом, упориста работной, крестьянской костью. Протрещал за спиной мотоцикл; ребятишки овец пасут, но Она, Мать, не шевельнулась, напряглась вся, подавшись вперед... Ты все это видел и больше никогда не увидишь. Да стоило ль этого дело Твое?..

Со снежных гор, вся литая-перевитая-стремглавная, катит Крутунь-река полные воды свои, словно прямо в Тебя летит, рушит себя Крутунь на граниты – экая сила; и все дрожит под ногами, даже деньги в кармане подзвенивают; сбиваясь, завивается, крутит воронки, напреет, саданет – как бомба взорвется, и металлически сухо зашелестят по обрыву осинки, а Крутунь-река копит уже новые силы. Отделяя Плоскун-стол от Монахова Камня, несется, словно в трубе, узким створом, чтобы ниже разбиться на множество русел, обметать голубыми протоками облепиховые острова. Как отвесны седые граниты – подломись, соскользни в Крутунь, что получится, даже жутко подумать. А Плоскун все стоит. Чтобы пройти, не виляя, прямо через него, сколько надо было упорства и мощи Крутуни. Сам, бывало, шутил все: не хватает реке сущего пустяка – всего пары бутылок. Да вон же она, эта пара бутылок воды: за березовой перемычкой от главного русла шагом перешагнуть, синей лентой по зеленому лугу вьётся малая речка Федуловка. Не разгонится, не наморщит себя – увильнула от общего русла, чтобы не тратиться на Плоскун-стол. Тихо – мирно – уютно. А вверх по течению по самой Крутунь-реке (как видать хорошо!) рвется, натужается лодка-моторка...

Он любил это высокое место: вся Сарынь как на ладони, впереди город с химической трубой, в дымке неоглядные дали, Россия, Родина. По сарынским улицам все движется. Живут-хлопочут Его земляки. Вот Глашка Прокопина сорвалась, летит куда-то: знай, в магазин. Не за спичками же! У Евстигнеевых посеред двора расстелен кабан на соломе – без времени, хватил, должно быть, горяченького. Вдоль всей протоки – Прибрежная улица, по всей улице – дома, возле каждого дома-лавочки. “Коля+Вера = Любовь”. С утра столбятся дымы, топятся печки. Под вечер к затону тянутся парочки посидеть, погуркать на камушках. Сидят, прижавшись друг к дружке в сентябреющей свежести, и ведут беседы при ясной луне – о том же и уже о другом... И Сам, приезжая, бывало, по Плоскуну-столу босиком ходил – так слышнее, пронзительнее после долгой отлучки Родина... Теперь уже не пройдешь, не присядешь на камушки, ни их не послушаешь, ни они не услышат Тебя...

Несется вниз по створу Крутунь-река, рождает вниз по створу движение воздуха. Сползла с горы, оторвалась, вывернулась из-под солнца золотая шалинка и туда же вниз по долине, где всегда сереет город, торчат – и отсюда видать – трубы химкомбината. Крутунью отсюда вниз по долине, подпоясавшись, речкой уходили отходники: ковать на заводах железо, ладить столицам дворцы, торчать в козлах “ваньками”. Потом уже в песках тянули Турксиб, перекрывали Днепр. Сама Она провожала мужа на уральскую гору Магнитку, там до фронта и примагнитился. Самаюшки подымала-вздымала Сына. И Он отлетел, куда и все, – вниз по Крутуни. Не ушел бы в город, не стал бы Писателем, Режиссером, Артистом, жил бы и до сих пор. Сам взвалил на себя эту ношу – говорить от имени всех, и все боли, все радости человеческие, переполнив, должны были разорвать Его сердце.

По краю Плоскуна – оспинка к оспинке метки: археологи искали стоянки. Вот так всегда ищут-ищем древнего человека, как не ищем себя. “Видишь, мать, – говорил Он, гордясь, – здесь на развалинах что написано: “Охраняется государством”. Охраняется – значит, надо. Тринадцатый век! Это еще когда кругом бесновались кочевники, а князь Дмитрий не выводил полки за Непрядву...” Камнем из храма настелили дорогу, а дорогу уже затолкли. А ведь помнят люди, это еще на памяти Матери, как высился, плыл белым лебедем, укрощал Крутунь-реку своим отражением светлокаменный храм Покрова.

Вот и словно день Покрова, уже год, как ушел Он, ее Сын, надежда. И знобят душу ветры, сердце не сдюживает, изранилось-изнемоглось. Заступница наша, Дева-Заря, мать ты наша людская, прими меня, бедную, под небесное крыло свое, расстели над головушкой горькой свой розовый плат-покрыв, помоги мне, дай силы жить!.. Телефон вчерась хотели отрезать, в погребке дверь проломили, а к кому я пойду?.. Заря-Зарница, роженица наша земная, ты дала полю силушку выродить урожай, отчего же с меня, прозяблой, сняла жатву страшно ужасную? Или я тебеюшки крайняя, не трудилась век, не вытягивалась? Или людям нехороша, отрывала кусок у сироток? Или черной завистью душу чернила?.. Намедни отдала цыганке Его почти новый костюм, в магазине алкающему купила бутылку... Зарница, краса-девица, расстелись платом розовым по небу, покрывом своим покрой мою скробную скорбь!

*Седина ль моя, сединушка,
Седина моя посеребряная.
Ах, измыкала я свое мыканье
В распроклятом вдовстве-одиночестве.*

Дева-Зорюшка, защити Его, бедного, от зла всякой напасти, от меча отравленного, стрелы – перемоги вражьей! Зоря-Зорюшка, защити Его доброе имя от глазливого глаза, злого навета, торопкого слова! Он не может себя защитить...

Мать вздрогнула, переступила к обрыву, обхватила руками, стала качаться-раскачиваться, заголосила, запричитала:

*Ах да у соловушки крылья примахались,
Ах да сизы перышки подломались.*

А Крутунь-река крутит, под ногой крушит граниты, и дрожит-содрогается вся Плоскун-гора, даже зубы вызвенивают.

На Монаховом Камне в стаю сбивается воронье.

II

Да вот же она, Сарынь, хвосты всех четырех улиц по-над Крутунью. “Сарынь на кичку!” Пить, бывало, так огулом, тут же у магазина двинут по башке кому-нибудь кантырем, отнесут домой: “Нате”. Передерутся, помирятся, есть причина пить мировую. Вытащит один какой-нибудь из Крутуни налима, все дворы обегает, каждого оделит куском, и его же отполоскают: известно, на весь мир пирога не пропечешь, кому-нибудь сырой кус да достанется. С Сарыни выходили самые пустые, завалившие и самые дельные, отчаянные, какими гордились все Схлестки. И кто по сей день живет на Сарыни, кроет почему зря Сарынь: и грязь по пузо, и магазин далеко, как в какой-нибудь Эфиопии. А встретить сарынца где-нибудь на стороне – от истовых слов о Сарыни не отобьешься.

А это вот, чуть подалее, их первая избенка, утлая, вдовья изба. Подслеповата крыша, в буро-зеленом мху, пальцем в крышу ткни – просквозишь. Мать дернула привычно калитку, та привычно рыкнула и привычно повисла на верхней петле. Она прошла в горницу, не зашибив о дверной косяк лба. Два оконца у самого пола. Всей и утвари, что стол, кровать, сундучок и две лавки. На оконцах миткалевые занавесочки. Что вдовство, что старость – одно. “А ведь я здесь жила, – толкнулась в Мать мысль и обручами стянула виски. – Уж не во сне ли все было? Может, это все снится? Опять я здесь, в этом доме, где прошли молодые, лучшие годы”.

Кто-то сунулся в дверь, носом к носу Мать столкнулась с Поруней – все такая же, востровата, здоровенны колеса – очки. Как сова. Все годочки с ней, а уж худа-худюча, вся подшита, кочерыжка, и только время приубавило тела Поруню. Но таким сносу нет, все внутри сгладилось, все навечно. Ей за доброе слово отдала Мать эту

обитель, когда Сын, сбив уже после учебной скамейки деньжонок, настоял купить пятистенный дом под горой.

— А-а, кто пришел-приехал, свои! Свои родные, свои миленькие, — всплеснула плетьюми-руками Поруня и содрогнулась всем своим трепетным тельцем. — А то ложка со стола нарани юркнула — ну, думаю, кто бы это должен? А это ты — желанные вы мои, лучезарные... Как живу-то? Да как одуванчик; не сдуло ветром, и ладно. Сынок-то? Бывает. В редкую стежку, в редкую стежку. Да я сама ему туда в город то огурчика, то картошечки. Чижало там, все с купли... Ну, да что я? Сичас, — заметалась она по горнице. Достала из сундучка простыню, расстелила по лавке. Сделала большие глаза: — Может, добежать до “Эфиопии”? Чай, не басурманы... Ах, давление. Ну, тогда да, тогда ясно-понятно. Аичка? Сердце жмет, воздуху не хватает? В свою деревню приехала, в свою избу зашла — и не хватает? Да мы сейчас фортку откроем, а то вовсе окно...

И Поруня толкнула оконце. Уличной свежестью овеяло лицо Матери, и Она поняла: если чует воздух и само сердце, значит, жива. Она сидела в красном углу на лавке, слушала Поруню, как самое себя, и понимала все, как когда-то. Тут вот Она была молодой, а Сын был мальчонкой. Да думалось ли, что когда-нибудь Она придет сюда Его поминать и Ей будет не хватать воздуха, чего-чего, а уж воздуху-то должно всем хватать. Свои, привычные запахи — ближние: дубовых половых досок, пересушенной глины от печки, мышиноного приторного духа от клеенных мукой обоев, — и дальние: с огорода, курятника, ягодной ныне, чуть прибитой морозцем рябины, — укрепили Ее. Она почуяла, что снова способна жить.

Поруня выставила на стол, что смогла собрать на скорую руку; сбегала за подкреплением к соседям, принесла ставец гусяного холдцу; когда ходила от стола к печке, от печки к столу, в ставочке тряслось. Присела напротив и, уперев в щеку кулачок, все говорила Матери, все говорила.

— Да ты прикурни, прикурни, коли томко, — наклонялась Поруня к Матери. — Вот сюда, на кухваечку. Бабка так, бабка спит на кухваечке. Насобираю пера на подушку и сынку в город, а сама все без подушки. Скрозь живут крепко, а я все так себе, по-крестьянски. Это когда кому много надо, тот все рывом, терпежу никакого, а мне что, мне много не надо. Не смотри, что у меня такая-то юбка, у меня есть и другая. Я хорошее приберегаю, за плохим и хорошее держится. Я когда сына своего родила...

— Это какого, с зубами, что ль? — оживляется Матерь.

– С зубами! А ты отколь знаешь? – стреляет Поруня веселыми глазками. – Ах, родимец! Да сама ж тебе и говорила... Да ты ешь глазунью-то, ешь, остывает...

Воспоминания, как вино, зарозовили Порунины щеки. Ведь знали с Матерью друг про дружку все до самой малой мелочи, и все равно было все интересно. Совсем забыла, что все это она рассказывала Матери в третий раз, а Мать забыла, что слушала в третий раз. "...Приехал Васятка, сынок-то, из городу, сунулся за молоком: "А тебе, мать, за такое дело могут и пришпандорить." – "А за что ж это, милок, а?" – "Да за газету. Прессой кубаны накрывать нельзя". – "Да она ж для детей, пионерская..." Ну, я и расскажи, что пионеры у нас тут вырабатывают. Принесли как-то с почты открыток целый ворох, вкрутили ей. Пропаганда, говорят, из этого... из Эрмитажу. Опосля разглядела: сплошняком голые. Надо же, старому человеку такое! Это Верки Евтиховой дочка пионеров там научает, вожатая. Стишки, газетки читают – навучные дети... А глянь-ка, на чем я обедаю: на телевизоре. Бывало, луплюсь и луплюсь в него, дела заброшены, куры-утки не кормлены, прямо язва какая-то. Сидим с Васяткой, уперлись в ящик, а там – в черном, ужака – не человек, ну выкручивается всем телом. "Кто же это?" – спрашиваю. "Это мимо", – отвечает Васятка. "Вижу, а чего все молчком? Уж сказать чего-нить не может?" – "Да нет, – говорит, – может, да..." Ну я хватъ по ящику кулачишком, чтобы звук прочистить. А теперъ вот сижу и... обедаю... А с хозяйством не расстаюсь, нет, нельзя. Волна есть, правда: валенок наваляно, варежек навязано, а вот будут овечек весной выгонять, а у меня ни одной нетти – беда-а... А теперъ у меня поросеночек да куры. Да Бублик еще, собака, хвост бубликом. Васятка притащил захудалого, говорит, сибирская лайка, выходили. А курица у меня одна молодая, всего четвертым яичком. Так я петуха отдельно подкармливаю, его благородие, а то сам не долбаёт, отдает все курам. Кормлю, чтобы куры побольше неслись. Жизнь-то какая, все с магазина, а продавцы и от яйца отольют... Васятка-то мой под двумя страстями ходил, ты знаешь: один раз чуть лесиной не убило, другой раз чуть не утоп, а все вот живой. Значит, оно что-то есть. Если б знать, то б не думалось. Неученая я, конечно, и живу, в грязи ворочаюсь. А кто ученый, хоть голову морочит, да живет чисто..."

– Много ты понимаешь, – раздвинула наконец сжатый рот Мать, а сама думала: "Сколько всего наговорено, – жалеет все. Понимает Поруня материнскую душу..."

– Раньше печка за все отвечала, – продолжала Поруня, и в Матери все смешалось: свое с Поруниным, близкое и далекое сливалось,

все сошлось в тугой, целый, неразволочный комок. Она снова дома, а здесь все свое, деревенское, и вот она, даже рукой можно тронуть, Поруня. – А теперь газовая плитка отдувается. Ни жара, ни пара, в пять минут все готово. А я – спасибо тебе и Ему особо – все живу тут. Потерпи, в совхозе говорят, дай разгрузимся. А я радио слушаю: там водой затопило, там землетрясение, где же разгрузишься? На Поруню средств пока не хватает, подождет Поруня, Поруня своя. А вот из-за садилов, говорят, в городах бедствуют, с детьми чижало, бабы рожать разучились, это правда?..

“Понимает Поруня материнскую душу”, – ухватила Матерь конец своих мыслей, и в груди Ее утепилось от осознания, что оттого Поруня и крутит, ничего не скажет о Сыне, что помнит Его, добром поминает, на добро добром отвечает, – доброе забываемо. И такое подступило вдруг к горлу, так Ей, Матери, захотелось вслух услышать что-либо о Сыне, что Сама не выдержала и сказала:

– Это мы с тобой разучились, по одному выродили и успокоились. Дед-то наш все говорил мне: учи, мать, Его, дже умственный. И сама знала, а с чего учить-то было сразу после войны? Наделала чернил из красной свеклы, а они, родимец их, застывают, трясутся, как холодец. И руки у малого краснющие, не хуже как у гусака. Из сажии сделала – еще хуже, на другой стороне листа отпечатка. Пристал: купи да купи тетрадку у дяди Гришки, тот припер из Германии, дело до ревуника дошло. Как Он плакал, учиться, бедный, хотел.

– Навучный ребенок, – вздохнула Поруня. – Э, да мы с тобой как только живы! Потому и на свет белый смотрим, что не застилось солнце, не перестали течь облака...

И тут в дверь постучали. Распахнулась дверь – библиотечарша, Федосовна! Друг-товарищ Сына по книжным делам. Как бросится на грудь к Матери, зарылась, затряслась вся плечишками.

– Ну что ты, что ты, дочк? – гладила ее Матерь.

– А я сижу в библиотеке, а мне, мол, Сама приехала, – подняла она улыбающееся, полное слез лицо. – Куда, думаю? К Поруне, в старую избу.

– Ну, вот и мясца у соседей позычила, – внесла Поруня в горницу дымящуюся тарелку.

– А вот вегетарианцы, особо в таком возрасте, не едят мяса, – Федосовна внимательно посмотрела на Матерь.

– Оттого-то они в войну такие и слабые, эти тальянцы-то, – оторвала Поруня от тарелки свое хитроватое личико.

– Да не итальянцы – вегетарианцы.

– А я вот приехала, горе позвало. – вздохнула Мать.

– Ну, мне на собрание надо, – набросила Поруна на плечи ватную телогрейку. – Про землю говорить будут, по пятнадцать соток оставят...

– Да зачем вам полгектара, не понимаю, – все смотрела на Мать Федосовна.

– Да ежели б они землю-то в дело производили, – задрожал подбородок у Поруни. – А то ведь отняли в соседней бригаде да бросили. Поросеночка чем кормить? Сад у меня, ты знаешь, а в саду одни плети, картошки всего три борозды. У нас ведь не как у этих... тальянцев... комбикорм по учи... р... р... риждениям. Тыфу, право, не выговоришь, зубов мало стало. Ох, да зыкалась тут, всквакалась. Ну, я побежала.

Мать вынула из сумочки, выбрала и поставила на столе перед собой портрет Сына, когда Он был еще юным, совсем молодым. Он плыл через литую Крутунь-реку, и водяные струи свивались-завивались вокруг плечей, шеи, стекали капли с волос, подбородка; так и застыл, раскрыв рот, улыбаясь хмельно-молодо, глядя прямо сюда. Таким Он был в те ихние годы.

– А ведь я здесь жила, – качнула Мать Сыновий портрет. – В этой, дочк, самой хатенке.

Ей захотелось вдруг все рассказать о Нем, обо всей своей жизни, обо всем пережитом здесь, когда была совсем молодой, как сейчас Федосовна, как осталась с малым дитем, как жила всяко-разно, всяко-разное мыкала. Вслух Она не говорила, шевелила губами и знала, что Федосовна слышит все, все понимает, все о Них знает Федосовна – не старая еще, но беспредельная женщина. Кто знает про вдовьи слезы в подушку, когда сама-одна, а рядом спит спокойно мальчонка – Он, Ее Сын? Кто знает про колготу днем на ферме, а ночью за рукоделием – расшивала людям покрывала, блузки и наволочки “рюшкой” и “ришель”? Все помощь, все дому копейка, мальцу рубашонка, чтобы ходил не хуже других. Исполняла дедов, отцова отца, завет, его наущение: все отдай, расшибись, у тебя не простой – малой такой, а как рассуждает; поставишь на ноги – честь тебе и хвала. И Она все отдавала – зрение, здоровье, молодость. А помнишь, Федосовна?.. Э, да где тебе помнить, дочк, как обгорела эта хатенка, как пошли, погорелые, по Сарыни. С месяц – у одних, два – у других. Горевали вместе с людьми, радость делили в кучке. В войну вслушивались, страшно было: с фронта тогда поступали тяжелые вести. Пришел домой с пустым рукавом их сосед Перепелкин, отчаянный гармонист. Сбились все в избу к нему, Сынок прижался к Ней, смотрит огромными глазищами. “Ну, что там, что самое страшное? – спрашивают бабы. – Может,

бомбы?” – “Привыкли”. – “В атаку идтить?” “Уходишься хуже лошади, – отвечает. – Деревяшка бесчувственная. Думаешь, уложат навечно, и ладно”. – “А что ж тогда солдату страшнее страшного?” – спросил и дрожит весь Сынок. “А то, малый, – положил сосед на голову Ему целую руку, – к чему человек никогда не привыкнет: голод и холод!.. Цельный месяц сидели перед Москвой во льду на корточках. Траншейка – тьфу, по коленки. А глубже – нельзя: болото. Затекут ноги, а приподнимешься – из пулемета. В неделю раз отводили нас назад метров за двадцать, на соломке ноги хоть развести. Вот так сидишь-сидишь, окоченеешь, насквозь льдом тебя прошибет, и курсак своего требует. И вот не курил сроду, верите ли, а тут закурил – в ладонях, чую, живое, родимое, теплое. И село наше вспомнил, и вас, бабы, всех по дворам перебрал. И поле у Крутунь-реки, где табак сажаете, вижу, как вас вот сейчас. И вся страна – за спиной у солдата... Ясно-понятно выражаюсь, дорогие товарищи женщины?..”

И ведь после того (помнишь, Федосовна?) отвела Она, Матерь, Сына в полевую бригаду, на табачок, на фронтовую культуру. Сказала Ему: плохому здесь не научишься, без куска у людей не останешься. А уж щегленок был, рубаха обвисла, как на колу, помнишь, дочк? На лошади тогда Ему воду велели возить. Приедет на Крутунь-речку с бочкой, ведро в воду – течением руку чуть не оторвет... Тогда-то Перепелкин и снял Его в Крутунь-реке, сделал вот это фото... Где люди, где сама учила Сыночка, как в воду заезжать, с какого краешка черпать, чтобы не закрутило самого, лошадь, повозку. Сам-то был, помнишь, ниже оглобли, кобыленка все вздергивала голову, не давала запрягаться.

Да ты, говорю, наступи на повод да споднизу хомут, а на холке перевернешь... Самой пришлось хлебнуть вдовьего, хоть Сын, думалось, пусть живет...

Матерь встала в своей черной шалинке и завела прядку за ухо пальцем, и увидела Федосовна, как за год оснежилась, оснеговейлась волосом Матерь. Вместе они вышли во двор. Отсюда был виден другой, низкий, топкий берег Крутуни. Туда, в чужой район, в Талицу, Сын бегал по льду за топкой, а когда стали восстанавливать хатенку, таскал с Талицы по бревнинке – солому, хворост не толще руки.

– Бывало, мечусь на этом боку, – подставляет Матерь лицо ветру с Крутуни, – а Он призывает лодку оттуда: “Выплывите меня, люди!!” Береги Сына, говорил отцов отец – дед. А как уберечь?

– Он всегда носил с собой книжки, – смотрит туда, на Поповский остров, Федосовна и видит там, на массовых гуляньях, всех схлесткинцев, всю их школу, всех сверстников, себя с косичками и Его, Сына

Матери. – Волосы, бывало, по плечи, за поясом – Гоголь. Все вместе играют, смеются, а Он – в сторонку, в кусты. Подкралась как-то на цыпочках, а Он наотлет книжку и – “Чуден Днепр при тихой погоде”. И в грудь кулаком: “Да разве пересилишь русскую силу?” Потом упал лицом в траву, трясется: “Ух, гады, сожгли!” Подошла к нему: “Кого сожгли?” – “Да Тараса же, Бульбу!” И приподнялся на локоть, лицо мокро от слез.

Солнце уже высоко стояло. А тракт все гудел, Крутунь-река все катила-крутила воды крутые, а здесь было тихо, уютно.

– Спросишь, бывало, – облокотилась Мать на стол, – что читаешь, Сынок, уроки делаешь? Подойдешь, а книжка шлеп за сундук. Не порвешь же, срамно, да и жалко – из библиотеки... И сидишь допоздна, вышиваешь, а Он рядом. И говоришь, говоришь Ему все, что знаешь, – про отца, про дедов, про соседей, как жили – живем, у Него глазки таращатся, никогда не уснет. Из-за книжек тех и чуть не сгорели мы. Среди ночи, помню, как что-то толкнуло меня: чад! Отвернула одеялку – уж вата затлелась, а Он, беденький, лежит крючком, подперев щеку, и не ворохнется, а рядом коптущечка – пузырек с керосинцем, фитилек над сырой картошкой, огонек с мышиный хвостик. И под щекой – “Тарас Бульба”... Сижу, бывало, вышиваю “рюшки” и “ришелье”, говорю с Ним. Прикрою веки и слушаю, как рассказывает Он про то, что на днях Ему сама говорила, только все на свой лад. И так сладко мне, что дите такое разумное, понимает людей, так хорошо, будто крылья за спиной прорезаются, облаками идешь, а Он у тебя на руках еще малолеток, и ветры в лицо, дожди хлыщут, молнии нжут, и страх крадется на толстых собачьих лапах, а ты все прикрываешь дитя собой, своим телом, своей душой от всего, что может быть впереди. И города внизу, поселенья, и где какой костерок, какая боль, какая улыбка – все толкается в сердце, держит, не отпускает, поднимает все выше, выше, до той необъяснимой черты, за которой уже нет человека, одни только звезды в своей дневной бесцветности, как бестелесные души людей, целые россыпи односельчан, скопившиеся за века, и среди них самая близкая, родная, светящая через всю дневную бесцветность звезда... Душа рвется к ней, золотой, и только руки набрякшие да тело работное, грузное прижимают тебя к земле, к Схлесткам, к этой вдовьей избе... Когда родила Сына, лежала разбитая, не думала ни о чем. Это чуточку позже роженицы-матери начинают думать о ребенке, когда привыкают, что он явился на свет, существует. Потом приходит боязнь, как бы его не перепутали с другим, не подменили. “Ваш приметный, – улыбнулась мне медсестра – пожилая,

усталая женщина. – Такой горластый, такая линия жизни! Не волнуйтесь, жить будет вечно”. И вот... каково Матери дитя свое пережить?..

– Боцман первым заметил в Нем эту способность – Артиста, – сказала Она. – Когда провожал на гражданку, напутствовал: “Из тебя, матрос, выйдет что-нибудь дельное, если, конечно, подучиться маленько”.

– Пришел к нам в Схлесткинскую библиотеку, – сказала Федосовна. – Спросил, есть, мол, книжки, где пишется, как на Киноактера, на Писателя учатся. Я еще тогда пожала плечами: мол, всегда знала тебя как серьезного человека. Да что там, в городах, ай своих не хватает, а вон оно как получилось.

– Когда провожала в Москву, продала нашу кормилицу, корову Райку, – едва продохнула Мать набежавшие слезы. – Ждала обратно, как голубя, а получила весточку: мама, куда идти учиться – на Историка ай на Актера? Почему так, дочк, чтобы выучиться, надо ехать куда-то?.. Собрала ему подкрепленице, приходит ответ, слово в слово вот: “Дорогая моя! Получил посылку (вторую) и письмо. Мама, ты что это делаешь? Купила пальто. Милая моя, я с успехом прохожу и в шинели. Получаю посылку, опять как маленький вагончик. Прошу, ничего мне не покупай. Деньги у меня есть, питаюсь хорошо. Выручает Москва-товарная”. И другое письмо, оно пришло следом: “Недавно на курсе у нас был опрос: кто у кого родители, т. е. профессия, образование. У всех почти писатели, артисты, разные работники. Доходит очередь до меня. Спрашивают: “Кто из родителей есть?” Отвечаю: “Мать”. – Какое у нее образование?” “Два класса, – отвечаю и улыбаюсь. – Но понимает она у меня не меньше министра”... Кабы пошел на Историка, был бы жив до сих пор...

– Не плачьте, мама, не надо, – сказала Федосовна. – Теперь все увидели, что и наши, схлесткинские, что-то могут... Вчера встретила Белого Лебедя, пить бросил, за дело взялся. Силы, говорит, заглохшие пить больше не позволяют. Если бы не Сын Ваш, сгинул бы где-нибудь под забором...

– Нелегко, дочк, жить на земле.

– И сейчас не легче, чем тогда, в войну, и сразу после нее. Беднее были, моложе, щедрее, потому – победители! А как стремились к чему-то, как чего-то хотели! А сейчас иные гарнитурами обставились, пылесосами обкрутились и не видят друг друга. Людей вокруг вроде много и мало, талантов и того меньше. Ваш Сын помогал всем. Сам себя искал в людях, люди в Нем теперь ищут себя...

Федосовна говорила что-то еще и еще, но вдруг замолкла, посмотрела на Мать. За окном хлынул словно майский пролетный,

скоропалительный ливень. В одну минуту потемнело и запотело оконце, обильно кипящие струи, как живые, ударили с неба и падали на ноги, на пол, на плечи: Федосовна на миг куда-то пропала, и Матьер как будто вошла в нее, стала с ней заедино, одно. И тут чья-то тень в оконце приложилась к стеклу – Поруня или не Поруня, сама Матьер отразилась в стекле. И в сполохах возник перед Матьерю Он – плывет по Крутунь-реке под вечер сюда, на огонек, почему-то на льдине. И в резких порывах ливня летит почти с того берега длительный крик: “Выплывите, выплывите меня, лю-ди-и!..”

III

Своя, родная, привычная улица. Матьер шла в конец Сарыни, к дому на взвершье со слепящей оцинкованной кровлей, на свесе два крашенных суриком железных листа. Проходила перед слабенькой, крытой толем избенкой, зато цветы в палисаде какие, а над окнами деревянная резьба – птица-лира. По огородам лопушился хрен, тянулись к солнцу ярко-желтые решета подсолнухов; вдоль заборов, под тополями, акациями, кленами, возле самых завалинок, вспыхивала синеглазая мята, запах ее кружил голову. И всюду, где только можно, раскачивались, грозили ожечь плечи, шею, щеки длиннобудылые, крупно нарезанные, тяжело осемененные метлы крапивы. Матьер всей кожей чуяла жгучий ее холодок в тени, невыносимую огненность. Еще девчонкой, играя в “салки”, влетела Она, полуголая, в такую вот жуть, а вечером дед утешал Ее: “Ничего-ничего, до свадьбы, поди, пройдет”. Вот так же, живого места нет, слитый весь, в белых волдырях, стоял здесь перед Ней весь настеганный ее Сын, мальчишкой еще. “Ничего-ничего, мама, – крепился Он. – До свадьбы, поди, заживет”.

В пятистенник с оцинкованной крышей они перебрались из той хатенки, где теперь Поруня. Веранда, шесть комнат на две половины, две печные трубы. Сын купил дом уже на “киношные” деньги, все мечтал, чтобы сюда наезжали друзья-товарищи, чтобы места хватало всем. Он стал их зарабатывать, деньги, но приносят ли радость они, когда с ними уходит главное – жизнь? Матьер может вызвать в памяти любое Его письмо, хотя бы вот это: “Здравствуй, родная моя! Дай бог здоровья тебе, только ведь жить начали. Мне обидно, что деньгами ты мало пользуешься в свое облегчение. Может, нанять бы человека, который приходил бы и топил раз в день, когда тебе бывает невмочь?”

На двери висел гаражный замок. Матьер грузно опустилась на чистые, еще не просохшие от мытья доски крыльца. Конечно, можно встать, подняться, взять ключ, где всегда, но Она не хотела этого

делать. Отерла ладонью лоб и просто сидела. мысленно шла к сараю от огорода, с огорода через заднее крылечко входила в дом на кухню, из кухни через коридорчик в Его комнатку – на обоях мальчишки, каждый с удочкой на плече, бегут гурьбой к своему солнцу. Много-много мальчишек, много маленьких солнц...

Мать смотрела в вишенник, и в зарослях виделось Ей окно – то самое, Его окно, выходящее в сад. Молнией вспыхнуло в памяти: прогоняли стадо, чей-то теленок сунулся через калитку к сирени, и Она ринулась с палкой. В один миг Сын вылетел в это окно, обхватил теленка за мордочку: “Так он, мама, гляди какой, че он понимает. А сирень, когда ломают, только кустится”. И такие родные стояли, хлоп-хлоп глазами, такие свои. Один – белошерстый, с молочной полоской по шее, другой – в расстегнутой белой рубашке, загорелая грудь...

Когда Сын появлялся, в доме все закипало. Приходили, спрашивали, оставались. Приводил Сам, усаживал за стол, оставлял. Она, Мать, смотрела на Сына, видела, как все, что говорится здесь, нравится Ему, падает в душу, и млела от счастья. “Почему хоть Он с Гришечкой водится? Тот же ворует, спер вчера баллон у механизаторов”, – напала на нее по дороге соседка. “На себя обернись, – так и просилось сорваться с языка Матери. – Уж неделю как бюллетенишь, а сама все на своем огороде”.

Когда Сын приехал в Схлестки снимать свой первый фильм, Мать не знала, куда Его усадить. Прежде слушала, да не верила, что Он может снимать, не верили и односельчане. Когда на сцене местного кинотеатра все приехавшие говорили на творческом вечере о Нем как о будущем деятеле культуры, а Он вышел на сцену и слова в горле комьями, всем в зале стало неловко, как-то не по себе: ихний, деревенский, Сын Матери, которая век, знали, мыла полы, и вдруг нате, какой-то деятель...

Тот фильм – о шофере – был за границей оценен золотой медалью. Раз поверив, Мать верила, не могла не верить в Него; не было человека на свете, который бы верил в Него теперь так же истово, как и Она. Она видела, в Нем что-то лопнуло, развернулось, отчаялось. Он рванулся вперед с такой безоглядной, всесокрушающей силой: роли и фильмы, книги и поездки; женщинам Он не доверял, они любили в Нем не Его самого – скорее удачу, успех. Его деньги. И сердце Матери тоже рванулось за Ним, потом огляделось и задрожало за Сына, она стала молиться...

Перед тем как ехать сюда запускать фильм о Сарыни, Он прислал Ей письмо. Она терла это письмо в ладонях почему-то дольше других: “Мамочка. Как живешь, голубушка? Как здоровье? Милая моя, прошу тебя, спиши песню, которую ты, кажется, знаешь:

*...скрывался месяц в облаках.
На ту зеленую могилку
Пришла казачка во слеза-ах...*

И еще парочку каких-нибудь старых песен. Мне надо для работы”.

А потом Матерь видела, как вели хоровод на горе над их домом годки – подружки Порунины, как пели ту самую песню, а Сын все метался, то останавливал их, требовал чего-то, ругал тех, кто трещал аппаратами.

Пришел домой взъерошенный, нервный. Засел на всю ночь писать. Попьет чаю – сидит, пишет, попьет чаю – снова пишет. И стопка бумаги растет, в окне уже брезжит свет, пискнула первая птаха; за домом – на полгоре – белая рощица проснулась, по березкам кустьё красной рябины, как они рдеют под осень! Она, Матерь, входит неслышимо в комнату, Сын лежит, сморенный утром. От лампы лицо накрыто листьями, только что написанные страницы. Встрепенулся под ними:

– Ты что, родная?

– Затворил бы окошко, сынок.

А у Него мысли там, за глазами. И слезы.

– Об чем Ты, сынок?

– О том, что пока неподступно, не могу, не умею помочь людям, как бы хотел. Горит душа, ломит... не могу...

– Идем, сынок, по венички по березовые. Пришла пора, наготовим под зиму.

Через Плоскун-гору прошли и спустились к речке Федуловке. Как увидел березки-красавицы: “Родные какие, желанные! Да разве ж можно с таких веники брать? Да на таких молиться надо, думам их надо внимать”. – “Да ведь засмеют люди, коли веники корявые принесем. Скажут, что ж они, Матерь-то с Сыном, неудельные”. – “А пусть, мама, корят, пусть хулят, а красоту рушить никому не велено”. И нашел березу, грозой разбитую. А те невесты стоят по сю пору...

– А ведь я здесь жила, – сказала Сама себе Матерь, прошла во двор, стала шарить рукой ключ под камнем возле акации, где и положила его, уезжая.

В одно такое утро, когда Сын просидел над бумагой до третьих петухов, соседка обронила нечаянно: “Сынок-то твой ай чекан завел, не спит ночами, деньги чеканит”. “А ты подсядь, посиди, – только и сказала в ответ, – да вот так почекань, надолго ли хватит?” Соседка жива, что ей, а “чеканшика” нет.

Каждый раз, едва Он уезжал, Мать принималась ждать от Него письма. Читать сама не могла, так, самый пустяк, по складам. Читал каждый раз кто-нибудь из своих, деревенских. И выслушав письмо единожды, Она уже помнила его почти что насквозь, знала, где и какая мысль, где какое слово со словом стыкуется, и, вытащив листок вечером, после управки по двору, надевала на нос колеса-очки, водила чертовым пальцем по буквам, тужась и припоминая памятью то, что было прочитано кем-нибудь накануне. День по дню письмо полегоньку ветшало; когда видела, что лист ложится на ладонь рыхлой лепешкой, сворачивала его вчетверо, клала сверх стопки прежних; маленько помаявшись, наострив себя, бралась за ответное письмо Сыну. Писала сама, грубые коротыши-пальцы плохо повиновались Ей, рука делалась деревянной. Все лучшие слова обрывались, разбегались в стороны, оставались только такие, которые Она никогда бы не сказала, постеснялась написать, вычернила чернилами, если бы как следует могла прочитать написанное. Сердцем материнским выпрашивала в письме: как Он там, что с Ним, когда снова ждать?

Каково схлесткинским в городе? Насмотрелась. Как суббота, так битья в автобусы: едут домой за подкормкой, просто проведать, просто побыть. В городе все с купли-копейки, все приглядывайся, пока поймешь кой-чего, станешь вровень с городскими. Оттого такие-то нервные в городе. Хлебнет какой-нибудь там огоньку, разожжется – прикатит, зайвится в клуб, подавай ему праздник, ходит козырем: он теперь городской! А Ей, Матери, жаль до боли сердечной, когда влекут его, глупого такого, дружинники с драки, как он костерит, почем зря кроет всех двенадцать апостолов.

В городе на одной площадке с Ней молодая семья – прежде жила в общежитии. Молодая из деревенских, уж и сбитень была, уж добрячка, а за годы скрутило ее... Каково же было Сыну там, от дома за тысячи верст?...

И прежде Его письма к Ней были ласковы, потом стали еще нежнее, ласкательней, в последних письмах Он и вовсе такой лучезарный, что немочно. Полетела бы к Нему, как горлиночка, да не близок свет, расстояния. Все писал Ей: решайся, мама, да я тебя отсюда назад самолетом, ты глянь хоть на внушек да на кремлевские звезды, а то ведь помрешь, не увидишь рубины-то. Решилась, да так натерпелась, что вспомнить жутко. Подался тот самолет сначала куда-то не туда: нелетная, сказали, погода. Уж молнии наширялись в окно, под крылья, в самую душу. Ну, ладно, добралась до места, в ту, еще первую их квартиренку. Он и там у себя и пишет, и пишет... К соседу-кавказцу

тоже старушка-мать прикатила. И скоропостижно скончалась. Собрались хоронить. “А где ж она-то?” – спросила Матерь. “Да вот же, – показывают на спичечный коробок, – вот она”. Боже, мой, у Нее. Матери, ажник челюсть отвисла. Скорее домой, Сынок: от пращуров, от земли никуда! Спичечный коробок, такая-то страсть...

– А ведь я здесь жила, – повторила Матерь и услышала, как гулко отдалось в пустых комнатах.

Каково Ему было там, Она видела. Не присядет – мотор. То фильм задумает, потом ставит, то книжку замыслил. Пишет и ставит, ставит и пишет. Интересно это, когда про своих, деревенских. А слова, словечко в словечко, как на подбор, и откуда только берется? А после – критики в Него там словами кидаются, а тут попадают Ей в самое сердце. Сам про себя того не читал, что про Него приходилось читать Матери, – Федосовна, эта молодец, из библиотеки все ей поставляла. Вечерами, под метель или сечку дождя, вытягивала из комода Матерь очки-окуляры, навешивала на уши дужки и водила пальцем по строчкам, плакала и гордилась, если Его хвалили за дело. Сама ругала, если знала, что лыстали. И на чем свет крыла, насылала лихую грозу мужикам, даже – грешным делом – бесплодие бабам этим, корреспонденткам, коль подсказывало Ей материнское сердце, что корили они Его незаслуженно, из-за какой-то своей корысти, из-за чего-то такого, что чуют чужая, а понять не могла. Правда как солнце, ладошкой ее не прикроешь, глядишь – все вывернется наружу. И тогда садилась, Сама принималась писать Ему: о чем думает да что тут у них происходит. Письма Ее, как Он любил говорить, Ему были лучше бальзама...

В ту осень целым табором прикатили они ставить второй Его фильм. Он Сам писал сценарий для него, а дописывал его уже здесь. Просиживал вечера с “лелькой”, своим крестным, родным дядькой Меркулом Игнатичем, все из него по крупичам вытягивал. Так всю осень и работал ночами до солнца с распахнутым в сад окном, и горела на плече, просунувшись, ветка горькой рябины. Всему киношному табору в большой комнате места хватило. Они с Поруней носили с кухни шаньги в масле, карасей в сметане, шибяющие в носы квасы и домашние вина-наливки. Все ели, хвалили-нахваляли Ее, Матерь, и Его, Ее Сына, и всю семью, и всю их Сарынь, все Схлестки и все, все, все Прикрутунье, Сибирь. И Матерь горела щеками, вся млела от тихой гордости за Сына своего, который, душа всего, привез и привел их сюда, которого все так уважают и ценят. И только раз поймала Она боковой, нехороший взгляд на Него, только раз услышала, как кто-то мимолетно сказал, что точно такую же натуру для съемок

можно было подыскать где-нибудь и в Подмосковье, и Матерь вся вздрогнула, натянулась, но тут же все утонуло в Ней в потоке людского добра и любви.

Когда гости ушли отдыхать – иные на сеновал, иные в соседние комнаты, – они с Сыном остались одни.

– Они тебя любят, Сын? – кивнула Матерь на еще теплые стулья.

– У меня перед своей деревней долг, – наклонил Сын упрямую голову, и Матерь увидела, как высверкнули под электрическим светом виски. Он катал пальцем хлебный шарик, а Она смотрела, разглядывала Его вблизи: суше, вытянутое стало лицо, резко прорубились складки у рта, глаза стали глубже, точно подвалы. – Я уехал, чтобы вернуться другим... чтобы что-то понять... Я хочу, чтоб вместе со мной это “что-то” поняли мои земляки. Иду вчера по Подберезовцу, дед один чапает, рупор под мышкой. “Куда путь, старина, держим?” – спрашиваю. “Да в кручу, – говорит, – сбросить к фенькиной матери”. – “Чего так?” Оказывается, бригадир вчера, как обычно, раздавал наряды по радио, а тут гроза, молния и убей у деда старушку. Мигом все обрезали провода. Теперь бригадир опять будет кричать под окнами... Вот мы, мама, часто треплем слово “народ”. А народ – это, между прочим, каждый из нас. Если бы каждый осознал себя, а? Личности, мама, нужны, это дефицит! Она – провинция – не только здесь, сколь хочешь ее и в столицах. Это – категория, как бы тебе сказать, духовное состояние... Ты меня понимаешь?.. Можно быть высокодуховным и здесь, это сущая правда. Бездуховным жить проще, а попробуй чего-то хотеть, к чему-то стремиться...

Матерь слушала Сына, кивала Ему, улыбалась. В его рассуждениях отдаленно слышалось что-то знакомое, Самой прежде сказанное, Им прежде написанное; все словечки Его, все до мельчайшей мелочи знала и своим крестьянским умом могла дать Ему дельный совет. В последнее время Он стал и вовсе нетерпеливым – не все выходило, должно, как хотелось. Оттого самые ясные, мягкие, от кого раньше, бывало, ни язвочки, остро ранясь, бычаты и тигреют. Она понимала Его, прикидалась к Нему, оттого была счастлива...

Перед Матерью неожиданно всплыл зеленовато-пурпурный венчик из восковых, шелестяще мертвых цветов. Где Она его видела? Он словно ходит, крадется за Ней по пятам, это какой-то кошмар, наваждение, крик – болезнь, ни сна, ни покою. Нехорошее это, вдруг вонзившееся в мысли, отяжелило Ее, мешало разогнуться спине, руке оторваться от сердца. Тот пурпурный венчик вносили из сада, и Она, Матерь, толком не разглядела, кто вносил, чей венчик, все хотела

после отослать его туда, на могилку, а вернувшись, просто деньги послала, а венок все стоит, дожидается часу... Один учитель из города – свой, схлесткинский – все просил продать дом, не решилась сразу – все еще Сыном тут полнится, прежней жизнью. А ведь, если вдуматься, человек – учитель этот – пожелал вернуться домой; все только и едут отсюда, покидая деревню, а этому захотелось обратно. Она отдала бы, кажется, все теперь, только бы глянуть в живые глаза...

Мать привычно толкнула дверь в комнату Сына, привычно скрипнула половицей. Потянуло непривычно сладковато-приторным духом сосны. Посреди пустой комнаты – деревянный топчан, на топчане с обернутым тряпицей краном – ведерный самовар, у двери сиротливо жмется венок. Тот самый. Серовато-пурпурный, в бумажных цветах, на лепестках застыли крупные слезы воска. Как стоял в углу, так и стоит целый год, пылью покрылся на четверть пальца.

Не помня себя, Мать проволокалась на кухню. Сидела, слышала скрежет в висках, ломоту то в груди, то в темени, дважды в груди – дважды в темени, в такт биению сердца. В этом доме когда-то Она была счастлива. Как все вдруг пересеклось? Счастье всегда неожиданно-негадано пересекается. Здесь, на кухне, почтальонка отдала Ей ту телеграмму. Отдает, а сама заревана, глаза – с кулаки. Притормаживала Мать сердечко: мало ли, может, автомобильная катастрофа? Ну, ногу сломал. Ну, позвоночник повредил, как по-за той неделей парнишка-десятиклассник из Подберезовца. Ведь что устроил на перекрестке? Со всего маху перелетел через кузов машины на мотоцикле. Пусть хотя с костылем, на носилках, она и к таким оборотам готова.

На аэродроме в Москве Ее, Мать, встречали все в полном сборе, подлетели к Ней, подхватили под руки, повели.

– Как хоть Сам-то? – все вытягивалась Она, заглядывала через головы.

– Сам-то? Ничего, как живой, мы сюда Его, – успокаивал Мать близкий друг Сына артист Журавлев, – в цинковом гробу... самолетом...

Мать с ног так и слетела, как литовкой подрезанная. А дальше уж и не помнила ничего, все задернулось шторкой черной. Приоткрыла веки – захлопнуть не может, на распорках веки: Сын перед Ней – лежит, бедненький, в красном весь, вроде как тогда под тлеющей одеялкой над Гоголем, и будто с улыбочкой, губы тоньше, белые, а дочки вокруг: “Папа играет, папа спит”. И кислород в Нее, слышит, накачивают, лекарства через зубы толкают. Только те Его слова и стоят в груди колом: “Нас, мама, с тобой не сожгут, не засунут в коробочку, предадут тело земле...”

Пока Матерь сидела на кухне, бередила себя, через весь дом шаги раздались. Плоскун как ходуном заходил – шаги Сыновы! Глянула: перед дверью венок не колыхнулся. Поняла: дядя сродный. Меркул Игнатьич, копия Сына, только суше, полегче. Сын, бывало, “лелькой” да “лелькой” его, по-деревенски...

– Здравствуй, Матерь, – поклонился Меркул Игнатьич. – А я слышу, примчалась. Ну, как ты там, жива?

– Какое здоровье, – махнула рукой. – Как за двести давление, гложу. Бьет, ну, думаю, вот-вот убьет. А то вниз давление, и того хуже. Теперь, лельк, здоровья не спрашивай.

Он сходил на кухню, принес табуретку, присел к столу, и Матерь ахнула – Сынок вылитый. Ну черточка в черточку, росинка в росинку. И голосом, и посадкой головы, глаза тоже с голубизной, крутунские, нос раздвинут, нашлепкой. За стол сейчас бы да в руки перо... Сынок-то был ихней, отцовской породы...

Толечко раздышалась, белые мухи с глаз стекли, а тут опять шаги – венок вздрогнул, иголки просыпались, все качались на проволоке цветы. Белый Лебедь вдвинулся, стянул картуз с головы, сел молчком на корточки у двери.

– Как приедет, бывало, так ко мне, не минет, – подает голос Меркул Игнатьич. – А потом уж домой, куда денется.

– Не-е, поначалу к нам в столовку, – натянул – Белый Лебедь на колено картуз. – Вспомни, без меня к тебе, – Игнатьич, Он не заходил.

– Что-то у тебя там такое тяжелое? – скосила Матерь глаз на сумку у ног Белого Лебеда.

– В торбе-то? – провел по шершавому брезенту рукой Белый Лебедь. – Вериги мои, крест свой несу. Бутылки с водой, видала, “Славяновская”. Пить бросил, зарок твоему Сыну дал... Э, не знаешь, что ли, – махнул он, – помнишь, проехал почти до самой Монголии да желтуху где-то на тракте схватил? Сын твой еще сказал: пей воду, пройдет. Забылось, а печенка напомнила. Вот и таскаю тягость, пудика полтора, помогает. Хожу, как гвоздь, ничего. Одолею себя, на комбайне это лето работал, пять костюмов хороших, как вот на тебе, Игнатьич, в карман положил за сезон...

“Сын советовал, – шевельнулась Матерь. – Как не помнить, все помню”. – “Пей с разбором, Гриша, – сказал тогда Сын. – Не то, гляди, станешь из белого желтым, не лебедь, а утка-пекинка”.

Матерь слышит разговор Сынова дядьки-лельки и Сынова друга-товарища, смежает веки: как будто ни года этого не было, ни лиха черного, ни порога последнего, один только голос Меркула

Игнатъича – Его, Сынов, голос, другой голос все тот же – Гриши, Белого Лебеда, третий голос того из “киношников”, что тогда говорил, мол, зазря они приехали сюда ставить картину, такую натуру можно было подыскать и под Москвой. Этот третий был смоляной, черный, как головешка на погорелом, про себя Матерь тогда прозвала его Черным Лебедем.

– Все пять костюмов, небось, и пропьешь, – слышит Матерь голос Меркула Игнатъича, голос чуточку глуше, у Сына звонче, почище.

– На воде не пропьешь, – отвечает ему Белый Лебедь. – И нельзя мне, нельзя.

– Сколько, Гриш, в тебе всякой крови намешано, а? – говорит Меркул Игнатъич. Лицо его пористое, загорело, но все так же в глазах бесенята, крючок-язык, руки то в боки, то в карманы – стоит фертом, лишь пониже, покряжистее, Сын был телом пожиже. “Только числишься, Гриш, Белым Лебедем, – слышит Матерь в себе другой, свежее голос – голос Сына; все встает перед Ней, как тогда, как живое. – Вся семья твоя так... хоть и пашет, да не пачкается, пахотой разве пачкаются?”

– Почему, говоришь, под Москвой подыскать можно? Нет такого куска земли под Москвой, – хмурился Гриша тому, головешке на погорелом, Черному Лебедю. – Снять-то можно, техникой сейчас все исделаешь, а вот нас таких там найдешь? Нашу душу, мысль нашу поймешь?

– Обойдемся, – отводил напор смоляной. – Главное – это художник, его недра, как он видит натуру.

– А чего я хочу – это так, наплевать, да? – чуть ли не схватывал за грудки Черного Лебеда Гриша.

– Тихо вы, петухи, – наклонотал Сын из бутылки себе минеральной. – Отряхнем черный прах с наших ног... Ты черную работу, Гриша, не забывай, в ней все наше спасение, не перервутся на тебе все твои Белые Лебеди... “Эх, за что я люблю Черного Лебеда, – хлопнул Сын по плечу смоляного, – так это за то, что у него красный нос...”

– Ну ты, Белый Лебедь, – прерывает Меркул Игнатъич Материны воспоминания. – Помнишь, что тебе говорилось здесь? Не все-то долбай перед носом, крылья на что тебе, крылья?

– А я вериги, Меркул Игнатъич, навесил.

– К земле тянет? А кому тогда небо? – шумно, похоже, как Сын Ее, вздохнул Меркул Игнатъич и совсем уж, как Сын Ее, дернулся левым боком и потер, жвык-жвы-ык, ладонь о ладонь, ажник искры просыпались. Так-то делал отец Его, так-то делал Сынок, так-то делает вот он, дядька сродный Его – вся их такая неподъемная, электрическая порода. Все им больше всех надо, все не как у людей.

Хлеб, какой едим теперь в Схлестках, лучше господского прежнего. Дед, бывало, рассказывал: зачерствеет хлеб, в куски его да в ставец, водицы туда да постного масла – тюря получается, и здоровше были, об дорогу не расшибешь. “Это потому, что душой так не мучились, – подумала Матерь. – Вывозила и тюря. А теперь скрозь хотят не просто, а хлеба нашенского, схлесткинского – особой сдобы и вкусоты”. Изобрел его вот он, Маркел Игнатьич, с дедом одним – ленинградским блокадником. Года три приспособивали печку, искали выкваску да дежу. На заводах принцип закваски принудительный, побыстрее надо, а у них на поду, естественный; чтобы тесто само поднималось, подходило быстрее, все применяли: и тепло, и мешали сорта пшеницы – мягкие с твердыми, свои с канадскими, лишь бы были хлебы сдобнее и чтобы не черствели. Его – в формы, а он во какой – тянется. Дали выпечку, а он по ГОСТу в городе не прошел: не влезает в казенные формы, в хлебозаказные ячейки переделывать надо, углы переваривать, а народ требует только этого хлеба. Машины на Граевском тракте так и подгадывают остановку. “Одобряю”, – сказал после ГОСТа Сын Меркулу Игнатьичу и повез хлеб в столицу, на пробу ребятам. Вся такая порода у них натурная, им бы все свое, поперек, руки на дело так и чешутся.

– Верно, Матерь? – глянул в глаза Ей Меркул Игнатьич.

– Верно, Сынок, верно, – скривилась Матерь, и пурпурово-серый венчик перед ней опять закачался, поплыл.

– Ты вот что, идем-ка ко мне ночевать, – взял Меркул Игнатьич Ее за рукав. – Чего тебе тут в настылом? Идем.

Вдвоем с Гришей выводили Ее за порог, и восковые цветы дрожали, кивали следом на проволоке, старой, уже изъязвленной ржой.

Не смыкая очей, лежала Она, а сон все не являлся. На кухне наигрывало радио, крепкий мужской голос пел русские песни. Как любил Сын эту вот песню. Тело ямщика замирало где-то от зимнего хлада, а в Ней изгибалось и млело все от переизбытка тепла. Весь день перелистывался перед Матерью, все слова людские, все лица. И завтрашний день горбатился перед Ней. Как придет Она на погост, как ляжет на горяч-камень, под которым отцы-деды – пращурь, так и не подняться, не сумеет подняться, некому будет подняться: ворон выклюет Ей очи, дожди выволохот белые косточки, отлетит в высокое небо душа. И в дне отходящем, в дне приходящем глаза Ее Сына как капли живые на тусклом воске венка...

С утра думала, как бы это собраться да посидеть за столом, помянуть согласно обычаю, Сына, как вот она прилетела, Поруня:

– Пойдем, Матьер, народ уж сволакивается.

Поруня с погодками успели облететь не то что Сарынь, а все Схлестки. Схлесткинцы сыпали, сыпали сначала к Поруниной избе, а потом, прикинув, сколько их, двинулись на взвершье, к дому с оцинкованной крышей. Шли близкие родичи и дальние сродники, горячие и холодные друзья-сотоварищи, кто знал Его с детства, и даже те, кто в Схлестках недавно. Шли разделить горе чужое – не забыть при этом свое, уважить Матьер – ублажить в себе человеческое, еще раз поставить в памяти Сына Ее и себя рядом с Ним, поглядеть друг на друга, на всех своих схлесткинских. Понимали особенно резко, что все ходят под луной, а косая кого хочешь сломит, даже Его вот нашла, лишь нащупала дорогу, незачем, кажется, было и помирать.

– Косит, стерва, – начинали суждение одни. – Никого не жалеет. Все желудочки да сердечники, все моторы, моторы.

– Время такое, моторное, – подкрепляли суждение другие.

Все несли в сумках с собой, кто что мог и имел: кусок окорока от освежеванного на днях поросенка, с десяток-другой яичек, варенных вкрутую и сырых, обломок пирога, банку соленых огурцов-помидоров; у мужчин бока топорщились от бутылок. Принесли из соседних дворов скамейки и стулья, сдвинули столы, все расставили, только сели-расселись, как, глядь, в дверь еще один во-от с такой бутылищей мутной.

– Куда родимец тебя? – замахали на него оглядливо. – Прешь, ровно как самосвал.

– Все свои, все свои, – метнулась Поруня к двери и увела опоздавшего вместе с его стеклянным баллоном на кухню.

“Все свои, все свои”... Персонажи, герои из книжек, из фильмов. Вон того учителя, без руки, Он взял в рассказ целиком, лишь фамилию чуть подправил; этой военно-лихолетней судьбе не позавидуешь. А вон ту, Любашу, и эту вон, Антонида Кирилловну, связал в одно, соединил несоединимое: та предана мужу, зато дети заброшены, а эта, залетка, всю жизнь по дворам, а ребяташки все как картиночки... Персонажи, характеры...

У двери сидит Гриша, Белый Лебедь. Только Поруня наклонилась с бутылкой к его стакану, а он стакан на ладонь и в стакан из своих арсеналов.

– Нельзя, Поруня, себя ломаю. Вот Ему зарок, знаешь, дал. – И показывает глазами на стенку, а на стене – Он, Материн Сын, ямка на подбородке. Вроде как пригрустнувши, вроде как из левого глаза

влага навькате; Федосовна постаралась, портрет из библиотеки принесла. “Думалось ли, Сынок, что по Тебе будем тризну править, вот так висеть будешь Ты у себя на поминках?” – сидит Матьерь недвижная, черная, в черной своей шалинке и смотрит прямо в глаза напротив, в глаза тем, кто справа, кто слева. Они не выдерживают тяжелого взгляда, угибаются в сторону. – Думалось ли, гадалось, Сынок, что от нас будет столько ниточек к людям, от людей столько ниточек к нам? У каждого в жизни всего своего хватает, а вот пришли подставить плечо, облегчить материнскую ношу... Персонажи Твои, земляки, люди как люди, как все...

– Спасибо, родные, – поднялась Матьерь, – что пришли помянуть мово Сына. Он не может, – повела она по портрету взглядом, губы дернулись, дрогнули плечи. – Он ничего уж... не может... сказать...

– Он сказал свое, – зашумел народ. – Он свое выразил. Помянул наши Схлестки на всю страну. Помянем и мы Его, добрые люди, Он того заслужил.

Кусок не лез в горло, потянулись руками к еде просто так, по привычке, потому что выпили по капочке, захрустеть надо, по приличию закусить. Но вот по столу расстелился шумок. Сколько голосов, сколько лиц – все свои, все родные, друзья Его схлесткинские. Среди общего гуда Матьерь чутко выбрала чей-то голос: “Чекан помер, ишь, как жалкует”. “Ить Сын же, – остановили тот голос сразу с обеих сторон. – Сын единственный”. И все для Матери утонуло в общем русле разделенного горя. “Памятник Ему хлопотать надо, памятник в Схлестках, – слышалось Ей отовсюду. – Пусть стоит принародно, Он того заслужил”. То в одном, то в другом конце стола стали вспыхивать разговоры о Нем, Ее Сыне. “Не переборчив в еде был, нет, – говорит Матьерь вправо от себя, к Ней прислушиваются. – Беляши не сильно любил – больно жирные. Любил пирог из тертой картошечки с луком, вот любил! Бывало, приедет из Москвы, тут же: мама, мне любимые... Манты любил – не жирные, из говьяжьего мяса. Только делала малыми порциями, у него же желудок... Он желудок на флоте себе посадил. Плавали-плавали, а до берега все далеко, а море все бушует да бушует. А у него аппарат этот, всем управляющий, ну, как у космонавта, плохо работает, никак не привыкнет, – ну с души, ну болеть. А у них там где-то бочка стояла с селедкой. Съешь селедку – полегше, съешь другую – еще легче. Так соль желудок и съела, язва исделалась. Уж я Ему всякую рецептуру: и меду, и масла, и барсучьего жиру. Только мед особый надо, из первоцвета. Все прилагала, чтобы залечить. Время трудное было, где масла достать? Доставала... Желудком болел, а от сердца сгиб...”

Катится, катится разговор, с еды переходит уже на другое, на третье и четвертое.

– Боцман Его первым заметил, – говорит Матьер тем, что по левую руку. – Прибыли на корабле своем куда надо. Остановились где надо, дали концерт. Боцман похвалил Сына: “Молодец! Учиться вам надо по этой линии. Способности есть – дело пойдет”... И пошло, покатило, вот дошло до чего... Все писал из больницы: как ты, мама, советуешь – может, съездить на курорт подлечиться? Подлечись, говорю, подлечись, милый. Только вышел из больницы, еще шаткий-валкий, а тут Ему один режиссер: иди, снимись в моем фильме, в главной роли только тебя вижу. А потом к тебе всем табором, снимем твой фильм. А у Него, Сына-то, была давняя думка запустить свой главный фильм про героя из героев – про Степана Тимофеича. Группу надо всю собирать – актеров, операторов, осветителей, а все лучшие нарасхват, а тут и собирать не надо, готовая группа... Вот и согласился Сыночек мой миленький, мой жалконький, да зачем же Ты согласил-си-и-и да покинул всех нас, обездолил Матьер свою, детишек своих осироти-и-ил?..

Успокоившись, Матьер сидит ровно-прямо, боится сорваться, пустить себя под откос: что же тогда за столом-то станется, расстроится весь разговор о Сыне, обо всей Его и своей жизни здесь, в Схлестках, среди земляков. Сидит и Сама корить никого не пытается, только слушает тех, что справа и слева, прямо против Нее.

Едят полегонечку, полегонечку выпивают. Поруня с погодками-подружками носят вдоль стола миски с дымящейся цельной картошкой, то у этого, то у другого останавливаются за спиной. Разговор гудит заведенно, как в пчелином улье. Лишь время от времени прорезаются голоса, чтобы тут же затонуть в общем рое-гудении.

– Больше всего при прежнем режиме тут у нас боялись “железки”, – выделяет Матьер голос самого старого человека в Схлестках – деда Прокопия. – Придет “железка”, говорили, появятся жулики, другая жисть грянет. Мужики приходили сюда издалече, с малоземелья, приходили на разведку, землю смотреть. Идут-идут ровной, как ска-терть, степью, пока не наткнутся на Крутунь-реку да на горы. Поднесут обществу пару ведерок очищенной – бери, говорят им, земли, сколько хошь, поселяйся. Ну, с этими ясно – свои мужики, на телегах, а вот жулики поездами...

– А вот, помнится, мы с Ним, – кивнул на портрет Сына дружок Его, с кем вместе в классе учились, Александр Стародубцев, – в первый раз в город попали. Город большой, людей много, и все куда-то

бегом, всем некогда, друг дружку, выходит, не знают. Пришли на базар, стоим глядим, интересно: сколько честных, а сколько жуликов? А потом идем по наплавному мосту, а мост провисает, да качается, да скрипит. А Он топнул вот так ногой, уставился в пожарную каланчу и говорит: “Вот кем буду – пожарником!” – “Да зачем тебе?” – “Как зачем? На каланче стоять, весь город видеть, каждого различать, а жуликов из пожарной кишки поливать”.

– Так и сказал – из кишки? – интересуется дед Прокопий и трясет седой бородашкой, смеется.

– Так и сказал.

– Мог сказать, этот с детства был пряткий, за словом в карман не полезет.

“Всю жизнь к городу привыкал, – глядит на портрет Сына с напряжением Матерь. – Сколько надо всего согнать с себя деревенским, чтобы зацепиться. Все приглядывался, сколько в городе Азии, как звучит в нем Европа. В городе, говорил, есть музеи, концертные залы, театры, а у нас в Схлестках свое есть, и все это должно идти на сближение, навстречу друг другу...”

– А мы с Ним еще пацанами пошли по малину на остров, – из угла подает робко голос Паша Калачиков, другой закадычный с детства дружок Сына, но его услышали все и затихли, – а вальдшнеп хор-хор-перехорх из-под ног и туда-сюда над травой, низко-низко. А Он тогда и скажи такое, что только сейчас понимать начинаю: на всех крышах по Образцовке торчат, вырезаны петухи, а на одной Илья Муромец поднял руку, глядит вперед – это искусство. Богатырь дорогу ломит...

“Сколько люди помнят о Тебе, – умягчается сердце Матери. – А я все не могу войти в память, совсем стала плохая... Да вот еще письмо Твое. Заботушки у Тебя хватало, а помнил, Сынок, и о Матери. Вот оно, строчка в строчку:

“Мама, родная ты наша! Здравствуй! Писала, что собираешься проситься из больницы домой. Мамочка, надо бы полежать. У меня дома все хорошо, работаю. Болит душа только, что ты нездорова. Скоро уж начну работу над “Степаном”. Выздоровливай, родная. Господи, дай тебе здоровья!!! Спроси врачей, может, чего-нибудь нужно, какое-нибудь лекарство, спроси”.

За столом снова тихо. Только и слышно, как вилки скребут по тарелкам да ветер залетает в фортку с Крутунь-реки. Поднимается с рюмкой Федосовна – темно-руса, мягка лицом, волосы гладко зачесаны.

– Много читано о Нем, перечитано, – начинает она замедленно, с затрудненным дыханием, преодолевая себя. – Говорили иные. Он, как крапива жгучая, нелегкий в общении был человек, редко кому открывался. Да ведь берег себя для дела – для бумаги и ленты. И талант Его чист, как наши реки в истоках. И выносил все свое на суд людей, не страшась суждений. И болело за все Его сердце, изболелось вконец... Город принял, поднял Его, в городе Он остался, лежит... Сколько работал в архивах, с документами, все готовился к главному фильму о Степане... Мы гордимся им, мы... – Голос у Федосовны сорвался, она махнула рукой, присела.

– Все просил меня вспомнить ту песню, – скривилась Мать. – Какую песню, Поруня? Ту, что записывал вас тогда на магнитофон.

*...скрывался месяц в облаках.
На ту зеленую могилку
Пришла казачка во слеза-ах, –*

ахнув, завершила Поруня. И вдруг потянулась всем своим сухоньким тельцем, качнула птичьей головкой да провела длинным взглядом по бабам-подружкам, начала одиноко, как звенит березка-сухостволица, что осталась стоять одиночкой над обрывом, над речкой Федуловкой:

*Зачем калинушка
Увяла горьки-я-я?*

Подружки ойкнули, оттолкнулись от далека далекого, где Крутунь-река где-то в самых горах начинается, помогли Поруне:

*Зачем головушка
Поникла гордыя-я?*

Сошлись и вздохнули, ударили все разом, все, кто был за столом:

*Зачем скрутила так
Нас боль-кручинушка?*

Мать глотнула воздушку, тут же закаменела, сидела тихо: новая песня, в первый раз слышима, откуда Ей знать ее, а словам уже почти год, поются бабами в Схлестках на мотив той же песни, которую Поруня с подружками напевали Ему на пленку.

*Зачем сломалась ты,
Моя калинушка?*

“Не уберег, Сынок, себя, сгинул, – чуя, как жутко забирают ввысь голоса, шевелит Мать выветренными губами. – Зачем я живу, а Тебеюшки, миленький, нет?” – всматривалась Она в Сыновний портрет,

если б не люди. упала бы головой на стол и сердце бы разлетелось в куски, на осколки, на тысячи брызг. “Не жалеи, не убивайся так, не рыдай меня, мати, – шевелятся ответно Ей губы. – “Милая моя мама! Не беспокойся, пожалуйста, у меня ничего особенного, лег в больницу в связи с обострением язвы. Решил подремонтироваться, так как впереди огромная работа (три фильма о казаке Степане – года на четыре работы). Запрягусь, некогда полежать будет. А так все ничего, пока несет. Скоро обязательно приеду, сам измучился, сил нет, и вас измучил своими обещаниями приехать. После этой большой картины подумываю с кино связываться пореже, а лучше писать и жить дома. Не совсем, но подолгу, по году так... Тянуть эти три воза мне уже как-то не под силу становится. Мечтаю жить и работать с удовольствием на своей родине... Сплю и вижу, как мы, родная, с тобой вместе...”

Какие-то таинственные, неизъяснимые силы вдруг прорезали Матерь. Она услышала в себе голоса всех когда-либо живших в роду их – отцов, дедов, пращуров до седых, нескончаемых веков, голоса живущих ныне, сидящих сейчас за этим столом – и, обзрив всех, ясно увидела, осознала, что все они родичи, все из единого корня, только ветки, как у яблони, разветвились, древо сделали кустоватым, а так они вместе все, единый народ. И Она впервые, как бы на месте Сына, задумалась о судьбе здесь сидящих, о землетрясениях, мировых потрясениях, об их всеобщей слитности, и люди поняли Матерь, плечами сдвинулись, пронзились едиными мыслями, а чувствами воедино сплелись. Горе кого не сдружает?.. Слова, как пчелы, роятся в Ней, сливаются в сказы, из сказов выплывает на стрежень Он, Ее Сын, и вопрошает, нахмурясь: “Где вы все, братцы, сколько тут со мной вас, казаков? Остальные где? Изредили дедовские свои села Красношкино, Суртайку, Верталицы, Образцовку?” И, сбросив златом шитый кафтан в волну, берет острую шашку, рубит ею со плеча: “А ну за мной с Волги, на землю отцов, пока всех нас не поглотила волна, не дадим себе изничтожиться в битвах, раствориться во времени не дадим!” “Сынок, Сын”, – тянет Матерь руки к Нему, и Ей страшно – слова непривычны, непривычна одежда Его, но ведь Сын же, Он дурного не скажет, ничего не сглазит, никого не обидит, болит сердцем за всех.

*Зачем головушка
Поникла гордая? –*

обмирает Поруня, и подружки ее обмирают, душу голосами вытягивают, так они гонки-высоки, так плачут по Сынам, что умирают раньше своих матерей. И вдруг бабы, взвизгнув, рассыпаются, как зеркало, вдребезги, осколки все разные, но об одном: вот ушел, вот уехал,

горький, из родных стенок, чтобы взвиться орлом, только слово нашлось, только молвить бы, а Он взял да и помер...

За окно Мать глянет – Он сажал ту сирень, приносил весной в дом охапками; переведет взгляд на дверь – ручку. Сам с Белым Лебедем приколачивал; смотрит в угол, не оторвется – сколько сживали при ясной луне рядком-ладком, сколько беседовали...

И вдруг вопленицы как обрезались, даже уши тишиной заложило, повели протяжно-скорбно, на последнем дыхании: ой да ты, баба житная-пожитная, радостью питанная, горестью битая, Мать-всематерь Ты наша людская, сколько всего приняла на себя, сколько всего вздымнула на плечушки, опустила на сердце себе, удовольствовала всех своим Сыном, да старый ворон не каркнет даром: либо было что, либо будет, вот и закуржавились тучи черные, пональнуло снегу под полозья, порасщелило душу Твою Материнскую, ознобило и нас, твоих подружек. Ой да плачем-рыдаем мы, товарка наша, вместе с Тобоюшкой; смертушка смертная грянула, ой не мост она – не объедешь, хоть под кем колесо подломится, хоть кого выберет, приберет. Ой да всплакни, пролейся, туча черная, снеговым дождем, горячими реками, облегчись слезьми, укрядись, стой стоймя, верно-правда, не дряблая болотная сосна какая-нибудь – Мать наша, Всематерь Ты наша людская, че-ло-веческая...

При последних словах щека у Матери ушла в сторону. Мать посилилась что-то сказать, но за окном резанула молния, забусил в стекла дождишко, и уж тут же грянуло жемчугом. Известное дело – Сибирь, перед Ней все жемчужится, тает, тучи сходят, и душе пролетно, завивает глаза белый, густой дым, а в дыму, как в тумане, Крутунь-река:
– Выплывите, выплывите, выплывите меня, люди!..

* * *

Мать шла вдоль Крутуни, слабая после только что перенесенного. Ей хотелось пройти по всем этим близким Сыну местам, взойти на погост, где лежат отцы-матери, и обрушить всю себя на горяч-камень Алатырь, под которым одна-единая наша праматерь – земля, а уж она, бесконечная, за тыщи верст донесет туда, до большого сиятельного города, где лежит Сын, все Ее материнское. Только бы добраться до горяч-камня, только бы облегнуться, припасть, утопить душу в неодолимой тверди! “Сын мой, Сын, – шелестят Ее ссохшиеся губы, – я пришла к Тебе, видишь; слышишь ли, как угнездилась в сердце Матери боль, никакой бальзам не одолевает”.

Она проходит Сарыню, улицей Побережной, у ворот на деревянных катках черные, просмоленные лодки, между дворами кое-где

узкие проходы к реке. У заборов калитки и лавочки, над крышами асбестовые и кирпичные трубы, из которых утрами, Она знает, исторгается в небо горьковато-приторный угольный запах, а вечерами по заборам, как вот здесь, в уголочке, кем-то пишутся разговоры. Мелом, в столбик вот так: “Вера + Вася = любовь”, “Я вчера сидела на лавочке, а ты не пришел”, “Ты себя раз в году любишь и Петьку П.”, “Вася, я тебя одного знаю, буду знать всю свою жизнь”, “Приходи на камушки, будем любиться”, “Дураки, в омут не упадите”.

Вот и Поповский остров, между ним и берегом неглубокая, дно видать, протока Слезница. Когда-то здесь выгибался мостик, по которому на гулянье переходили на остров схлесткинцы, теперь все переходят Слезницу вброд. Сын убегал туда на рыбалку и так просто с книжкой за поясом.

Поповский остров как парк для Схлесток, по самому краю – стежка, по стежке – высоченная мята, крапива жгучая, тысячелистник – и все могуче, листовенно, вода везде, влаги хватает. И топольки по поляне, рябина горькая, тополя в пять обхватов, из одного корня сразу два ствола – один помоложе, уже догоняет брата, у обоих один берег, одна нанесенная Крутунью почва, вершины обоих братьев, сомкнувшись, теряются где-то у звезд.

За зеленой зарослью Матерь слышит другую протоку – длинней, многоводней. Ишь, как разговорилась, перепадая, катает на перекате цветную гальку – переливчато-женский голос: бьется на перекате о камни голос пониже, крупнее, сипловато-мужской, часть воды уходит в затон, затихает, часть идет в основное русло, на тяжелые, обомшелые скалы-осколы, и граниты гудят, и все звуки, сливаясь, создают этот говор, немолчную, привычную, сызмала родимую песню Крутунь-реки. Стоит в ушах, налагается на эту песню другая – Порунина, голоса всех подружек, слышанные только что там, на поминках; налагаются звуки другие, живо все кругом, все живет: топор тюк-тюк-тюк – где-то строят, раскричалась курица – яйцо снесла и всем о том, всему миру вешает, прострочили по стежке мопеды, а на них мальчишки. И весь берег в ключах, и ключи в синей глине, Крутунь-река сине-белая здесь, ледяная, как несет, как крутит все аж до того дальнего дымковатого берега, на котором березки со спички. Он въезжал сюда на лошади с бочкой, черпал с краешка воду, вместе с ведром Крутунь стремилась вырвать плечо; здесь ловил чебачишек, а поймал налима, обежал пол-Сарыни, оделяя кусками дворы. С большой водой вниз теперь скатываются чебачишко, пескарь, голянь...

Матерь наклонилась, ковырнула из синей глины красноватую гальку – с кулак, надтреснутую, в кровеносных прожилках – и посторонилась:

прямо на Нее пер по стежке парень в кримпленовом новом костюме, пиджак через плечо. одна штанина закатана выше другой, русский и круглолицый, еще не обстуканный жизнью... Как несет река в этом месте! Недавно стал тонуть мальчик, только недавно паспорт вручили, за ним кинулась девушка, за девушкой еще мальчик, и все трое... На том, низком берегу мигают сюда огоньки. Он, бывало, кричал, призывая лодку отсюда, к тому берегу. Сколько случаев, сколько в жизни всего, а Сына нет...

Мать прошла Поповский остров, поднялась к Плоскуну, где на полгоре, среди пышнотравья, выделялся обсадкой их старинный общесельский погост. Как поселенцы-сарынцы положили первого почившего, так с тех пор и предают всех здесь земле.

Ноги сами несли сюда Мать. И чем ближе к вечной обители, тем в груди стучало сильнее, слабели колени, душу схватывало, как будто и в самом деле вот-вот увидит могилку Его тут где-нибудь в лебедь или жгучей крапиве, дорогую могилку.

Она представилась Ей так живо, во всех своих мельчайших подробностях: глазами на восход, с березкой у изголовья, где-то поблизости от того острого горяч-камня Алатыря, который с незапамятных времен лежит, чернеет в центре погоста и на который Она, дай доберется, как обрушит себя, так и не встанет, не захочет подняться, дожди вымоют ее белые косточки, солнце высушит те дожди, отлетит в высокое небо душа... Она обернулась и с полгоры внизу увидела Схлестки и город в дымке за Крутунью-рекой, и всю Россию до ее нескончания, — с востока по западный край, и сердце Матери опять подтолкнуло это самое прошлое. Вот оно, то Его последнее письмо, пришло как раз перед нехорошей такой телеграммой. Писано красными чернилами, вот:

“Мама, родненькая моя!

Я жив-здоров, все в порядке. Вот увидишь в картине, на лицо даже поправился. Все хорошо, родная. Мама если с бальзама тебя слегка расшибает, что прислал тебе от сердца, он на четырнадцать травах, то попей на ночь, попить его надо подольше. Вреда никакого... Дай бог тебе здоровья! За меня не беспокойся, я серьезно говорю, что хорошо себя чувствую. Ну, обнимаю тебя”.

Сжавшись вся, Она прошла через липы и вошла в полумрак. Грачи на липах завозились и гаркнули. Она вздрогнула, и слова во всем этом красном, которыми только что наполнилось все в Ней, отлетели, очистили память, чтобы освободившееся место тут же заняло

другое: лицо мужа встало неожиданно перед Ней. Как и Сын, мало пожил, ушел рано; как и Сын, тоже лежит не здесь. Другие, пока молодые, себе жизнь устраивали, а Она отдала себя Ему, Сыну, воспоминаниям, недаром говорят: отдавай детям то, что ты хочешь от них получить. Оба ушли не поживши, почему же иные живут и живут, заживаются, год от году только кондовеют, крепнут, а другие не разбойники ведь какие-нибудь, не супостаты, нужные люди, а уходят? Если бы пожили, задержались, разве бы жизнь от того ущемилась, жижее стала, окривела бы правда? Почему же так часто уходят самые лучшие – совесть каждого, наша общая совесть?

Скорее открываются у таких, что ли, раны, за всех болят, за то, что свершается рядом и дальше-дальше, по всей земле-матушке.

Вот здесь лежат отошедшие – при жизни врозь, а могилками близко, при жизни близко, а могилками врозь. Но если всех нас держит по эту сторону что-то одно, то и всех увело по ту сторону тоже одно... Как тихо, какая стоит тишина. Вечная. Все свои вопли-крики, суету-дела оставили они за чертой, ничего туда не взяли с собой. Первый шаг ребенка – от матери к людям, шаг последний – сюда, а между ними – вся жизнь. Сколько стоит поднять человека, сколько сил и седин, а сюда – одним шагом... Здесь лежат, как жили-дружили, как мирились и ссорились, перепутаны только годами, все равно по слоям. Жизнь кладем за завтрашний день, а на кладбище все как вчера: церковка, камни, кресты, кое-где железные звездочки, словно капельки крови...

Вопль Порунин сверлил душу, перекрывался многоголосым хором Крутунь-реки, едва тлелся меж ними Его, Сына, голос. Мать огляделась, словно чужая здесь, потом вся подобралась, укрепилась внутренне, двинулась узкой стезей меж оградок к центру погоста. Или взрывом в уши ударило – строят тракт, уширяют дорогу в горы, торный Граевский тракт, или громом с неба рвануло, плещут сухими саблями молнии. Только глянула Она с полугоры Плоскуна, а тут все как было, все навечно: долина, река, вдали Богдырхан, облитая золотом гора, ниже куржавятся тучи, как бы ни низали молнии, ни гремели раскаты, пересилит их солнце, если хочет того Богдырхан. Так все быстротечно, особенно эти сухие ярко-белые сабли над головой; из сабель этих, говорил Сын, собирается энергия всех живущих, а уж ею движется жизнь.

С подножия Богдырхана сваливались тучи, засвежело, видно, пролился дождь.

Мать отвлекала себя на посторонние мысли, а голос Порунин стоял у горла, сжимал грудь, не давал продыхнуть. Идти вперед было страшно: на погосте, где лежит Ее мать, было что-то не так. Сын жил,

так об этом даже не думалось, и вот Его нет, и Он мог бы лежать вот здесь и вот здесь, где отцов отец, дедов дед. Он и лежит тут. Она это знает, дай придет, обовьет телом горюч-камень и под камнем услышит Его.

Серомраморный столб крестом, на кресте вязью церковной: “Здесь покоится прах преподобной схимонахини Асенефы. Мир вам, честные люди”. С гранитной плиты, из обвислой травы мрачно зато глянуло: “Мы лежим, а вы живете, мы вас ждем, и вы придете”. “Придем-придем, батюшка”, – вздохнула Матьер и свернула в боковую аллею, на молодое кладбище. Ей хотелось проведать годков-сверстников Сына, кого прибрало перед Ним в последние годы. Уже и таких немало, не дожили своего. С коими вместе Сам гонял лошадей в ночное, читывал книжки. С коими сиживал на лавочках по Побережной, а потом уходил на камушки у обрыва, к Плоскуну-столу. С коими, это когда уже приезжал из института, засиживался до рассвета, читал, повторяя свое, размахивал руками до крика, все допытывался: ну, как прохватило? И вот теперь иные уж тут... Все мы в ту сторону смотрим и видим там всех, какие были до нас. Уходят каждый раз и не знают, кто и что будет за ними, можно только предчувствовать, кто и что будет уже после нас...

Матьер остановилась: из-за крапивы с фотографии на Нее смотрело знакомое лицо, подошла поближе – челка на лоб, это Вася Куксин. Одногодок Сыну или капельку позже явился на свет. Учился в своем институте, поехал с отрядом где-то комплексы строить, командиром был, на кедр полез перед всеми за авторитетом, а веточка и подломись...

Матьер двинулась дальше. Грачи граяли в спину, забивали уши, Она снова начала слышать сердце свое. Матьер сунула левой рукой прядь под шалинку, придержала грудь правой. И снова сбоку, за низкой оградкой, качнулась крапива – жгучая, длинношеяя, полыхнула зеленым под алую ветку рябины. И такой привычный, почти родной взгляд – Леонтий Попов... “Любимому сыночку, ушедшему без времени...” Матьер не могла стоять, двинулась дальше. Этот и вовсе свой: вместе с Белым Лебедем появлялись в их доме. Сын с ним спорил, но, видела Матьер, Сын его любит и спорит не потому, что хочет поссориться, а как бы с самим собой разговаривает, проверяет себя, укрепляет себя, прежде чем пойти на какое-то новое дело. “Вели съемки в селе под Владимиром, – рассказывал Сын. – Зашли с другом в клуб, а билеты не продают. Дай, говорят, с десяток хоть наберется. Друг на меня: “А ведь это автор кино”. “Что же вы раньше-то не сказали, вскинулся киномеханик, – я бы паблисити дал, объявленьице выкинул”. “Значит, не дошел еще до народа, не знают, – возражал

Сыну Леонтий”. “Не дошел, вздыхал Сын. Так уж вышло к сорока годам. Ни городской еще, ни уже деревенский. Хреновое положение. Одна нога тут, другая там. Плюсы-флюсы... И мысли приходят разные. Не только о деревне, о городе – о России. Сколько радости недополучили люди из-за того, что не готовы еще понимать некрикливое, серьезное искусство. Грустно только, что за этим “разумным и вечным” надо уходить с земли отцов и дедов”. “А ты помоги им, – стоял на своем Леонтий. – Ты дай возможность им разобраться, дай образцы...” Говорят, и в городе, на автостанции, Леонтий стоял вот так же упрямо против троих с ножом, когда те подошли к женщине и все убежали... Леонтий, Леонтий, друг-товариш Сына...

Изволоком, разбито как-то двигалась Мать к центру погоста, а за Ней – оглянуться боялась. даже зябко спине – кто-то словно бы по пятам, по пятам шел. Все эти могилки, утешая спокойствием, влиялись в Нее бальзамом и расшибали своим утешением. В ушах жили всякие звуки – от звона кузнечиков до громов на Богдырхане и одиночного голоса Поруни там внизу, в Схлестках. Да вот же, вот совсем свеженький холмик, заброшенный венками, еще не успели выцвести ленты: “Майору Рябцеву от сослуживцев части”, “...от схлесткинцев-односельчан”, “...от схлесткинских школьников”. Его останки привезли, писала Федосовна, на вертолете, прилетели солдаты и офицеры, давали салют. Сын его особо не знал, тот служил далеко, возле самой границы, наезжал нечасто – некогда. Это не из тех Рябцевых, что управляющим здесь в отделении, а тот Рябцев, у которого мать, как и Она, век провдовствовала, умерла года три назад. Да вот же лежит и сама... Ах ты, боже ты мой, сын – герой, а мать не поплакала даже, прежде сына ушла...

Мать взялась рукой за березу, губы подпрыгнули, глаза наполнились влагой, и вдруг ноги сами собой сделали шаг, и Она, как подкошенная, рухнула на венки, обхватила их руками.

– Ах ты, миленька-ай ты мо-ой, – заголосила, запричитала Она, – ох ты, бедненький, родимый ты мо-о-о-ой, да и в мирные-то денечки положил ты за нас за всех жизнь свою молодую, да и некому по тебе пролить слезы горькие, выплакаться некому, миленька-ай, по тебе! Крылышки у соколика примахались, денечки золотые отсчитались...

Венок впивался в щеку чем-то острым, а Она в полупамяти забиралась руками в венки, добиралась, докапывалась и наконец добралась до земли сырой, заскребла ее пальцами до боли и все нажимала на твердое пальцами: ей была нужна сейчас эта боль. Рядом гаркнула

птица-ворон, Матерь и не повела головой: ворон взмыл с обломком пирога – приносили на поминки – и как провалился. И тогда уж яснее ясного прочертился в Матери голос Поруни, и хором подружки-сверстницы совсем близко тут, за погостом, так и ведут за Ней плачем своим:

...скрывался месяц молодой.

На ту зеленую могилку

Пришла казачка во слеза-ах...

– А-ах, – Матерь приподнялась, оперлась на коленки и встала. Перед глазами высилась стена, пелена серела перед глазами, и Матерь двинулась в пелене, как во сне. Слева должен быть выступ железной ограды, справа – тополь шершавый, за топодем – камень. Горюч-камень. Валун-вековик Алатырь. Сейчас он покажется из-за той вон ограды, такой, каким Она его знала всегда. Не полы черной одежды – вороновы крылья вознесут Ее ввысь, и грянется Она оттуда, и все в Ней зачерствеет, Она сама станет камнем и им останется здесь навсегда. Куда Ей отсюда, тут старой самое место; лишь бы Его дети, внучки бы жили. Жили бы, жили бы внуки...

Она толкнулась грудью о камень, припала к нему, облегла. Еще заостреннее он стал с той поры, как схоронила Она отца: каменюку шербит-выщербляет людскими слезьми. Ущелья-протоки, протоки-бороздки, о каждую думой обрежешься... Где-то грохнуло – прокатилось вершинами эхо, снова грохнуло... Это мирные взрывы – уширяют дорогу, горный Граевский тракт... Этот камень был просто камень – не обдут ветрами, не промыт дождем, тогда ослепительный, как только что выпавший снег. Но угораздило ему тут оказаться, где скрестились пути-дороги, где людские потоки, бросаясь с востока на запад и с запада на восток, здесь безлюдели в исторических сечах. Тут же после разводили костры у камня, укрывались за камнем от ветра. Но совсем не от дыма почернел он – обхвачан, оглажен грудьми материнскими, укрыт чернью-скорбью по пропавшим зазря сыновьям, и там, где черкнуло о камень острое сердце, остался рваный след, камень белый, сахаристый, как снег.

Облегла Матерь горюч-камень, распласталась, никак не войдет в память, что у Нее под одной рукой, что под другой. А под правой рукой у Нее – рваная борозда еще от степного кочевья, от булатной кольчуги скорбящей хранительницы очага, родившей того самого воина-русича, какой был первым зарыт здесь, на этом погосте. Прямо перед глазами у Матери тонкий, длинный росчерк по камню – от латунной пуговицы с царским орлом, от студенческой куртки на плечах

старенькой донюшки – вот и все, что осталось от Сына. А под левой рукой у Матери обломан краешек да затерт до блеска и Ее одеждой – черной шерстью с лавсаном. Холодит руки камень, в грудь толкается: то растет из земли, поднимает Ее над погостом, то швыряет, как в могилу, а сам опадает. Так и дышит ритмически, с сердцем так и живет: вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз, до отказа.

Сколько связано с ним, с этим камнем, и подумать страшно, сколько раз пытались его изничтожить. В рваную борозду наливали водицы – не расколело морозом. Окольцовывали костром, поливали из проруби – не рвануло. Уже после гражданской подложили бандиты под него фугас, отрубили на камне голову сельсоветскому председателю Феоктистову. Кровь его все смывали, а она не смывалась, попытались камень взорвать, да отбилось от него всего ничего, лишь исподнизу, а щербину затянуло упрелой травой. И лежит, вобрав в себя слезы и кровь, тот плакучий камень, камень всех матерей.

*...на ту зеленую могилку
Пришла казачка во слеза-а-ах...*

Порунин голос да хор подружек Поруниных, которых Сын записывал в свой последний приезд, не сходили с памяти, держались где-то там, по-за кладбищем вместе, то набирая силы, то изнемогая вовсе, в такт приливам-отливам сердца. Перед глазами Матери перемелькали могилки, – летчик Рябцев с лицом Сына возник вдруг, стоял перед Ней и клонился долу, клонился...

– Миленькаи, жалкинькаи вы мои-и-и, – упала Матьер на камень так, что порезала щеку, со щеки на горяч-камень капнула алая капля. – Ой да кто же вас пожалеет, кто вспомянет вас, ой да душенька моя горемычная, мои родненькие, исстрадалась-изнемоглась...

– Не плачь, не убивайся так, Матьер! – сомкнул летчик суровые брови.

– Ой да не колышутся дыханием травы буйные, – замкнула Она камень руками. – Ой да не текут краснолесьем пышные облака, солнышко ясное не сияет, бурями разрывает... Облечу все места, обкукую кукушечкой... Ой да что же мы мать свою, деревню родную, спкидаем-спокинули, все в свет ломимся, отлетаем с калины-рябины по Крутуну кондовыми листьями! Эх, да кабы не совестливыми, простоватее были, легче себя бы несли. А за все надо платить, за все и платим по самой дорогой мерке: инфарктами, сосудами, всякой чернью в организме. Разошлось-разъехалось все, и не в стык тело с

духом, и в конце горюч-камень. Раньше семьи были как скалы многоступенчатые: деды прививали и правили, все в жмене были, все свою линию знали и помнили. А теперь оборвался листок, помотался по белу светушку, от роши березовой отлетел и до пахотного не долетел, лежит где-нибудь на асфальте, по которому ходят. Вот и в Схлестках наших сколько дел, сколько неперedefланного, а люди все уезжают, бросают отцовское... Раскидало по миру, засуетило. Звери лютые, волки алчные скоро будут дорогами править, не давать проходу. А потомочко опять на сырой корень да за плуг, да все сызнава?.. Я ведь знаю, сынки, ушли вы попытать себя, разве вас надержишься? Не с одного цветка пчела мед берет. А как мед наядренеет, так чего не задуматься? Вот сыновья из дому и глядят. Жизнь текуча да вся-то на ваших костях: заводы строите, книжки пишете, в небе летаете, бьетесь-сражаетесь за лучшую долю; дай за вас покричу, поплачу, чтобы камень этот пересигнули. Ой, да наперед знати бы – заслонила бы каждого от ветра знобкого, глаза глазливого, слова торопкого. Ой, да наперед видети бы – пособила бы каждому молодому, ретивому всем своим материнским. Ой, да наперед слышати бы – отвела бы рукой от каждого стрелу ядовитую, смертную...

Кто-то кашлянул совсем близко. Матерь оторвала голову от горюч-камня: прошли двое, старичок со старушечкой, оба в черном, подпирая друг друга, на Нее и не глянули. Незнакомые чьи-то, но коли здесь, то свои. Пристучала копытцами с косуленком косуля: снизу, видать, от березовой роши, с Федуловки; поглядели на Матерь топким взглядом и ушли, полынок не качнулся. И тут совсем явственно, морозко как-то, повис в редком воздухе голос не то с автобуса, с тракта, не то Сына Ее – сыночка: “Где ты-ы-ы?..”

– Зовет к себе, – колыхнулась Матерь на камне. – Пока молодые, все мечутся, больно много надо всего, за деньги себя не жалеют, нет. А взнуздали бы себя, призадумались бы, и за ними ведь кто-то в затылок стоит, и они кому-то отцы... Ой да расколись ты, доска гробовая, да завейтесь вы, ветры буйные, да взлетите ввысь вы, соколики, да утишитесь вы, думы звончатые! Дева Зорянка, помоги!.. Молодая жена плачет до утренней росы, сестра – до золота кольца, а мать – до веку...

Запищал комарик над ухом, вот нудит, вот прилаживается, востер. Положил Матери кто-то руку на плечо – снял комарика, опустил на камень, повела Она головой: летчик не летчик, Сын не Сын, глаза тяжелы, провальны, щеками заросший, телом прогонист, значит, не день, не два идет по земле.

– По ком плачешь, Мать? – наклонился он. Она смотрит – уже не он, вроде тот старичок, что пришел сюда со старушкой. Поднялась Мать, стоит на коленках, а по голове чем-то долбит, как долотом, – впереди пелена, туман сизый. Пригляделась получше – опять тот шекастый, рубаха в синюю, цвета Крутуни, клеточку. И тут вспомнила, что Она уже старая, дальнзоркая – все очистилось перед Ней, далеко видать стала: город ближний и далекие города, хутора и деревни, и то самое место священное, где лежит сейчас Ее Сын.

– По поколению, – молвила Мать.

V

Мать проснулась рано и поняла, что сегодня что-то должно произойти. Если не произойдет, сердце, переполненное вчерашним, лопнет, а что человек без него, что без человека этот маленький, с кулак, беспокойный комок? Лежала и ждала, но ничего не происходило. В жизни, если подумать, не так уж часто что происходит. Все ждем, вот-вот что-то произойдет, а мы просто живем, хлеб-соль жуем, кабы не дырка во рту, и того бы меньше что-то происходило.

Поскребли ноготками в окно. Мать отволокнула занавесочку: кто бы это? Поруня. Чего тебе спозаранку, плетуха плетеная, душа неумная?

– И молчи, и молчи, Мать, – поставила глаза на нее Поруня, сама не может никак раздышаться. – Артисты прикатили, на “пазике”, проследовали в кинотеатр. Дружки твоего Сына, среди них, сама видела, тот Журавлев. Говорят, вечер памяти будут устраивать, кино, в каком Сын твой сымался в последний разочек, будут крутить...

“Ну вот и произошло”, – подумала Мать, но после того, что случилось год назад, все остальное для Нее было настолько мелким, что Она и мысли вначале не допустила отнести приезд артистов к событию, но извечное беспокойство натуры, привычка заботиться обо всех, кто бывал с Сыном дома у них, заставили Ее побыстрее собраться, выйти на улицу, двинуться к кинотеатру.

Вот и нет Его, Самого, а как бы рад был, как бы сразу метнулся домой, приволок бы всех к себе, не знал бы, где кого усадить! “А ну, мама, – засмеялся бы и ладонь о ладонь вот так жвык-жвык-жвык, ажник с ладони искры сухие, – испеки-ка любимых драников да поставь че-нить, промерзли ребята, с дороги”. Она бы кинулась на кухню, а они бы как засели в Его комнатке на диванчике, как положили бы руки друг другу на плечи, так бы, кажется, и проговорили впопряд три дня и три ночи, пока уж не надоумило кому-нибудь пойти подняться

на Плоскун-стол, проведать с высоты Схлестки... Журавлев тогда, говорят, себя клял, что такой несуразный: надо же ляпнуть Матери в Москве тогда, в аэропорту, про цинковый гроб! Как хрястнулась Она на чьи-то руки, словно литовкой подкошена, а он, говорят, аж затрясся весь, растерялся.

Она тогда привезла в подарок золовке новину – кусок льняного холста, ткала Сама еще в детстве, да кусок все лежал-вылеживался до случая в сундуке. Вот оно и случилось. Думала, сгодится кусок, гроб на холстах опускать, как испокон велось в Схлестках, а опустили на веревках, сырой глиной метнули по горсти, заколотили по крышке сразу во много лопат.

“Приехал, бедненький, исполнил завет. Все говорил: мол, приеду, вот тогда поглядишь. Дай чуток дела разгребу, помянем, согласно обычаю”, – подумала Матерь, потуже схватывая пальцами черную свою шалинку, и тут услышала впереди рев мотора: рычит, натужается, зверь. Подошла поближе, а это бульдозер, на бульдозере сродник Порунин под тополь подлаживается, бугры вокруг уже срезал, хочет и тополь смахнуть. Сердце у Матери так и заглодало: да ведь место не чужое – свой корень, дед еще по отцу доживал здесь под тополем в утлой избенке. Она, бывало, к нему прилетит, когда сердцу томко: весточки с фронта от Сына не получал? Может, тебе, старому, сообщает что-нибудь о себе в треугольном письме? Да нет, говорит, не присылал пока что. Она, бывало, ну кричать в трубу, звать хозяина на родную сторонушку. А Сынок, раз-раз-раз, уже на тополе, на самом верхке. Сколько так-то лазал, все глядел – углядывал отца с фронта, не догляделся...

– Слышь, кум? – подходит Матерь к перевесившемуся через дверцу бульдозера механизатору. – Тополь нельзя, заветный он, этот тополь.

– Велено все сровнять, – махнул впереди себя сродник Порунин. – Дом на двадцать квартир будут ставить.

– Дом-то ставьте, – поджала Матерь строгие губы, – а тополь не трожь. Смотри, какой царь... Сын мой, Сынок, отца с фронта отсюда смотрел...

– Ну, тада ясно-понятно, – прикрикнул из желтой кабинки Матери сродник. – Чай, не басурманы, не будем.

Встреча с бульдозером, то, что Она защитила тополь, успокоили Матерь, придали твердости, шаг сделался ровней, не вихлялись ноги, как только что, когда вышла от Меркула Игнатъича. Проходила мимо школы – экую под березы взгромадили, трехэтажная, из серого кирпича, углядела свежую бело-зеленую вывеску, прочитала по свежине еще одну, нижнюю строчку – имя Сына, и в душу лучик от солнца плеснул, дальше шла уже с этим лучиком.

У конторы сельхозпредприятия приостановилась: показатели, жаркие краски, не пожалели кубового железа. В здании когда-то располагался райисполком, сколько раз на Ее памяти привозили и увозили район, сколько раз меняли хозяйственную стратегию – то молочное направление, то овощеводческое. Мать придвинулась, прочитала на стенгазете аршинными буквами “За урожай”, и лучик в груди подпрыгнул, заколотился...

Из конторы как раз выходил управляющий отделением Рябцев – “фином” был, инспектором в райфинотделе когда-то. Вот кто помучил Ее, вот кто кровушки, было дело, попил.

– Здравствуй, Мать, – уперся в Нее управляющий мелкими глазками.

– Здравствуй, Аникей Митрофаныч, – качнулась в сторону Мать, чтобы пройти побыстрее своею дорогой обочь его.

– Что-то больно торопкая стала. Как же, вы теперь де-я-тели...

– Я всегда такая торопкая, вся в трудах да заботах. Кабы лодырем была, вам была бы без интересу.

– Упрекаешь? Да ведь дело делал, работа такая. Какие финансы после войны, разруха, а средства давай. Метро строить, возводить высотные зданья...

Так что ж, на моей иголке возводить, на моих “ришелье”? Обложил налогом, не продохнешь. Каждый вечер крадучись под окно, жилы вытянул, раньше срока состарил.

– Дак у меня, Мать, тоже какое здоровье? Так, фантазия одна, видимость лицезрения, морда, говорят, кирпича просит.

– Так мне, Аникей Митрофаныч, такая-то жизнь за что? За труды мои, за эти вот руки? Говорила вам, отрыгнутся кошке мышкены слезки?

– Кто тебе Сына помогал определить в вожатые, кто рекомендовал? Митрофаныч. Перебиться дал в самый трудный момент. Митрофаныч теперь редиска, нехорош теперь Митрофаныч. Возгордилась, Сына на ноги сама подняла. А Сына твою, между прочим, поднимали на ноги все, каждый руку к судьбе приложил.

– Ну ты свою, спасибо тебе, приложил, век будем помнить... Можно было бы по осознанию фактора: так-то и так-то, мол, прореха в бюджете, помогите по силе-возможности, а то сразу налогом да по всей строгости. У меня до сих пор все трясется, как тебя увижу, ажник шерсть на затылке дыбом, вот как ты меня ухондокал.

– Вас, таких, уговоришь! Все сознание забываете, как касается денег, дела общественного. Вас, таких, во держать надо как!

– Как же ты, Аникей, мог на такой работе людей не любить? А мне Сын еще мальчонкой все, бывало: “Не плачь, мам, не плачь, он дядька добрый. только неловкий, не умеет делать добро, все у него нескладно”. А тебя, выходит, чужое добро из себя выводило? Так, выходит?

– Да ладно тебе, прицепилась. Я к тебе с добром подошел, а ты меня сечь, да еще в такой день. Дружки твою Сына приехали, артисты, кино новое привезли, нигде, говорят, еще не показывали, на нас будут пробовать, как на собаках. В общем, сегодня в кинотеатре вечер памяти Сына твоего.

– Сказали уж, – обкрутила Матьерь покруче вокруг шеи шалинку да так в своей черной шалинке и двинула дальше, по Схлесткам, к кинотеатру “Крутунь”.

Только за поворот – тут нос к носу и столкнулась Она с Гришей, с Белым Лебедем.

– Слыхала? – спросил.

– Слыхала, – ответила.

– А этот что? – показал он уже в спину управляющему.

– Да, говорит, на комбайне этим летом ты больно уж намолотил. Теперь, говорит, не какой-нить... можно и на Доску клеить.

– Еще рано, – отмахнулся Белый Лебедь, – не нахожу в себе таких аргументов.

– Ну, ищи-ищи, – вздохнула Матьерь, тут и дошли они до кинотеатра. Глянули, а возле него автобус “пазик” стоит, люди крутятся. Объявленьице черным по красному, пишут: вечер памяти Сына... А Журавлева, друга Сынова, нет. “Где бы это быть ему?” – забеспокоилась Матьерь и вошла в прохладную глубину кинотеатра, в фойе. Со всех стенок на Нее глянули лица артистов, глаза, глаза. На самом виднушке, над дверьми, кто-то бил молотком, приколавывая портреты: Сын на портретах незнакомый такой – в гимнастерке и в каске, а кругом самолеты летают, танки движутся, земля горит, люди насмерть стоят. “Боже ж ты мой”, – замерла Матьерь, и тут же тот, кто прибывал все это, бросился с лестницы вниз к Ней, и Матьерь упала к нему на грудь. Щупает пальцами каждую выемку на плече, на спине, гладит каждую складочку, тянется на носочках, заглядывает в глаза ему – ну не Сын ведь, ну знает – не Сын, а как вроде свиданка короткая, огнемная вспышка.

– Сынок, – сами дергаются плечи Ее. – Сынок ми-ленька-ай, Сынок жал-конька-а-ай, да дай я тебя огляжу-разгляжу, да дай я печальную головушку приклоню к тебе, тоску-кручинушку разволоку...

– Видишь, я приехал, мам, как обещал. – весь в Нее взглядом он – такой же ясноокий, голубые глаза, как и у Сына, у того, бывало, правда, то ласковые, то колючие, как елки голубые, что у Меркула Игнатъича во дворе, перед окнами в палисаде.

– Ну вот и хорошо, что приехал, вот и ладнычко, что приехал, не забыл одинокую, стылу-у-ю-ю...

– Ну что вы, мама, что вы! Я буду, если позволите, к вам иногда приезжать.

– Приезжай, милоч, дорогой, приезжай. Не забывай никому не нужную, старую.

И вот уже со всех сторон Схлесток потянулся к кинотеатру народ. Шли впервые вот так в кино не для смеха, не для развлечения – помянуть земляка. Уж помянем, как следует, по-человечески, коли не предали тело тут, родимой земле. Шли кто в черном костюме, кто в косынке, кто с бессмертником в руке – последним, осенним, кто с букетом листьев багряной рябины. Шли, вытягиваясь, выходили на площадь перед кинотеатром с главной улицы, со всех боковых переулков. Вышли, собрались перед трибуной и удивились, как тесно стоят – локоть в локоть, друг к другу, сколько их еще в Схлестках, не развеялись по городам, еще вот они, здесь, – крепкие, упористые, широкой рабочей кости. И, прежде чем войти в хоромное строение, каждый подумал, что вот приехали к ним сюда люди ради памяти их земляка, ради них самих, люди эвон откуда, из-за тысячи верст, а ведь что они, ихние Схлестки, если глянуть с тысячеверстья, – так, какая-то крошка на карте страны, и все они на этой крошке как бы в доме одном, как семья единая, что ли, если глянуть на Схлестки миллионами глаз, всем народом, со всего этого тысячеверстья. И тогда схлесткинцы еще крепче сдвинулись, теснее прижались друг к другу да так, локоть в локоть, и вкачнулись на первый порожок, в парадную дверь.

В фойе на них, как всегда, глянула репродукция известной, еще дореволюционной картины: крестьянский хлопчик в лаптях, переросток, этакий Ломоносов, смотрит в дверь деревенской школенки, не решаясь войти. И тут все увидели Сына Матери, земляка, галерею фото из нового фильма. В воздухе стало тревожно, полыхнуло прошедшей войной...

Зал был хорош для Схлесток: мягкие кресла, стены обшиты рейками; прошлись олифой и закрепили лаком, оттого они солнечны, теплы. Такому залу позавидовал бы и город, трубы которого видать с Плоскуна, но теперь и там, возле химкомбината, приличный кинотеатр.

Схлесткинцы заходили и молча рассаживались, заполняя зал молча до самого дальнего ряда, старались не хлопать откидными сиденьями, но нет-нет да где-то срывалось, хлопало, и тогда многие с укоризной поворачивались на неловкого человека, нетерпеливее ожидая поднятия занавеса. Занавес был тяжелый – голубовато-серебряный бархат, в тон Крутунь-реке, гордость администрации, которая отпала за него когда-то несусветные денежки.

Все следили за занавесом и потому проморгали, когда на сцену, сразу из обеих боковушек, вышли участники вечера – постановщики, киноактеры, районное начальство – и расселись на невесть откуда взявшиеся стулья со столиками. Зал гудел в ожидании самого главного: когда Сама, Мать Сына, появится там, на сцене? Но тут получилась заминка, Мать искали за кулисами, с ног сбились, никак не могли найти, а в это время Она сидела в первом ряду и вместе со всеми волновалась, чего там они мешкают? Артист Журавлев заметил Ее и к ней туда ринулся прямо со сцены, проводил осторожненько за плечи, усадил за свой столик. И все началось.

Седой, пожилой человек рассказывал залу о Ее Сыне, слова были хорошие, справедливые, но какие-то не такие, слишком уж выкатанные, как голыши, не подцепишься, а потому не свои. Мать прикрыла веки и слушала о Сыне как не о Сыне, а о чужом человеке, который жил когда-то, творил для искусства, а теперь не живет, не творит. А для Нее Он жил... “Образ простого советского солдата, созданный им в кинофильме, войдет в нашу сокровищницу...” А Ей представлялось, как Сын Ее, почему-то в лаптях, просовывается сюда, в еще приходскую сельскую школу, вдвигается осторожненько в зал. Мать пошире открыла глаза, чтобы Его разглядеть, косилась на боковую дверь – никого. Чуда не бывает, оттуда не возвращаются. И вдруг занавесь ворохнулась, в боковой двери появился Гриша – Белый Лебедь, шатнулся, хватнул пустой воздух, едва не дернул наземь всю эту бархатную, выдавшую виды занавесь. Махнула ему: уходи, чего окологлазишь, давай на воздух, гляди как тут надышано. Сидела после, слушала, совсем забыла про молот, который уж с год как бил в Ней, будто по наковальне, готовый в один момент сокрушить Ее всю дотла, до изнеможения. Журавлев наклонялся к ней: “Ну, Вы, мам, чего-нибудь скажете?” “Чего я скажу, – угнула Она. – Ну, чего такого нового, все про все знают давно, вся жисть прошла у людей на виду”. “Да нет, надо сказать, обязательно”, – едва шепнул он Ей, как его вызвали говорить.

Говорил он ближе как-то, чем седой районный начальник в легковатом сером костюмчике. Мать даже повернулась к нему всем обликом, тревога, вошедшая в Нее, едва только Она увидела “пазик” и всех друзей-товарищей Сына по киношному делу, с каждым словом усиливалась, захватывала и Ее. Порыскала Она глазами по первому ряду, узрела лельку Сына – Меркула Игнатьевича – там, где и оставила, рядом с ним место пустое – Ее место, и Она стала тшить себя надеждой поскорее убраться отсюда, пересесть туда, к людям. Каково это – торчать здесь, как на нашесте, когда на тебя пялятся сразу столько-то глаз.

Что он делает с Ней, этот друг Ее Сына, артист Журавлев! Не словами – камнями огневыми, каленым чем-то швыряет в материнское сердце. Со вчерашнего приустало в груди, глуше сделалось, а теперь распалось, горит – просто невмочь. Как сошлись они с Сыном, были душа в душу там, на съемках этого Его последнего фильма. Сын любил те широкие степи, говорил: “С этих мест отцы мои, пращурь; бунтарями были. В четырнадцатом томе “Истории России” по Соловьеву о них есть местечко. Должны знать, какого мы роду-племени, откуда идем, чтобы видеть, куда нам идти...”

– Он мечтал о Степане Тимофеевиче, Он готовился. Для этого, говорил, натуры у нас, интеллекта хватает, а чего не хватит – подучимся... Жадный был, однако, до знаний, как утка ряску, хватал эти знания...

Мать слушает друга Сына, и плывет зал перед глазами. Так все вместе схлесткинцы, так все заодно! Что ни скажет он – вправо качнулись, что ни повторит – качнулись влево, вздохнет – прямо двинутись. Лишь в войну, помнит, было так же вот, когда враг к столице надвинулся, когда письма получали общие от мужей-сыновей да отдельные похоронки. Вот народ, вот глаза какие падучие, и впиваются, и жалкуют, аж глядеть в ответ топко!.. Сын рассказывал про институты: где же нам, деревенским, мама, за городскими угнаться? Там театры, музеи, миленные библиотеки, специальные школы – сколько всяческого! А чего не хватит, отцы-матери репетитора наймут. А наш брат на себя надейся, на природу свою отроду-отродинскую. Хорошо, что нас много было, шли косяком – выбирай, а теперь, когда перебрали деревню, как теперь?.. Вот и фокус придумал, надел Он, вроде как демобилизованный, гимнастерку и галифе, сдавал сразу в два института – на актера и на историка, в оба приняли. Все писал, спрашивал: на чем, мама, выбор сделать? – А что по душе, сынок, на том и останавливайся. Не остановился, эвон куда шагнул...

Матерь смотрит на Журавлева, слушает зал. Почему хоть так получается, на каком повороте люди расходятся в разные стороны? Ведь друзьями с детства Сын с Ожогиным. Сын рискованный был, всего, кажется, ожидать можно, а Ожогин в достатке рос, тихоня, все исподтишка... Сын приехал, едва на порог, как стук-стук: милиция, полковник и лейтенант. Так и ухнуло сердце у Матери: неужели?.. Да нет, смеются, приехали в колонию пригласить, перед ребятами выступить. После фильма о судьбе человека, отбывавшего срок, ребята хотят автора послушать, из его собственных уст узнать. Ну, говорю, иди-иди, милоч, говори, коли этим поможешь. Ишь, как бедненьких крутит, завьюживает, жизнь всем чесу дает... После письма получала оттуда, из колонии. А за долгие ноченьки чего только не передумывала.

“Дорогая Матерь уважаемого мною Вашего Сына!

Долго не решался написать Вам, но все же набрался духу, пишу. Я из тех, кому не повезло. В настоящее время нахожусь в местах лишения свободы. Прошлое вспоминать не хочется, и я живу надеждой на лучшее. Много размышлял в последнее время и многое, кажется, понял. И взгляды мои изменились, а также отношение к людям, к себе. Большую роль в этом сыграли произведения Вашего Сына, особенно фильм, где он рассказал о трагической судьбе человека, которого не отбросили в отбросы, а помогли, и он встал, поднялся, трезво стоит на ногах. Вот что значит товарищество, гуманизм... Вы меня извините, я пишу и так волнуюсь, что ничего не вижу вокруг, кроме лица Вашего Сына в этом его фильме, и все думаю, как оно так получилось, что учились мы в одной школе, один хлеб ели, а такие разные? Жена от меня отказалась, ушла, – конечно, кто захочет жить со шпаной? Это я не к тому, чтобы разжалобить вас, а к тому, что вы такого человека воспитали, мы все в отряде его книжки читаем, он нам помогает, он перед нами как бы живой. Вы не плачьте, мама, в обиду вас никому не дадим. Напишите, как быть мне с женой и вообще как мне жить. И если что не так, еще раз извините. Крепко жду ответа, как соловей лета. Ожогин”.

Матерь отвлеклась на минуту и слушает каждого, кто говорит со сцены, весь зал перед Ней – свои все, привычные, давние. Каждого знаешь вон от какого колена, насквозь. И мать с отцом знаешь, и деда с бабкой, и братьев с сестрами, теток с дядьками. Да не просто знаешь, а кто за кем ухаживал, кто кому отказал, кто на дело годен, а кто скоморошничать. Сколько всего проходит перед глазами – как на Почетной доске перед Ней, вот они все на ладошке. Поруня в углу с подружками, Меркул Игнатъич и тот дед-ленинградец, с

которым они вместе квашню затевали. Доярки, учителя, механизаторы – народ обнадеенный, с преданными руками, с прямою в душе, свойский. Вот они, земляки Ее, земляки Ее Сына, люди всяческих судеб...

Журавлев шагнул вперед, голос его оборвался, заставил Мать снова затрепетать.

– Вот последние слова Ее Сына, вашего земляка: “Благословляю тебя, моя Родина. Будешь ты счастлива, и я буду счастлив с тобой. И если я буду умирать в сознании, то прежде всего вспомню Родину, мать свою и детей”.

И тишина. Зал, как струна, натянулся – так отзвенивает в ушах. Журавлев подошел к Матери, коснулся плеча:

– Может, Вам слово?

Мать повела взглядом вокруг, закрыла лицо руками:

– Сама живу, а Сыночка-то не-ет...

– Не надо, не надо, – зашумели из зала. – Все знаем. Знаем обоих и так.

Мать увидела Его на экране. Поначалу Она даже оторопела: так живо глянул Он с полотна. Мелькали лица, кони, танки, самолеты, слышались выстрелы, взрывы, были кровь и смерть, шло известное отступление по сожженной солнцем волго-донской степи, и перед врагом вставал Ее Сын со товарищами... Вот, оказывается, как там было, когда Сын еще был мальчонкой, возил воду с Крутуни в поле на “табачок”, когда залезал на тополь, поджидая отца, хоть раненого, без ноги-руки, но живого. Как Он был сейчас, на экране, похож на отца, на всю их отцовскую породу. До чего же синими, топкими, как вода в Дону, как волна крутунская, были у Сына глаза. И сколько же огня-польмя в них, сколько боли, смертей мечется, отражаясь. Вот Он отступает вместе со всеми выжженной степью. Идут, понурясь, наши мужья, детишки наши – сыны, оставляя родную землю. Вот Он оперся рукой о тополь, дальше немочно: а все этот мотор, надо было погодить сниматься после больницы, надо бы передохнуть! Вот Он долбит киркой и лопатой сбитую в камень землю, роет траншею, чтобы остановить танки. Отер ладонью испарину, гимнастерку одернул, а гимнастерка сырая от пота, белая, колом от соли.

– Эх, да кабы они все это играли, – шепчет справа Матери Маркел Игнатич, – а то ведь взаправду, всерьез. И землю, черепушку эту, кирками, и марши-броски по полсотни верст в день.

– Всерьез, еще как всерьез, – сжимается Мать.

Она видит, как после атаки подходит к Сыну друг Его, артист Журавлев, и они валяются на траву у окопа, Сын достает кисет,

подцепливает щепоть махорки. Сын имел право на это... Вот Он поворачивается, смотрит с экрана только на Нее, говорит только с Ней, живет лишь для Нее... Сколько же нужно усилий, человеческих мускулов, чтобы сдержать все это железо, не дать огню разойтись, сжечь вокруг все живое! Уж Она, Матерь, знает, каково это – выходить, поставить на ноги, дать дыхание родному существу, чтобы потом оно смогло рыть вот эту траншею. Сын еще был мальчонкой, а Она печку топила, да попался в хоботье кусок от скворешника. Только хотела сунуть его в огонь, как кинется Он за скворешником: здесь же, мамочка, птицы жили!..

– Он не играл ролей, Он никогда не играл, – шепчет Матери друг-товарищ Сына артист Журавлев, и Она видит, как отсверкивает-пересверкивает в его взгляде экран. – В нем же, видите, ничего нет актерского. Говорили, опасен для конкурентов.

Сын-Сынок не играл, Он делал по-крестьянски дело, как пахут землю, как сеют хлеб. Было бы даже нехорошо перед деревней – играть: что Он, скоморох, что ли? Простой трудовой человек. А сесть начал не как все, с висков, а с усов... по чем доставалось...

Мелькают то свет, то тень, шелестит кинолента. Он ходит, шутит, ухаживает за девчонкой – батя вылитый, батя. Как солдаты сидят перед танковой атакой, беседуют друг с другом, как на камушках говорят о серьезном и вечном, вроде не будет тут же, через десять минут, ни огненного смерча, ни вражеских танков, ни гибели...

Люди впились в экран, в Него, в Сына.

– День был трудный, – шепчет Матери Журавлев, – допоздна засиделись на палубе... катер – наша гостиница... Дон был красновато-дымчатый, в закате дневное сражение. И Он говорил об искусстве, о жизни как бесконечной цепи, из которой мы вышли и из которой не выпадем, так и останемся в ней особым звеном... Он говорил здорово, хотя и чертовски устал. Люди себя баюкают сказкой и тем отдалают правду. В древнем Новгороде жила легенда о золотом веке, согласно которой прошлое, век ушедший кажутся счастливее, чем век настоящий. Но ведь жить – и то уже счастье, представляете?!.

– Чиш-ш-ше, – зашевелились, зашикали на них рядом сидящие. Сын смотрит с экрана, говорит с экрана только Ей, Матери, жив сейчас, курит, шутит, смеется, идет в атаку, сидит на палубе катера, а через мгновение Его не будет; все останется, как и было: эта степь, эти тысячи тысяч, друзья и враги, человеческое исступление, когда жажда крови ведет одних к нападению, порабощенью других, к захвату пространств и когда этой жажде противостоит юркий, живой, простой

человек в гимнастерке, в тело которого пули входят, как в воск, и только любовь, только долг перед Родиной продолжают держать Его там, на сожженной земле, дают силы выстоять, не пропустить врага. “А ведь они хотели замкнуть колечко, – шепчет друг Сына слева, – со степей этих ударить в Среднюю Азию, оттуда в Индию – это одна стрела: через север Африки по Ближнему Востоку Роммель танками – другая стрела... мы не дали”... Не дали врагу осуществить планы наши отцы, солдатик в гимнастерке седовато-жестяной, просоленной от пота. На экране все движется, живет, сохраненное на века, а Сына нет...

“Сыночек мой любимый, мой листик упавший, Ты вот где – в душе материнской. Ты видишь, судьба от меня отвернулась, взяла, отняла самое дорогое – Тебя, но если в последний свой час Ты жил так, как жил, как видим, Матери можно гордиться; зло нас с Тобой пересекло, но я не ропщу, терпелива, да в нас не иссякнет добро, храни его, Сын, во мне своей вечностью, дай мне всегда видеть Тебя, покоя уж не прошу, покоя Матери нет, пока вблизи несчастлив хотя бы один человек! Я иду по земле, я глажу ладонью каждую ее складку, каждую выемку, выбоину, перебираю каждую травинку, росинку каждую смыкаю в реки-озера, колосья свиваю в житницы, чтобы всех напоить-накормить; тогда, лишь тогда и в мирные дни не будут коверкать душу разрывы, дымиться на камне алая кровь и нечеловеческой болью разрываться сострадающее боли людской и горю материнское сердце. Сын мой, мой путь остатный уж краток, но я ухожу беспечальная, а все от сознания, что, если Ты нужен людям и днесь, и вовеки, не зря явилась миру и я, не зря жила от первого Твоего крика и шага до этих седин, вела Тебя материнской любовью. Я знала не только друзей Твоих, но и врагов, они как змея шипучая, но Ты-то шутил, что готов поставить им памятник: они Тебя заставляют работать и делают Тебя таким, как Ты есть. И все же, Сынок, они Тебе дни сокращали, а мне тяжелили кровь... Сынок мой, я плачу за все неустройство земное, за всех не устроенных в жизни.

Добро строится только добром, злом берут молодые и слабые; молодые и сильные берут только добром, умудренные мудростью старых, все старые – сильные или слабые в молодости – в свои годы слабы телом, зато сильны умом, они должны вести себя от добра. “И тем сохранять себя, мама?” – “И тем сохранять, Сынок, каждого – от зла, а народы – от крови”. – “Но это, мама, что-то толстовское. Старец знал, как в людях продлиться...”

– Мать, – шепчет Ей Меркул Игнатич, – смотри, смотри, что-то не то!

А Матерь саму уже приподняло: не Он на экране, не Сын!! Все в той же шинелишке, все в той же степи, среди тех же людей, а не Он. Спinoй к экрану, да все как-то бочком-бочком. "Не Он, – рванулось из Матери сердце. – Не Он!!!" – мотнулась к экрану туда сама собой голова.

– Не Он-н-н... – прошелестело по залу, как выстрелы, захлопали хлопалки-кресла.

Вот тут Он и оборвался, вот тут и не стало Его.

– Не Он уж, не Он. – шепчет Матери артист Журавлев. – Вот с этого кадра – дублер.

"Дублер, дублер... а Сына уж нет, нет Его с этого кадра, не будет уже никогда, никогда. Не придет письма-грамотки, не придет к Ней в Схлестки". Волнение Матери передалось залу, весь зал развернуло сюда, в Ее сторону, к Ней, все поняли: только что кончилась жизнь земляка, солдата, Сына сидящей здесь Матери...

И тут вспыхнул свет. И Матерь сидела, а люди все встали в едином порыве, стояли. Потом Матерь подняли на руки и понесли над собой. Потом опустили на сцене, и Она утонула в цветах. А кресла все хлопали, и люди срывались, бежали к себе в палисады и схватывали там, в палисадах, все лучшее, вбегали обратно, вносили в зал цветы охапками и клали их, клали к ногам Ее. Она утопала в них по колено, по грудь – в алых, как кровь солдатская, в белых, как снег на Богдырхане, в синих, как глаза Сына, как волны-воронки Крутунь-реки... цветах...

И вдруг зал смолк, совсем стало тихо, и сделалось слышно, как где-то за Половским островом играет звуками та протока с которой на тот берег отправлялась лодка на Его крик: "Выплывите, выплывите меня, люди!.."

– Спасибо, Матерь! – склонил седины руководитель артистов, и зал тишиной прокалило, и звуки протоки той как отсекло, ушел пол из-под ног Ее, надвинулись стены, Матерь качнулась влево. Ее подхватили, так и стояли, держа под крылья, а Ее подняло ввысь, несло облаками, и звенело сердце толчками в ушах, а где-то далеко за толчками, все там, у Поповской протоки, ревела-металась Крутунь-река, скатывала туда, к городу, свитые-перевитые воды свои, а с ними едва уловимый мальчишеский голос на том берегу; и здесь, в зале, голос Поруни, подружек Ее, всех схлесткинских баб, единый, сдруженный голос откуда-то снизу, с Крутуни, все выше забирает, все выше взвивается, к самому Богдырхану, вздыхая, ведет величальную Матери:

– Ах ты, Матерь наша, житная-пожитная женщина, во вдовстве-одиночестве подняла Ты Сына на нужду людскую-народную. Должен же кто-то сказать, высоко душу, круто слово нести: не вишь, наш народ вымирает, кончается, боже! С высоты поднебесной Русь-матушку

как бы сызнова мы увидали. по-над тучными прошлись по-над хлебами. по-над бурными проволочлись по-над судьбами человечьими. Сама всех заслоняла. за всех душой распиналась, а себя от горяшка, товарочка наша. не уберегла. Ах да не стони по уснувшему, непробудному, не дрожи. Мать, землю своим стоном-выстоном. Ах да перемогнись, переложи, Мать, тягость свою неподъемную на плечо наше, вниз уходящее, топкое, горяшко неотступное на судьбу нашу, ах да на всю нашу жисть деревенскую... не вишь разве, с Ним весь наш народ вымирает, великий народ... кричу на весь белый свет — все услышите... заслуженный перед миром народ...

И тут голос Поруни прорезался, как стекло тонкое, звень-звеньской:

*— Мелки пташечки вылетали,
Одна пташечка оставалась,
Горемычная кукушечка.
Она плачет, как река льется,
Возрыдает, что ключи кипят.*

Как живые, вот они, вспыхнули перед Матерью последние, в красных чернилах строки письма: "...на ту зеленую могилку"... Еще нужна Она, старая, людям, еще поживет... Горюч-камень Алатырь ты наш дорогой, погоди, не бугрись, не чернись, Мать просит тебя, дай дождю перемжиться, людям с войны еще той перебится, хоть немного пожить, только ведь жить начали... не дай кончиться нам, не дай народу пропасть... Припала Мать к горюч-каменю, облеглась, принакрыла руками Алатырь, как крыльями, а когда поднялась, то одежда на Ней черней черного сделалась, вороной стала, а горюч-камень сверкнул по рваной от пуговицы бороздке, засиял снеговитым ущельем на макушке самого Богдырхана.

*Вы завейтесь, ветры буйные,
Отлетает мой соколик
Из очей, из глаз моих...*

Едва слышим голос Поруни в голосах ее подружек. Зал весь возговорил, возговорило все в Матери. Эх да каждый день по доброму делу, хоть по ма-аленькому, по капельке-капельюшечке, эх, да будет ворох добра на земле. Эх, да никогда эта земля пашнями не оскудеет, людьми не разжижится, не остынет талантами; не перервется на нас эта ниточка, через нас протянется, соединит берега.

Вы леса ль мои, лесочки...

Не жалеет друг друга, сечется часто, за что? Все свои, одна волна всего в реке времени, в море народов Хвалынском, в окняне судьбы, и ведь все сыновья чьи-то, у всех где-то матери. Да когда же хоть жить-то научимся, длить друг другу, а не укорачивать век?.. Ведь народ-то наш пропадает, так не дайте, не дайте народу пропасть...

Мать открыла глаза – стих звон в ушах, истончился голос Порунин, улетели-исчезли слова все, какие владели Ею. Меркул Игнатич рядом сидит с голубыми своими, как у Сына Ее, как ель голубая, глазами. Дружок Сына – артист Журавлев с желтой от курева по самую кисть ладонью. И все схлесткинские, все свои, все свои, все свои – дважды, трижды, четырежды, Господи!..

– Слава Матери, слава Матери Сына!

– Слава всем, которые Матери!!!

– Слава, слава, слава всем Матерям на Земле!!!

И Мать глянула во множество глаз и содрогнулась, не могла не содрогнуться душой. И вспомнилось Ей отчего-то, что Сын рассказывал про Степана Тимофеича, как на московском холме, уже лежа на плахе, в последний раз почуял он крыльями обрубленный топором ветер. И, зажав сердце ладонью, поясным, низким поклоном, как и Сын Ее в облике Разина, поклонилась Мать народу.

* * *

Она шла к автобусной остановке, на Граевский тракт, чтобы уехать обратно в город, к себе на квартиру. В какой-то день Ее погрузило здесь и подняло. Пронзительно оглядывала Она Схлестки – доведется ли еще когда-либо увидеть все это, пройтись этой улицей, этим путем? Проходя мимо детишек, подошла, провела одному из них по шелкам-торчинкам волос: с каждым годом они все, как родня, все ближе, все свои, ровно внуки. Как под старость все хорошее ввысь поднимается, на добро отвечает добром, злобой много ль возьмешь? Это молодые пытаются что-то силой сделать, – а сила рождает зло; старому человеку остается добро, только свет высветляющий; вот почему так стелется перед Ней эта улица, вся округа. Воздуху, что ли, сделалось больше? Молот не хлопает по наковальне, – вот что значит Родина, свои люди, любимые сызмальства места. И только левое плечо, как осушено, ноет, и вся Она растрескана от жара внутри, она – житно-пожитная Женщина, Мать ты наша земная, человеческая...

Как последнему листику остаться на березе, так и придет день рождения Сына. Помнится, еще лежала в палате, а листок рябиновый приклеился к окну, не хотел падать. Сын родился сразу с зубами и

зрячий. “Либо генерала родила, либо какого другого деятеля”, – шутили соседки по койке. Багряный, вот-вот грянется он, последний листик, наземь с рябины...

Уже почти возле тракта встретила Она ту, знакомую молодайку с ребенком, вокруг шеи все так же закручена шаль.

– И куда теперь? – спросила Матерь ее просто так, чтобы что-то сказать.

– А никуда, – махнула та в неизвестность. – Переехали родственнички отсюда, а теперь... не знаю – никуда...

“Бедная женщина, – вздохнула Матерь. – Бедный, бедный ребенок”. И сказала вдруг и для себя неожиданно:

– Видишь, во-он дом с оцинкованной крышей, два темных железных листа на свесе? Ключ под камнем, иди и живи. Помни Сына мово...

– Нате, Вы же просили, – протянула молодайка набор кинооткрыток.

– Оставь себе, я уже старая, – повернулась Матерь и пошла далее своею дорогой, на тракт.

У самого тракта, прямо возле столовки, валялся пьяный – кто бы это? – ах, Белый Лебедь, напоили киношники. Видела, двое крутились возле него. Еще с первого приезда заметила их, еще тогда пили неаккуратно. Снова Гришу втравили, на поминках устоял, а тут – нате вам. За Сына, должно, предлагали.

Холщовая сумка валялась рядом, из нее раскатились в разные стороны бутылки минеральной. Матерь наклонилась и стала их записывать в сумку обратно.

Эх, Гриша, Гриша, нахватался, братец, черных перышек, никак не отбелиться, Белый Лебедь с черными перьями, дурная головушка... Гриша лежал вверх лицом, по щекам ползали зеленые мухи, что избыльно водились тут на помойке, Гриша морщился, дергал то одной щекой, то другой, шевелил мягкими губами, отплевывался, словно семечками, эти мухи осенние дюже злые, щекотные...

Матерь стала его переворачивать набок. Обычно легкий, на сей раз Гриша как камень наглотался. Она поискала глазами, кто бы это помог, покачала рукой бабам-торговкам, что расселись у порожков столовки, те и бровью, однако, не повели.

И тут, свернув с тракта, прокатил мимо Белого Лебеда самосвал, так впритирку прошел, что у Матери сердце ёкнуло, и она заругалась на шофера:

– куда же ты, анчибал, не вишь, прешь прямо на человека?

Из кабинки выскочил совсем молодой. За хлебом остановился, зачем же еще?

– А ну подмогни, сынок, – приказала Матерь. – Давай его вон туда, к заборчику, а то ездят тут, недалеко до греха.

Из кабинки вылез еще помощник: с рюкзаком, в клетчатой рубашке, в вельветке и огромных очках. Уходил, прямой, как аршин, туда к школе, на которой еще не успела просохнуть краской бело-зеленая вывеска с именем Ее Сына. Там, во дворе, такое обилие роз, широкий, ровно подстриженный пояс вокруг здания; когда розы зацветают, двор становится алым, даже в классах розовеют стены и потолок, такой стоит аромат, даже мутит. Если уж начинают цвести розы эти, то и цветут, и цветут, одни округляются, только сходят, как уж рядом другие бутонятся. Бутоны зеленые, едва намекнулись, а не сломишь – шипы...

Мальчишка со двора школы выкатился на самокате. Задержался возле очкастого, задрал голову, смотрит. Натянул очкастый картуз ему на уши, шелкнул по козырьку, спросил, как пройти к дому, где жили они тут, Матерь с Сыном. Матерь это точно услышала: где тот дом, где жил Сын Ее; быть в краях этих да не заглянуть к своему человеку?

– А вы, дядя, случаем не автор? – спросил его самокатчик.

– Нет, – засмеялся очкастый, рубаха в клетку, – а что?

– А то, – оттолкнулся ногой мальчишка и покатил дальше, уже издали крикнул: – У нас авторов лю-юбят!

Матерь смотрела вслед очкастому, в клеточку. Сколько путей-дорог перебрал человек, сколько пыли на его щекастых ботинках. И чего люди блудят по свету, чего потеряли, что ищут? И едут, и едут по всему Прикрутунью в горы, по пробитым и еще не пробитым маршрутам, вот крутит кого, вот кого лихорадит. Придет сейчас этот очкастый к их дому, а ставни закрыты, настыла труба, и Сын уже не встретит его на пороге, не встретит уж никого... И защипала веки Матери скорая влага, оглянулась Она, повернула было к дому обратно, да вовремя вспомнила про женщину, какой отдала ключи, и через ресницы вроде как Сына увидела – идет сюда к Ней по Крутунь-реке, а за Ним свои, схлесткинские, земляки, много лиц. Он идет по воде, и вода сокрушает Плоскун-гору, завивает под нею воронки, а Он все идет и идет, наклоняется к Ней, говорит доверительно Матери:

– Я свое, мама, пожил, как смог. Прошагал, как сумел. Ах, да не убивайся так, не рыдай, не рыдай меня, мати!..

И что потом

Издrevле звали ее златоглавой. Вот они, золотые маковки монастыря, за красным камнем стены. Здесь, на кладбище, лежат лучшие люди страны, те, что пришли сюда со всех бесконечных краин, но принадлежат

теперь только этой земле. Где лежит и Сын Матери, спрашивать и не надо: уже из ворот льется струйка людская к Нему сюда. Куст сирени над Ним, на сирень, как на плечи, наброшена ветка горящей рябины. День стоит теплый, не совсем ясный – то дождь крупный, то тут же и солнышко, а так ничего себе, славный денек. А люди идут и идут, замедляют ход, смотрят на фото – лицо такое знакомое, даже привычное по кино, приустало, и слезинка в глазу. Рано уходят такие. А всегда хочется, чтобы хороший человек пожил бы еще...

Женщина в черном, наклонясь, устраивает на могилке цветы, ведет по бумажке ладонью, чуть пониже фотографии оправляет тетрадный лист, на нем крупно, коряво написаны, как соль непромолотая, алые буквы: “К дню рождения Сына”.

Еще ниже так же крупно, коряво:

“Плач Матери.

Вы, леса ль мои, лесочки, вы, дубровы людские, дубровушки, укатился красное солнышко за горы да за высокие, за облака да за ходячие, за часты звезды да подвосточные. Люди добрые, сродники и суседушки, как Самаюшки на вдовьих рученьках подымала-воздымала Сына своєю ясным соколиком, отлетел, куда и все, вниз по Крутуни. Ой да настигла Его злодейка-зломанка, смерть – змея лютая, подколодная. Ой да сколько всего наготовил Он в себеюшке люду, не успел сказать-выразить. Ой да ушел от нас, печальная головушка, семеюшка моя, заборонушка... Когда мне сказали-то, что умер на съемках, так меня, как литовкой, снесло, так косьем и скосило. Ох, да без Тебя, Сынок, и есть не ем, и пить не пью, и жить не живу. Да Ты встань, открой очи, погляди, что тут с нами, прозяблыми, деется. Все-то думалось, жить вместе будем, под одной крышей, что заступишься Ты за нашу деревню, за свой народ, защитишь, а то тает, тает, страшно-ужасно как истекает, все скоро втянемся в трубу химическую, все там и останемся. А сказать о том-то и некому, выразить миру все про народ. Он и город жалел, всех сердечных-желанных, был широко-о-окай. Спасибо вам, люди добрые, сродники и суседушки, как подняли Его, но Он там лежит теперь – высоко, на святом месте, а мне, Матери, каково туточки? На могилку бы сходила, как все, отнесла бы гостинцев, а хожу вот, крошу куски на могилки сиротские – все свои, все свои, все свои... уходящие, все уходим, уходим большущими тыщами... Мне все Ты, Сынок, видишься так: все плывешь на льдине вниз по Крутуни, а с Тобою наша корова Райка, которую я тогда продала, чтобы Ты в город поехал учиться, а громом-молнией то в Крутунь, то под Тебя так и нижет, так и ширяет. И Ты кричишь сюда с того берега:

“Выплывите, выплывите, выплывите меня, люди!” Но не во страхе кричишь, а как вроде улыбочатый. Так и вижу Тебя, как тогда, когда фильм Ты снимал на Плоскуне, босиком стоишь, молодешенький, поскакучий.

Ах ты, боже ж ты мой, огонь-пламя грудь сжигает, ах да не могу, не могушеньки я прилечь-облегнуться грудью жгучею на твою могилку умершую, ах да что же нас с Тобою выбрало, на нас с Тобой навалилось. Да Ты сказать скажи хоть словечко, испромолвь мне хоть что-нибудь, прости своей Матери все, какие были, обиды. Не пришлешь больше письмо-грамотку, про житье-бытье свое не поделишься... Поля чистые, травы шелковые, цветы лазоревые, переймите на себя эту мою печаль-тоску материнскую. Ветры буйные, снега сыпучие, морозы трескучие, перебейте мою боль-спорыданье... Жизнь моя прошла не в пирах да не в забавах, во трудах прошла да в заботах, во слезах прошла да во горючих. И летаю, летаю кукушечкой, обкукукиваю все места Твои, чтобы в памяти хоть Тебе жилось дольше.

Люди добрые, сродники и суседушки, Он старался для всех. Не обидь, Человек, могилку-то. Он хотел каждый день по доброму делу, станет ворох добра на Земле. У него, соколика, крылышки примахались, сизы перышки подломались. Кланяюсь вам, люди добрые, материнским низким поклоном за все ваши письма-грамотки, за цветы-апельсины, за слова дорогие, сердечные, мне они как бальзам на четырнадцати тысячах трав. Спасибо вам, добрый народ”. Женщина в черном стояла плечом в сирень, утопила в руки лицо. Кто-то вышел из живой людской струйки, коснулся плеча:

– По ком плачешь, мать?

Струйка замедлилась, остановилась.

– По народу своему, по человечеству, – сняла руки с лица Старая Женщина.

Струйка двинулась дальше. Мимо Женщины, старой сирени с веткой алой рябины. Ветер перебирал тетрадный лист с серыми, крупными, как непромолотая соль, корявыми буквами. Фото косилось на соль, шевелило немymi устами:

– Я свое, люди, прожил, как смог. Прошагал, как сумел, над Крутунью. Ах да не убивайся так, не рыдай, не рыдай, не рыдай меня, мати!.. Накрути ремешок-то на прясло, завяжи узелок на память, выживи, мой любимый, добрый народ!

г. Бийск, Алтай-Королищевичи, под Минском –
г. Малоархангельск, Орловщина.

Лето–осень 1973 – осень 2003 года

ЛЮБЯЩАЯ МАРИЯ (или ОРЛОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ)

Оптимистическая трагедия в двух действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мария Александровна Спиридонова – лидер партии левых эсеров (социалистов-революционеров – интернационалистов), женщина в белом.

Тень Владимира Ильича ЛЕНИНА – лидера партии большевиков.

Тень Клары ЦЕТКИН – лидера международного женского социал-демократического движения.

Тень БЕРИИ – наркома внутренних дел СССР.

Тень ЛУЖЕНОВСКОГО – начальника карательной экспедиции до революции на Тамбовщине.

Тень сына Марии – мальчика лет десяти.

Жандармский офицер.

Вахмистр.

Старый солдат.

Молодой солдат.

Надзиратель.

Начальник караула.

1-й следователь.

2-й следователь.

Немецкий солдат.

Человек с лукошком.

Жених.

Невеста.

Возникает “Реквием” Моцарта. Шемящая, божественная музыка уносит в небеса, бесконечность. Слева, перед занавесом, проецируясь на узкое полотно, летит, машет крыльями чайка, а может быть, альбатрос. Чуть ниже светится: “Памяти жертв политических репрессий”. Это полотно с белой птицей висит перед зрителями весь спектакль, до финала.

На мягкие звуки моцартовского “Реквиема” накладывается отдаленный мужской голос, он читает “Альбатроса” Бодлера (в переводе В. Левика).

*Временами хандра заедает матросов.
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц Океана – больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.*

*Грубо бросят на палубу. Жертва насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,
Опустив исполинские белые крылья,
Он, как весла, их тяжело влачит за собой.*

*Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным.
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.*

*Так, Поэт, ты паришь под грозой, в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе.
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе.*

На авансцене появляется слегка сгорбленный, пожилой человек. Он с лукошком в руке, одет под грибника.

ЧЕЛОВЕК С ЛУКОШКОМ (*приглядываясь к местности*). Вот уже десять лет, как только стает снег, я прихожу сюда, в Медведевский лес, что под Орлом. Я ищу могилу отца, общую могилу всех, кого расстреляли с ним вместе. Печально известный орловский расстрел 11 сентября 1941 года. И хотя, скрывая следы преступления, здесь посадили деревья, вот оно, это место, эта могила. Видите, как осела земля, – тридцать метров на шестьдесят. И здесь они все, 161 человек. Из той партии расстрелянных. Среди них – Мария Спиридонова, Христофор Раковский, Илья Майоров, Ольга Каменева... Я нашел место их захоронения, я все же нашел!...

Занавес поднимается.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

В глубине – тюремная камера Орловского централа. Окно с решеткой. Железная койка в углу. Кто-то в длинной белой одежде стоит перед зарешеченным окном.

Справа, на авансцене, сидит на табурете сидящая некрупная женщина.

ЖЕНЩИНА (*обращаясь к зрительному залу*). Я – Клара Цеткин, известный вам лидер женского социал-демократического движения. А это (*показывая в глубину, на женщину в белом*) – Мария Александровна Спиридонова – лидер российской партии левых эсеров, или, как они называют себя, партии левых социалистов-революционеров – интернационалистов. Вы скажете, меня уже нет, однако, представьте себе, живу...

Не знаю женщины более печальной судьбы, чем эта Мария – Мария с судьбой Марии-Антуанетты! Королевы Франции, которой якобинцы отсекали голову на гильотине только за то, что она была королевой. А можно взять и другой пример, ближе к вам сюда, русским, – судьбу Александры Федоровны, которую убили в Екатеринбурге вместе с ее семьей только за то, что она была российской императрицей...

Да, Мария застрелила в упор карателя – палача Луженовского, защищая тамбовских крестьян. Но у нее никогда не поднялась бы рука на женщину, мать! Она была рождена для любви, для семьи. Ее бы хватило на многих. И что сделали с нею мужчины, когда она вторглась в их пределы – в политику. Можете себе представить, каково нашей сестре в этой области, узурпированной мужчинами. Мы ушли от матриархата, а до биархата – общества равных, партнерских возможностей – еще далеко...

Летом 1918 года Марию арестовали. Это сделала уже новая власть прямо в Большом театре, на заседании Всероссийского съезда Советов. И я написала Владимиру Ильичу:

“Уважаемый, дорогой друг Ленин!

... Разные иностранные делегаты – товарищи женщины и мужчины – просили меня замолвить слово перед Вами о том, чтобы Мария Спиридонова была переведена из госпиталя ЧК в обыкновенную лечебницу. Они обосновывали свою просьбу тем, что Мария Спиридонова вследствие тифа полностью сломлена физически и духовно и поэтому политически недееспособна и не опасна. Они охотно внесли бы соответствующую резолюцию на женский конференции, однако это удалось предотвратить тем, что я обещала представить это дело Вам на рассмотрение. Угрожали скрывание “неким европейским скандалом...” Мое сердце тоже горячо говорит в защиту ее как несгибаемого борца против царизма”.

КЛАРА ЦЕТКИН (*в глубину сцены*). Мария, ты слышишь меня?

МАРИЯ СПИРИДОНОВА (*выходя на свет*). Да, Клара.

КЛАРА ЦЕТКИН. Мое сердце, Мария, с тобой! Когда будет особенно трудно, я буду приходить к тебе, знай! Я буду приносить тебе весточки с воли, о новых замыслах в высших кругах. Развязана вторая мировая война...

МАРИЯ. Я знаю.

КЛАРА. Война стремительно приближается к Орлу.

МАРИЯ. Я это чувствую. Я знаю и то, что надо мной и моими товарищами нависла смертельная угроза. Нарком внутренних дел Берия обратился к Председателю Комитета обороны Сталину с предложением уничтожить узников Орловского централа, в тот же день Сталин подписал документ... Клара, ты меня слышишь?

Молчание.

КЛАРА. Ты меня слышишь, Мария?

"... Мария, мрия, мрия", – катится по длинному коридору. Хлопают двери, звякают ключи – сталью по железу, по железу железом.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Та же камера. Мария Спиридонова в той же белой длиннополой одежде. Стоит у того же зарешеченного окна.

МАРИЯ. Мне это пригрезилось, что ли: Клара Цеткин, ее письмо к Ленину?.. Я знаю, мне осталось жить три дня и три ночи. Они идут по камерам, близятся. В конце третьей ночи, на рассвете, придут и за мной. Как все это знакомо еще с царских времен! Революции, оказываются, ничего не отменяют в централах. Они разрешили лежать мне на койке, сколько хочу. Убрали с окна козырек, чтобы я увидела небо. Послабление смертнику...

Вот он, кусочек неба. Столько дней без прогулок, без воздуха и, наконец, этот синий кусочек! На карнизе, слышать, чирикают воробьи. А во-он высоко-высоко, наискосок отсюда, летит белая чайка. Откуда, милая, прямо с чеховской сцены? Боже, как это прекрасно! Не я – это то, чем могла бы стать чеховская героиня, проживи она дольше, с мое.

Это середина России. Через город протекает Ока. И это речная чайка. Как жаль, если Чайке лететь в понизовье, ей, конечно, не попасть на мою родную Тамбовщину. Но ты отклонись, Чайка, передай ей поклон. Скажи, что я ни о чем не жалею, в мире должно существовать сопротивление насилию, палачи должны знать себе цену...

Она пролетела – та Чайка. А я все в камере смертников. Впрочем, сейчас в Орловском центре камеры смертников все. И где интересно, та камера, где отбывал когда-то свой срок “железный Феликс” – Дзержинский?

Это с виду тюрьмы немы, как гробовой камень. Внутри же они кипят жизнью, как улей. ... Сидела я при прежнем режиме, приговаривали к смертной казни. Сидела при Ленине, сижу и сейчас, в начале второй мировой войны. Они назвали ее Отечественной – эту войну. Если бы она была таковой! Стальные полчища не подкатили бы к сердцу России в столь жутко короткий срок. А ведь всю первую мировую протолкли в западных областях.

Я знаю эту самую тайну и тем опасна для них. Как опасны и все мои товарищи по судьбе. Значит, надо нас уничтожить...

Клара Цеткин хотела сказать, что распоряжение Берии уже подписано Сталиным? Но это я уже знаю. Как знаю и то, что из Москвы прибыла спецкоманда и ей выделен грузовик. Один грузовик на всех. Если по очереди, на это уйдет три ночи. Меня расстреляют на третью ночь, как всегда, на рассвете, когда люди спят....

Да, и у тюрем свои биографии. Кажется, совсем недавно мне стучали отсюда вот, с правой стороны. Обычный тюремный язык – “морзянка”. Это сыпал “морзянкой”, прощался со всеми сам Симановский – наш бывший палач, бывший начальник Орловского управления НКВД. А мне тогда жизнь казалась еще бесконечной... Этой ночью стук раздастся с другой стороны. С этой – левой стороны. Стук раздастся, когда в тюремном дворе загудит мотор грузовика. Это сообщение, что первая партия выведена, камеры очищены... Уже слышны шаги, звякают ключи... Слуховая галлюцинация? Ведь еще вроде рано.

А вот зрительная галлюцинация. Как наяву, год 1906-й. Кажется, это было весной. И я тогда была молодой. Весна молодости. Тогда в меня как вошла печаль, так беда и не покидает.

Тихо звучит “Аве Мария”.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Тамбовщина. Крестьянская изба. За столом жан-дармский офицер. Перед ним она, Мария Спиридонова, все в той же Белой одежде.

МАРИЯ (*ежась перед колючим, раздевающим взглядом*). Прикажете вашим солдатам вернуть мое платье. Мне стыдно, господин офицер, я все-таки девушка.

ЖАНДАРМСКИЙ ОФИЦЕР (*саркастически*). Вы – дворянка! И вы здесь, в Козлове, стреляли в упор в дворянина, отца семейства! Вы убили его! Вы – террористка, убийца, – вот вы кто! Вам теперь все равно, какая вам разница – кусают вас комары или нет.

МАРИЯ. Луженовский – палач, черносотенец, главарь карательной экспедиции! У него руки по локоть в крови. На его совести повешенные, расстрелянные, забитые розгами до смерти. Они тоже были отцами семейств...

ЖАНДАРМСКИЙ ОФИЦЕР (*перебивая*). Крестьянские вожачки, мужики – богоносики! С утра молятся богу, а ночью жгут дворянские гнезда. Кажется, это у Пушкина: нет ничего страшнее, чем “бессмысленный крестьянский бунт”?

МАРИЯ. Вы хотите залить землю кровью?

ЖАНДАРМСКИЙ ОФИЦЕР. А вы хотите залить Россию огнем?

МАРИЯ. Вы лишили крестьян земли. В 1861 году было отменено крепостное право, но крепостничество остается. Вы вроде бы освободили крестьян, но почти без земли. Вы отбираете одно из главных человеческих прав, записанных кровью борцов еще в Великую французскую революцию в “Декларации прав человека”... “В борьбе обретаем мы право свое”...

ЖАНДАРМСКИЙ ОФИЦЕР (*издевательски*). Какая эрудиция! Кто это – мы?! От чьего лица вы выступаете?

МАРИЯ. Мы – крестьянская партия, эсеры – это социалисты-революционеры – интернационалисты. Мы начинали, как вам известно, конечно, еще с “черного передела”, от народовольцев...

ЖАНДАРМСКИЙ ОФИЦЕР. И докатились до индивидуального террора? Вы же опасны, вас надо расстреливать, как бешеных собак.

МАРИЯ (*печально*). Мне больно не за себя – за людей!

ЖАНДАРМСКИЙ ОФИЦЕР (*вскакивая из-за стола*). Ну да! Ты стреляешь, убиваешь в упор, а я ненавижу, я – человеконенавистник? Мадмуазель, я охраняю порядок, людей, систему!

МАРИЯ. Вот именно – Систему! А она ведь, как и эта хата, насквозь вся... И почему это так повелось еще с допетровских времен без...

ЖАНДАРМСКИЙ ОФИЦЕР (*перебивая ее*). Вам нужны революции, скачки, потрясения, да? Невозможно без естественного саморазвития, без эволюции, да?

МАРИЯ. Да! Не можем без такой совершенно гомерической государственной машины, просто изуверского чиновничьего аппарата.

ЖАНДАРМСКИЙ ОФИЦЕР. Вы, говорите, действовали по заданию

своей партии? А теперь я лично удостоверяюсь, что и сама ты – прехорошенькая штучка!.. Какая красивая! Ишь, как щечки раз-румянились, прямо кокотка с парижской панели...

МАРИЯ (*вспыхивая*). Не смейте так! Вы за это ответите перед...

ЖАНДАРМСКИЙ ОФИЦЕР (*протягивая к себе ее за подбородок*). Перед кем? Ну, скажи – перед кем? ... Какая горячая, пы-лая! Интересно, как ты играешь в постели?

МАРИЯ (*пытаясь ударить его по щеке*). Подлец! Это вы по Пари-жам раскатываете, а мы со своим народом, в крестьянстве...

ЖАНДАРМСКИЙ ОФИЦЕР. А вот мы посмотрим все же, как ты играешь! Пройдешь через взводик – узнаешь... Эй, вахмистр! До военно-полевого суда еще далеко. Так вот, отведи-ка маде-муазель к нашим ребятам. Только вот что, хе-хе-с, без нужды не вынимать, без славы не вкладывать. Понял меня, так и скажи.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

*Там же. На конюшне. Солдаты разносят лоша-
дям сено охапками.*

ВАХМИСТР (*вталкивая к ним Марию*). Эй, ребята! Господин пол-ковник послал. Вот вам баба, жеребцы застоялые!.. Подполков-ник так и сказал: саблю не вынимать, но что надо – с бабой иседелать...

МАРИЯ (*приходя в себя от оцепенения*). Ребята, вы же все-таки люди.

СОЛДАТЫ (*переталкиваясь, скаля белые зубы*). Гы-гы-гы...

МАРИЯ. Вы же из деревни. И я из деревни, из крестьянской партии...

МОЛОДОЙ СОЛДАТ. Какая же ты деревенская, у тебя исподняя рубаха из тонкого полотна.

МАРИЯ. Да, я дворянка. Но я пошла на все из-за вас, из-за крестьян...

ВАХМИСТР (*рвякая*). Молчать! А то в зубы!.. Ну, кто первый? Ты, что ль, больно разговорчивый?.. Ах, еще не целованный, не знаешь, что это такое?.. Ну, тогда ты – старый солдат! Ах, уже отстрелял-ся, кончились боеприпасы?.. Ну, сам показываю, личным приме-ром. Служба есть служба, прости меня, женушка, богом мне да-денная, приказал господин подполковник... А ну, подойди ко мне, кралечка, гы-гы-гы... Дай я тебя приласкаю, а ну вали ее, ребята, сюда под меня, на попону... Прости меня трижды, господи... да не вороти, не вороти морду... Иисуса Христа пресвятая Дева Ма-рия родила тоже на конюшне...

Вахмистр расстегивает ширинку. Мария падает замертво.

Приходит в сознание. На окнах железные решетки. Тюрьма.

МАРИЯ (*свернувшись в калачик на койке*). Самое страшное позади, весь этот кошмар, этот ужас... И суд. И этап сюда. Все как во сне. Высшая мера, расстрел. Значит, я в камере смертников...

В окно просунулась ветка. Живая, зеленая. Это вишня? Да, вишня эта будет всегда, вечно, а тебя не будет уже к Петрову дню, когда созревает она, эта самая вишня... Почему у вишни сок такой странный – венозной крови? А ведь я еще молодая, еще хочется жить. Это же варварство, просто дикость – вырвать вишню с корнем вместо того, чтобы ягоды принести в решете, а саму вишню оставить там же, в вишневом саду... Я не хочу умирать, не хочу! Если надо уйти, я уйду. Однако сейчас я хочу, чтобы в камере со мной была еще хоть одна живая душа. А может, это и хорошо? Никто не увидит тебя, твою слабость, твое зареванное лицо. Да не все ли равно? Если жить осталось час, полчаса, с мизинчик на правой руке со шрамом, который ты сотворила сама себе еще в детстве, когда открывала банку с вареньем. Ты так любила с детства вишневое варенье, а мама так любила его варить для тебя.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Та же камера в Орловском центре. Та же койка.

МАРИЯ (*вставая с койки, оглядываясь вокруг*). Мама-мама! Опять я в тюрьме и опять в камере смертников. То, бывало, при царском режиме, то при Ленине... Но на этот раз, кажется, мне не уйти. У этого хватка крутая. Вот и пролетела жизнь. Всего-то миг. Звездный росчерк на этом сентябрьском небе. Через двое суток тебя, Мария, не будет...

Видишь, светает. Из всех щелей тянет прохладой. Тяжелеет, наваливается небо. Окно впервые без козырька. Непривычно видеть небесные светила...

Вот-вот во дворе заработает мотор автомобиля. Старенький, доходяга. Тогда, в шестнадцатом, когда брали власть, красногвардейцы раскатывали по Питеру на куда лучшей технике. Все лучшее – фронту...

Вот и шаги по коридору. Удар приклада о цементный пол. Приглушенные по-воровски голоса. Звяканье о железо железом. Это тюремные ключи. Кто-то в камере уже вроде умер, кто-то еще

живой, в маске вроде живого. Сейчас сюда к тебе долетит “морзянка”, и ты прилипнешь ухом к стене... И так три ночи, все эти три ночи каждый раз на рассвете... Ну, допустим, тогда я убила человека, хоть и палача, а сейчас, сейчас-то за что?..

Господи, да когда же, когда тишина оборвется, когда просыплется, наконец, эта “морзянка”, этот проклятый тюремный сигнал? Уже не могу, просто сил никаких. Хоть бы кто-нибудь рядом, хоть бы одна живая душа! Яма, четыре стены, могила. Господи, я гоню время, сама приближаю час...

МАРИЯ (*приникая ухом к стене*). Ага, вот и они, эти стуки! Вот из стуков слова! Цепляются, сцепливаются, сверлят стены, мозг, душу. “Из камеры выведены Христиан Раковский, Петр Петровский... Илья Майоров – бывший первый заместитель наркома земледелия. Это же муж твой, муж твой, Мария!..”

Мария мечется по камере. Скребет по стенке пальцами. Упирается лбом в нее, колотит руками.

МАРИЯ (*задыхаясь*). Клара, Клара! Где сын мой, где сын?!

Во дворе раздается тонкий, по-детски жалобный плач. Тяжелые шаги перед самой дверью. Мария замирает. Открывается “глазок”. Ее долго, пристально разглядывают, Мария делает “стойку”.

МАРИЯ (*приходя в себя, выступая на шаг вперед*). Послушай, парень. Зайди сюда, посиди со мной рядом, я тебе что-то скажу. Я тебе расскажу, как я жила, как любила, как могу любить еще, сердце не отлюбило... Мне один подполковник сказал, что я горячая, пылкая... Как ты можешь нести свою службу в этом каменном ящике, когда сами они там пьют свои коньяки и закусывают лимончиком.

ГОЛОС В “ГЛАЗОК”. Нельзя, не положено.

Какое-то время “глазок” еще светится, затем закрывается, гаснет.

МАРИЯ (*в отчаянье*). Когда-то я была молодой, красивой! Я обладала большой гипнотической силой воздействия. Молодые люди любили меня, охранники не выдерживали, партийные лидеры отступали. Ведьма, колдунья! Тюрьма и годы съели мою красоту. Сделали седой, малопривлекательной. Я уже не волную кровь, не волную, да? Не волную!

Ночь заканчивается. Их уже нет, Илью моего расстреляли. Сыч, сыч! Не кричи так, не плачь, душу не надрывай.

Пауза. Отдаленно звучит "Аве Мария".

МАРИЯ (*в пустоту*). Клара, Клара! Мне страшно...

КЛАРА ЦЕТКИН (*проявляясь на том же месте, сидя на табуретке*). Успокойся. Мария. Держи себя. если уж умирать, то достойно. Впереди еще два дня и две ночи.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Та же камера. То же зарешеченное окно.

МАРИЯ (*приподнимаясь на койке*). Вот и прошла первая ночь. Вот я в сумерках, в каком-то дурмане... С рассвета начали отсчет вторые сутки перед моей казнью, вторые... Я слышу, как тикает где-то там, за стенами централа.

Знакомый перезвон, бой часов. Это Москва, Спасская башня, это часы всей страны, это мои часы, они неумолимы, это мое последнее время.

Не тикайте же, часы, не летите, секунды! Не ломите виски, душу не разрывайте!..

Мария встает с койки, начинает ходить по камере. Туда-сюда, туда-сюда. Останавливается у "глазка" перед дверью.

МАРИЯ (*в нерешительности*). Кажется, вчерашнею ночью в разговоре со своим надзирателем я наделала массу ошибок. Говорила не то и не так. Как и в молодости, действовала на сексуальной волне. А ведь уже не молода. Да, тюрьма со мной, конечно, сделала свое дело. Да и он, вероятно, не молод – этот мой стражник. Как и я, вероятно, сгорблен годами, заботами о семье. А хлеб насущный достается такими трудами, кровью пахнувший хлеб...

МАРИЯ (*стуча кулаками в металлическую дверь*). Гражданин надзиратель... гражданин начальник!.. Эй, эй!.. Я хочу ситного хлеба!..

"Глазок" приоткрывается, светится какое-то время, снова становится темным.

ГОЛОС В "ГЛАЗОК" (*совершенно бесстрастно*). Нельзя, не положено.

МАРИЯ (*настойчиво*). Но я же смертник, меня вот-вот расстреляют, могу же я иметь какое-то желание, просьбу, а вы ее обязаны выполнить. Даже в царской тюрьме, после приговора к смерти, мне принесли ситного хлеба.

ГОЛОС В "ГЛАЗОК" (*все так же бесстрастно*). Нельзя, не положено.

МАРИЯ (*с горькой усмешкой*). Небось, ситного-то и нет у тебя, на

ситный у них ты не зарабатываешь... И дети твои не знают запаха настоящего ситного хлеба. За такую-то работу тебе платят гроши, ты едва сводишь концы с концами... Слушай сюда, брат мой! Принеси ситного, душа горит, просит чего-то. А для красоты принеси мне завтра листьев осенних. Это не стоит тебе ничего. Зачтется перед Богом.

ГОЛОС В "ГЛАЗОК" (*вздыхнув глубоко*). Ладно.

И "глазок" опять закрывается надолго.

МАРИЯ (*стоя перед дверью*). Зачем я все это делаю, кому это все говорю? Старая, закоренелая привычка партийного лидера вести пропаганду... Хоть дает надежду. Что-то сбудется, что-то свершится. И время стоит не так глухо, как эта стена... Он войдет сюда, мой Надзиратель, и это важно. Я увижу его, наконец, его фигуру, лицо. По глазам можно что-то понять и сказать совсем не то, может быть, самое главное. Человека, пока он жив, согревают надежды...

МАРИЯ (*отходя к окну*). Какое утро! А вот и ты, Чайка, — моя добрая знакомая, подруга моя! Как и вчера, опять пролетаешь мимо. Какая же белая, крылья как вымыты! Спасибо, что пролетаешь, лежишь, подкрепляешь меня, дух поддерживаешь... Пока тикает в груди, пока слышу часы Спасской башни, я жива, я не плачу. Плакать нельзя, зачем давать наслаждаться кому-то твоей слабостью?

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Та же камера. Мария возле той же двери, у "глазка". Скрежет ключа в замочной скважине. Мария вздрагивает, берет себя в руки. Входит Надзиратель — полноватый, действительно, пожилой уже человек.

НАДЗИРАТЕЛЬ (*кладя на столик хлеб, яркие кленовые листья и не глядя на нее*). Вот тебе ситный.

МАРИЯ (*как можно спокойнее*). Спасибо.

Надзиратель поворачивается, чтобы уйти.

МАРИЯ (*как можно мягче*). От себя, небось, отщипнул, от детей? *Надзиратель задерживается, молчит.*

МАРИЯ (*убежденно*). Ведь не только тебя, семью твою, всю страну так и не накормили...

Надзиратель слушает молча.

МАРИЯ (*загораясь*). А ведь мы за это головы клали — чтобы землю крестьянам отдали...

НАДЗИРАТЕЛЬ (*глухо*). Кто это мы? Вы – бунтари, грабители, уличные хулиганы.

МАРИЯ (*заводясь, будто того и дождавшись*). Мы – это крестьянская партия, левые эсеры. Мы вместе с большевиками власть в семнадцатом брали – ради кого? Ради вас таких. Военно-полевой суд приговорил меня к смертной казни, потом ее заменили пожизненной каторгой, и я провела одиннадцать лет в Нерчинском остроге. Жандармские побои повредили мне зрение, слух. Февральская революция освободила меня...

Вижу ведь, не городской – выходец из деревни, разве бы городской за такую работу взялся? Это земли в деревне тебе не хватило, вот ты и подался в город искать лучшей доли. А все счастье нашел ты в чем?

НАДЗИРАТЕЛЬ. Да, в чем?

МАРИЯ (*убежденно*). А в том, чтобы стеречь таких, как я. А я ведь сестра твоя, подругой могла быть, женой... кладу за тебя свою голову... эх, ты... садись сюда вот на краешек, не бойся, не укушу... Я знала одного такого, как ты, еще с молодости. Хочешь, судьбу тебе предскажу? Да вон же, вон вижу такие точки в глазах...

НАДЗИРАТЕЛЬ (*присаживаясь с краю на койку боязливо*). Ну-ну, интересно.

МАРИЯ (*кладя руку ему на плечо, заглядывая в глаза*). Да вот и картина вся! Что тут говорить. Недолго меня переживешь... Дай руку, не эту – левую, ближе к сердцу...

Надзиратель протягивает руку.

МАРИЯ (*ведет по ладони пальцем*). Линия жизни – обрывается вот... Вот крючок... Значит, тоже умрешь не своей – насильственной смертью... Ваш бывший начальник Симановский сидел здесь? Сидел. И расстреляли ведь?

НАДЗИРАТЕЛЬ (*озираясь, ей доверительным шепотом*). Расстреляли.

МАРИЯ (*приобретая власть над человеком*). А что б ты хотел? Больно много знал, Система таких не шадит. Видишь, сколько нас таких по камерам – сколько?

НАДЗИРАТЕЛЬ. Так не мы – из Москвы спецкоманда прибыла. Наше дело что – запирать, отпирать.

МАРИЯ. И на всех получен один приказ – расстрелять! Ну и, как ты думаешь, после тебя по головке погладят? Симановского не пошадил, своего человека. Мы для них все букашки, сморчки. Злодеи любят прятать концы. После нас твоя очередь, понял?

НАДЗИРАТЕЛЬ (*холодея*). Понял.

МАРИЯ (*настойчиво*). Так что надо делать? Сможешь вывести меня на прогулку во двор?..

ГОЛОС ИЗ КОРИДОРА. Эй, надзиратель! Где надзиратель?!

*Дверь со скрипом открывается – на пороге
Начальник караула.*

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА. Ты зачем в камере?!

НАДЗИРАТЕЛЬ (*вытягиваясь перед ним*). Гражданин начальник. товарищ начальник... Вот хлебушка принес ей (*показывая на стол*). Просила ведь, последняя просьба, живая душа...

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА. Пррриказ нарррушать, морррда?! Вот тебе правый уклон, вот тебе левый уклон! А мы политики не признаем, наше дело – пуще глаза, как зеницу ока...

*И бьет с размаху по лицу Надзирателя – с правой,
с левой руки. Тот стоит навывтяжку перед ним, только
отклоняется вправо, влево вместе с ударами.*

Мария, обессилев, оседает на койку.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

*Та же реальная камера, та же койка. Мария сидит
на ней в задумчивости. Камера уходит в затемнение,
и в глубине комнаты, в ирреальной подсветке, возни-
кает другая комнатка и Мария в ней в своей длинной
белой одежде.*

МАРИЯ (*с венком из кленовых листьев на голове, обращаясь к
зрительному залу*). Видите, этот венок, как будто из ромашки (*снимая его, принимается отрывать по листку*). Любит – не любит... И это июль 1928 года. И я тогда еще молодая – невеста революции. Но Ленин меня невзлюбил... После неудачного июльского выступления большевики, как известно, окончательно нас отстраняют от власти. Все Советское правительство перестает быть двухпартийным, коалиционным. Большевики берут власть в свои руки. Присваивают себе наш лозунг “Землю – крестьянам”, хотя и не думают его выполнять.

Я – лидер партии левых эсеров, эсеровской фракции на Всероссийском съезде Советов. Я требую созыва Учредительного собрания. Более половины делегатов съезда Советов были избраны как делегаты именно Учредительного собрания. Собрание – от всех слоев России. у него другой спектр вопросов. И именно потому, что большинство делегатов готовы были поддержать нас,

нашу партию, особенно в земельном вопросе, я сейчас здесь, на гауптвахте, в Кремле...

Это моя тюрьма. Я только что арестована прямо в Большом театре, прямо на заседании съезда. Я – член ВЦИК, у меня иное отношение к крестьянам и Брестскому миру, чем у большевиков. Я поддержала Ленина по Брестскому миру, и вот у Ленина теперь шекотливое положение. Куда направить меня – в Бутырку, традиционную тюрьму, где левые эсеры отбывали царские сроки вместе с большевиками? Вместе расшатывали прежний режим, вместе вступали в сражение с белыми.

И Ленин придумывает мне эту вот кремлевскую гауптвахту. Я вела дневник тогда. Вот что, слово в слово, я записала:

“15 февраля 1919 года, должно быть, в целях воспитательного лечения или, вернее, чтобы донять, меня перевели в Кремль, в караульное помещение.

Я живу в узеньком закутке при караульном помещении, где находятся 100–150 человек смены красноармейцев. Грязь, шум, гам, свист, нечаянная стрельба, стук и прочее. Мой закуток делится на две каморочки, очень узкие, шага 2,5–3. В моей части окон нет, каменные, чуть ли не трехсотлетние стены и каменный сырой пол”.

А вот из записки от 23 февраля того же года, переданной мною на волю из кремлевской камеры до суда: “Мне здесь не хватает еды. Отсутствие воздуха, тепла, спокойного сна. Обстановка наречно мстительная.

И у меня есть предчувствие, что готовят мне какую-то гадость. Убить меня нелегко, закатать надолго тоже стыдно, посадить в разные бараки, вроде Бутырки и Таганки, – это значит, тоже в неделю убить меня. Кое-какие отрывки сведений, имеющихся у меня из сфер, заставляют меня предполагать что-нибудь иезуитское. Объяснят, как Чаадаева, сумасшедшей, посадят в психиатрическую лечебницу. Им нужно ударить морально, они это изобретут”.

А вот из моего письма тогда же на волю; письмо это, я знаю, было перлюстрировано и передано Ленину:

“Погром страшный. Нельзя допустить, чтобы он был ужасен, как в июле. Я предвидела арест, потому у меня ничего не нашли. Наш путь был открытым, и все о нем известно. Наши резолюции печатаются, и все постановления явные.

... Они опять испробовали испытанное средство. Все равно им это не поможет. Правда за нами, ... хвастаются (здесь в Кремле) будущими расстрелами нас... Я всем существом знаю, что надо

всеми силами воспротивиться провокаторской расправе с нами... Спартаки раздавлены внешней силой, и там реакция. И если еще и нас раздавят большевики, то и наше крестьянство без нас неминуемо будет объектом реакционного захвата”.

А вот еще одно мое письмо из кремлевской камеры, так же перлюстрированное чекистами и переданное Ленину:

“Посылаю вам набросок для прокламаций. Надо это немедленно размножить. Поезжайте в Петроград, потом на Украину, в Харьков... Из Казани вызовите работников. Бойтесь засад в моей квартире. Предупредите про Остоженку. Если в письме этом будет подчеркнуто, значит, надо нагревать... особо секретное можете писать особо, молоком или лимонной кислотой. Пытайтесь растревожить рабочих.

Партия не пропадет.

Целую вас всех, любящая вас Мария”.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Та же реальная камера в Орловском центре.

Мария все в той же своей длиннополой белой одежде.

МАРИЯ (*обращаясь к стене прямо перед собой*). Вы, Владимир Ильич, читали эти письма мои? Вы же профессиональный революционер. Читали. И что же? Представляю вас в Шушенском бродящим с ружьем вокруг села для разминки или сидящим в натопленной просторной сибирской избе, пахнущей свежеспеченным хлебом. А я, хрупкая женщина, сижу в это время в Нерчинском остроге, зарабатываю туберкулез...”

И вот что дальше.

МАРИЯ (*читая на память*). Из тех кремлевских записей, 3 марта 1919 года:

“Бок весь заложен, боль перешла на всю правую часть спины, значит, разыгрывается, как по нотам, туберкулез. Возмутительно, что я так скоро сдаю.

Пришлите мне градусник. Я с каждым днем чувствую себя все сквернее. Надо бы вылежаться, но кровать ужасная, на ней нельзя лежать с больным боком и спиной. Кровать из брусьев и спиц, без досок, матрасишко – грязная тонкая рвань, так что все врезается в тело, я матрас положила на пол и сплю на ровном месте, но пол-то сырой, каменный и очень холодный”.

А вот что дальше было.

“...3–4 марта началось кровохарканье, и такое обильное, как в 1906–8 годах, до зарубцевания. Одна ночь была особенно острая.

Вся подушка была в крови, платочек, полотенце. Зову часового, чтобы он приподнял хоть. — нет голосу. Вытереть кровь с губ, рта, щеки — руки не шевельнутся. Была у смерти. Наконец кровотечение улеглось. Видимо, рана опять зарубцуется”.

И последнее:

“Меня перевели в больницу, а в больнице — в чугунный коридор. Затем в нетопленную комнату, пахнущую плесенью, с каменными сводами. Камера длинная, узкая. Ходить хорошо, шагов 9—10. Сегодня вымерили окна. Будут делать решетки. Значит, вместо санатория они на год приспособливают одну из кремлевских комнат под тюрьму, очень остроумно”...

И вскоре побег из кремлевской тюрьмы. Как это было, когда? А вот так.

Реальная камера Орловского централа уходит в затенение, исчезает. В глубине, в ирреальном подсвете, возникает почти такая же, другая камера — кремлевская гауптвахта.

МАРИЯ (все в той же белой одежде, лежа на койке, слабым голосом). Часовой... часовой...

Появляется красноармеец. В шинели, буденовке, винтовка с примкнутым штыком.

КРАСНОАРМЕЕЦ. Чего тебе?

МАРИЯ. Парень, вытри кровь с губ.

Красноармеец наклоняется, вытирает губы, поправляет подушку.

МАРИЯ. Как фамилия?

КРАСНОАРМЕЕЦ. Малахов.

МАРИЯ. Что, Малахов, не из эсеров ли будешь?

МАЛАХОВ (отшатнувшись от нее). Ты что?!

МАРИЯ (улыбаясь). Ну, из сочувствующих, из крестьян, вижу.

МАЛАХОВ. Почему?

МАРИЯ. Совесть еще есть, сохранилась. Жалостлив к человеку.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

И опять реальная камера Орловского централа. Мария все в той же своей длиннополой белой одежде.

МАРИЯ (задумчиво). Да, я тогда была молодой. И Малахов был молод. И весна была. И я еще волновала кровь.

Побег состоялся в ночь с 1 на 2 апреля. И вот реакция моей партии на этот побег. Вот листовка ЦК.

МАРИЯ (*читая на память*).

“В борьбе обретаем мы право свое”.

“Побег т. Спиридоновой из Кремля.

ЦК партии левых социалистов-революционеров – интернационалистов заявляет, что лица, арестованные по делу о побеге М.А. Спиридоновой, абсолютно не причастны как к самой партии, так и к побегу. В побеге принял всяческое участие только т. Малахов... Принимая во внимание безвыходность положения бежавших в неизвестность и пустоту, смертельную опасность, в которую они себя этим поставили, партия (левых эсеров) предлагает им всяческую помощь”.

МАРИЯ (*нервно ходя по камере*). Шесть шагов от двери к окну, шесть шагов от окна к двери... Для чего я все это вспомнила? Чтобы отвлечься, забыться? Вот и пришла ночь. Вторая ночь перед казнью, моя предпоследняя ночь...

Продолжая ходить. Туда-сюда, туда-сюда. От окна к двери, от двери к окну.

МАРИЯ (*останавливаясь у стены*). Скоро снова раздастся стук. Из каких камер, кого, сколько вывели?.. Нет, прежде во дворе начнет приглушенно работать мотор грузовика, а уже потом этот стук в стене... Я начинаю ждать его, я не справляюсь с собой, молотом бьет в виски... приступ, приступ опять...

МАРИЯ (*приглушенно*). Часовой... часовой... часовой... ни единой живой души.

Товарищ Ленин... товарищ Малахов... товарищу Берия... товарищи...

Приоткрывается “глазок” в двери.

ГОЛОС В “ГЛАЗОК” (*грубо*). Чего тебе?

МАРИЯ. Открой дверь, не бойся.

Дверь со скрежетом открывается. В двери – Начальник караула.

МАРИЯ (*машинально принимая хлеб, усмехаясь горько*). Нет, страну вы все-таки не накормили.

Начальник караула делает шаг к двери, чтобы уйти.

МАРИЯ (*в отчаянье*). Где сын мой, скажите?! Где сын?

Обернувшись к ней, тот стоит какое-то время молча. Затем делает специфическое движение пальцем вокруг виска.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*с хрипотцой*). Куда хватанула! Я тебе кто – начальник тюрьмы? Или этот, как его... наркомвнудел?..

Уходя, тщательно запирает дверь камеры.

МАРИЯ (*колотя в дверь кулаками*). Палачи! Садисты!! Контрреволюция!!! Где сын мой, где сын?..

За окном начинает работать мотор, Мария прислушивается. Через какое-то время в стене слышен привычный постук тюремной “морзянки”. Мария принакает ухом к стене.

МАРИЯ. Так... выведена из камеры Саша Измаилович – подруга моя дорогая, тоже политкаторжанка... На этот раз семьдесят четыре, никак не дотянут до кругленькой цифры...

Мария начинает быстро ходить, бегать, метаться по камере. Она колотит руками по стене, скребет пальцами, сползает в бессилии на пол.

МАРИЯ (*зловещим шепотом, в полузабытьи*). Мне страшно, страшно... я боюсь, боюсь... впервые так, прежде так не боялась (*стараясь взять себя в руки*). Что со мной? Нервами заболела, износилась психически? Столько лет, и все тюрьмы, ссылки, борьба. Я уже забыла, что такое рассвет не в тюрьме, а где-нибудь в деревне, весной в мае месяце, когда неистовствуют соловьи. Зачем я жизнь прожила, для чего? Для страданий? А я ведь женщина, в потенциале – любовница, жена, мать семьи. Я была рождена для любви.

Мне же только пули, винтовки, запах пота всех этих тел – грязных, невымытых моих палачей...

Клара, Клара родная, приди ко мне, появись! Мне страшно, мне страшно пасть духом, страшно оказаться вдруг слабой, упасть перед ними, просить. Не стоят они того, а я уже не могу... не могу.

Справа, на привычном месте, в ирреальной подсветке появляется Клара Цеткин. Сидит, как обычно, на табурете.

МАРИЯ (*падая перед ней на колени*). Где мой сын, Клара, где сын мой, скажи!!!

КЛАРА (*глуховато, как с того света*). Не знаю, Мария. Но что тоже в тюрьме – это точно.

Тихо звучит “Аве Мария”. Где-то отдаленно кричит сын.

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Та же реальная камера Орловского централа. После рассвета. Обессиленная, Мария лежит неподвижно на койке.

МАРИЯ (*с усилием поправляя подушку*). Солнце встает, за окном поют птицы – дневные птицы, а не эти сычи. И жизнь продолжается, но тебя уже не будет, Мария. Как любили тебя все, кто тебя когда-либо знал. В доме, в деревне, в партии, даже в тюрьме. Только не в этой, а в той – еще царской, ленинской. В этой – тебе конец, этот день – последний день в твоей жизни. Сегодня все так же, как и вчера, а завтра уже не будет так же, как и сегодня...

Ты ждешь ее, эту белую Чайку. Она пролетает в одно время. От реки, мимо окна твоего, наискосок. И будет пролетать, пока льдом не скует течение Оки, снегом не запорошит поля. Но это будет уже без тебя... О чем никогда не думала, так это о том, куда деваются на зиму чайки, улетают на юг? Все некогда было подумать о самом главном в жизни за революцией, революционной борьбой...

Сейчас принесут суп-“горлодер”, который, действительно, дерет горло. И хвост ржавой селедки. Все лучшее – фронту... Ты знаешь еще одну важнейшую государственную тайну, из-за которой тебя и расстреливают. Эта тайна заключается в том, что они и с той, и с другой стороны фронта зашли в тупик, не знают, как вести массы. И вот и те, и другие бросают их в топку – была не была, куда вывезет... А все дело – в земле, землю – тем, кто ее обрабатывает.

Скольких войн, сколько крови можно было бы избежать...

А фронт уже вот, перед носом. Чем тратить последние силы на таких, как я, в конце концов, патриотов, подумали бы об обороне. Как лучше защитить, спасти хотя бы этот наш русский город. А то ведь наверняка обнаружится какая-нибудь прореха, которую придется затыкать кровью. Ждут врага, естественно, с запада, откуда ж еще? А он зайдет с юга. И те, что обороняются с запада, сидят себе в своих траншеях – окопах, а враг уже за спиной. Танковые гусеницы колотят по городской мостовой, мимо хлебных очередей, мимо складов со ржавой селедкой. На Москву, на Москву!..

МАРИЯ (*вставая и начиная ходить по камере*). Или говорю что-то не то, недостаточно патриотично? Страна в таком напряжении сил. А расстреливать нас патриотично? Даже сейчас – геноцид, истребление нации, генофонда – мыслящих, могущих, умеющих что-то...

А, вот он, и Надзиратель, два удовольствия сразу! Чайка летит, и подают суп. Что же выбрать – духовное или материальное? Большевики – вульгарные материалисты, они взяли Маркса в чистом виде, вне диалектики жизни и потому сделали его догмой, стереотипом. И тем самым Систему свою обрекли на конечный провал... Но мы выберем Чайку. Будем смотреть, как она пролетает,

летит, машет крыльями. Это уже ритуал... А супчик успеется, Надзиратель попозже. А куда они денутся, подождут, не облезут эти наши надзиратели всех мастей, всех времен и народов. Сегодня мой день – последний день живу на земле...

Мария стоит у окна, провожая взглядом летящую птицу. Надзиратель нетерпеливо стучит ложкой по миске – по железу железом. Наконец, Мария подходит к “глазку”.

МАРИЯ. Я вас слушаю, господин Надзиратель.

ГОЛОС В “ГЛАЗОК”. Сколько раз говорить! Не господин, не товарищ, а гражданин Надзиратель. И уже не Надзиратель, а Контро-лер!

МАРИЯ (*вспыхивая*). Я так привыкла! Что думаю, то и говорю, мое дело, рот мне не затыкайте. Революцию делали не для товарищества, господин Надзиратель.

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Та же реальная камера. Мария в той же своей долгополой белой одежде.

МАРИЯ (*поднимаясь с койки*). Солнце садится. Нельзя спать, голова будет болеть (*машет рукой*). Э, да ладно, не все ли равно. Жить-то осталось всего ничего – вечер, ночь... до рассвета... Страшно подумать, подумать страшно...

Как пахнет яблоками! Как же пахнет! Это ветер ворвался в открытую форточку. Знаменитые антоновские яблоки, воспетые Буниным... Сколько в этом краю писателей! Первый в стране литературный музей – тургеневский! И самая жестокая секта – скопцы – тоже отсюда! И самый жестокий централ из всех централов – Орловский! Готовые пресекать всякую любовь, оскотлять мужчин и женщин. Значит, классики работали тут впустую? Нравы литература не улучшает?..

Часовой! Гражданин начальник! Товарищ Надзиратель! Контро-е-еррр!.. дайте мне Адамово яблоко! Я хочу яблок, яблок мне принесите, ну хоть бы одно-единственное, вы меня слышите?!

Ни звука. И в стену этой ночью уже не застучат, не просыпят “морзянкой”. Подошел наш черед, твой черед, Мария!..

Как же противно пахнет яблоками, этими знаменитыми антоновскими яблоками, воспетыми классиком. Как отвратительно! Я не хочу яблок, но они предо мной – золотые, наливные, сахаристые – сохнут, морщатся, стареют прямо у тебя на глазах. И сок их смертелен, как яд гремучей змеи, как керосин, как охотничий порох, разведенный на молоке...

Часовой! Охрана!! Я хочу молока, хочу пороха, разведенного на керосине. Я хочу пить его из фужеров, как когда-то, когда жива была мама и я была не тюремная крыса, не княжна Тараканова, а просто дворянка мелкопоместная, я хочу пить из фужеров шампанское... и не хочу, чтобы стреляли в яблоко, в знаменитые антоновские яблоки, воспетые классиком... Господи, надо держаться, не дать ускользнуть главной мысли, оторваться не дать...

ГОЛОС В "ГЛАЗОК" (*наконец-то, грубо*). Чего бесишься? Завтра еще принесу тебе ситного. А то все тебе не накормили народ, страну тебе не накормили! Га-га-га...

МАРИЯ. И грачи, галки, видите, как встряхнули черными крыльями, взметнулись с пола камеры ввысь и заполнили все жилое пространство, всю камеру. И нечем дышать, слов никаких, все слова там, за окном, за решеткой, а здесь только черные птицы, они бьют черными тряпками по лицу, по глазам, по голове... И вот он, характерный ленинский говорок: мы должны экспроприировать землю, а вас ликвидировать как класс... И характерный сталинский выговор: мы клянемся тебе, товарищ Ленин, выполнить и эту твою последнюю заповедь...

Часовой! Где мой сын, где сын мой, скажите, скажите!..

Шатаясь, Мария опирается рукой о стену. Нащупывает жестяную кружку, пьет жадно, оседает на койку. Сидит, приходя в себя. Встает снова.

МАРИЯ (*настойчиво*). Часовой! Гражданин начальник! Товарищ Ленин! Где мой сын, где сын? Господи, наконец-то я слышу собственный голос. Значит, все, что говорила до этого, было сказано шепотом, просто шепотом? И никто не слышал меня?.. Где же сын мой? Лаврентий, ты слышишь меня, где мой сын?

СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ

Та же реальная камера в Орловском центре. Там же в своей длиннополой белой одежде Мария. Бормочет про себя: "Вспышка вкуса – к антоновским яблокам. Вспышка памяти – к вопросам, вопросам!" Камера уходит во тьму, в глубине, в ирреальной подсветке, возникает другая камера. Низкая, тесная, некуда глянуть. Это комната следователя.

1-й следователь склонился над лампой. За спиной над ним портрет на стене. Перед столом – Мария.

1-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*поигрывая брелоком*). Ночь уже на исходе, а вы все на своем. Вы что, одна у нас, что ли? Вон вас сколько,

особо опасных, а нас всего пятеро – весь следственный аппарат.

Мы просто с ног сбились, защищая Советскую власть.

МАРИЯ. Я – Советская власть! Мы с Лениным забирали власть у прежнего режима, мы – члены ВЦИК, у истоков стояли.

1-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вы – враг революции.

МАРИЯ. У нас даже партия так называется – эсеры, социалисты-революционеры. Революция у нас была общей.

1-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вы – враг народа.

МАРИЯ. Я сама народ, в крестьянской России я лидер крестьянский, вожак народных масс.

1-СЛЕДОВАТЕЛЬ (*читая бумажку*). "...перед оргбюро ЦК ВКП(б) по Орловской области и перед органами бдительности по личному указанию тов. Сталина..."

МАРИЯ (*перебивая*). Не сокращайте, читайте не как написано "тов.", а полностью "товарищ".

1-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*отрываясь от бумаги*). Какой "товарищ"?

МАРИЯ (*твердо*). Товарищ Сталин.

1-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Кому "товарищ", вам "товарищ"?

МАРИЯ. Всем "товарищ", а значит, и мне.

1-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*наливаясь кровью*). Гусь свинье не товарищ.

МАРИЯ (*еще спокойнее*). Ну вот и договорились. И кто вам "гусь", а кто вам "свинья"?

1-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*вскакивая, но не находя слов*). А вот я тебя ... ты у меня... "испанский сапог" знаешь? А русскую "дыбу"? А "жerdочку" знаешь? А "шкаф"?..

МАРИЯ (*совершенно спокойно*). А как вы думаете? Столько раз к смерти приговариваться, столько просидеть при всех режимах и не знать? Вы изощреннее стали...

1-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*продолжая читать*). "... вождя народов товарища Сталина и руководителя Советской разведки тов. Ежо..."

МАРИЯ (*поправляя тут же*) "... товарища Берии", Ежова уже расстреляли. И Симановского, выдержку из речи которого вы читаете – перед партактивом в 1938 году, тоже уже расстреляли. Пора документики-то освежить, заменить какими поновее, а то ненароком нарветесь... Да это я так, из добрых чувств, знаю, как вы все тут выслуживаетесь... Нет, я ничего, а вы читайте, читайте...

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*сидя какое-то время молча, играя желваками*). Свежее нет! "... и руководителя Советской разведки товарища, э-э, Берии стояла задача – выявить и уничтожить руководителей и участников правотроцкистских формирований и их базу

из остающихся недобитых кулацких повстанческих, эсеровско-меньшевистских и других прослоек”.

МАРИЯ. Это – террор!

1-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Да, красный террор! Мы это не отрицаем. Ленин сказал: “Всякая революция тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться”.

МАРИЯ (*ехидненько*). Как вы думаете, эсеры, меньшевики, кулацкие повстанческие “прослойки” – это народ или не народ?

1-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*четко*). Нет, не народ.

МАРИЯ. А большевики?

1-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*распрямяясь*). Конечно, народ!

МАРИЯ. И что же? В таком случае народ – это одни большевики?

1-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Кхм-кхм.

МАРИЯ (*усмехнувшись*). Представляю, народ из одних только большевиков. Остальные – враги народа.

СЦЕНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Там же, в воспоминаниях, – камера следователя. Мария в той же длиннополой белой одежде. Но следователь уже другой.

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ты у меня, сука, не выйдешь отсюда, пока не подпишешь собственноручно показания о своей контрреволюционной деятельности!

МАРИЯ (*шатаясь, монотонно*). Это незаконно, конвейерная система допросов...

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ты у меня заговоришь, я тебе язык развяжу!

МАРИЯ (*с глубокой усталостью*). Я не сплю уже пять суток. Вы работаете парой, вы отдыхаете по очереди...

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Десять–пятнадцать суток не будешь спать. У меня нет несознавшихся, мое отделение является краснознаменным.

МАРИЯ (*с горькой усмешкой*). Зачем вам тогда мои “собственноручные” показания? У вас же есть “конструкторское бюро”. Оно же наши показания, даже наши протоколы потом заостряет, преувеличивает, искажает в нужную вам сторону. Так что мать родная потом не узнает чадо свое...

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Подписывай протокол, и без разговоров. Вал, каток идет, сомнет ведь.

МАРИЯ (*падая*). Все равно я у вас террористка... диверсантка... психопатка...

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Часовой, воды!

Берет из рук часового ведро, окатывает водой лежащую на полу Марию.

Мария шевелится, оживает, встает. Снова стоит перед следователем.

МАРИЯ (*хрипло*). Что с мужем моим – Майоровым?

Молчание.

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*взрываясь наконец*). Ты что издеваешься, да? Кто из нас следователь – я или ты? Кто из нас должен задавать вопросы?

МАРИЯ (*приходя в себя, оживляясь*). И без вопросов... вы скоро будете за все это отвечать. Вас, например, приговорят к “вышке”. А вот вашего напарника нет.

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*невольно*). Почему?

МАРИЯ. А потому, что слишком уж твердолоб. Ваш соперник погибче. Он, например, вовремя катнул на своего непосредственного, даже на Симановского, а вот вы лично нет и этим гордитесь?

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*несколько рассеянно*). Н-да... и этим горжусь...

МАРИЯ (*тверда уже*). Ну тогда и не спрашивайте, почему они вас расстреляют! Сами знаете: за соучастие в одной организации с Симановским, который, как известно, является участником антисоветской заговорщицкой организации, существовавшей в органах НКВД... Знаете, что запишут вам в обвинении? Вот что: “По заданию Симановского вы проводили вражескую подрывную деятельность в оперативно-следственной работе в УНКВД по Орловской области...”

“При проведении операции по изъятию контрреволюционных элементов вы проводили необоснованные аресты, широко применяли запрещенные законом извращенные методы следствия: фальсификацию следственных документов, избивание арестованных и т. д.”.

Вот такие-то “перегибы”.

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*встревоженно*). А откуда ты знаешь все это? Колдунья, что ли?

МАРИЯ. Знаю, что было, потому и знаю, что будет. Система-то одна, приемчики те же... Где сын мой, что с сыном?

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*вздыхнув*). Не знаю. Но попробую что-то узнать.

СЦЕНА ПЯТНАДЦАТАЯ

Снова та же реальная камера Орловского централа. Та же железная койка. Мария все в той же своей длиннополой белой одежде.

МАРИЯ (*сидя на койке*). Вот и ночь уже подступила, господи, моя последняя ночь... Всего-то несколько часов до рассвета, с мышинный хвостик... В ногах никаких сил... Я лечу вниз куда-то, в какую-то бездну, провал... Там, на дне, белеет Истина... Как долго разматывается эта цепь, я еще не умерла?.. Вот наконец эта цепь и кончилась... И ничего дальше... дальше круги, круги – и ничего... Одно круженье – ни точки, ни зги... А где же Истина? Ее нет в пустоте. А что же цепь – зря тянулась сюда? И сейчас не может никак удлиниться? Вокруг властвует темнота, здесь – темница, а в сердце – страх, один только страх, кошмары и ужас...

Мне страшно, Клара. Где ты, почему не приходишь? Ты же ведь обещала приходить ко мне, когда мне будет страшно. Обещала ведь и сказать наконец, где мой сын, где сын мой?! В какой тюрьме, здесь?..

Вот он наверху надо мной, в этом колодце, – свет какой-то, сиянье! И я, как маятник, лечу туда к нему снова, и сам он навстречу мне – сын... такой же, как и был, когда я его оставила, когда его от меня забирали...

Из темноты к Марии выходит кто-то – в такой же белой длиннополой одежде, это мальчик лет десяти.

Мария падает перед ним на колени, протянув к нему руки, так и идет на коленях.

МАРИЯ (*задыхаясь от радостных, горьких смешанных слез*). Я знала! Я знала! Я знала!... Прости меня, прости меня, прости!.. Я женщина, а не поняла самого важного: когда цепь разматывается с воем, не обрыв ее – главное, а срыв, не конец ее, не революция, а длина, удлинение, гибкость цепи, бесконечность перехода... а еще главное – свет над провалом, над головой... Не то говорю, мой мальчик, малыш... Твоя мать тебе говорит не то. Я по тюрьмам сидела, говорить тебе так и не научилась – простых материнских слов...

СЫН МАРИИ (*приближаясь к ней*). Мама!

МАРИЯ (*делая движение к нему на коленях*). Я говорю фальшивые, никчемные – плохие слова. Я хотела бы их забыть сейчас, вспомнить простые материнские, бабушкины, какие слышала в детстве сама; но я растеряла их все, я не знаю...

СЫН МАРИИ (*вплотную приблизившись*). Мама, мамочка!

МАРИЯ (*рыдая*). Ты будешь жить долго, живи, мой сын, за нас с отцом, ты хотя бы живи! Любовь моя, кровинка моя, свет Истины на дне моего провала... Сияй, мое солнышко, мой одуванчик, ты ярче всех одуванчиков в мире, ярче тысячи солнц...

Вот и светает. Это свет уже над моей могилой. Вот уже заработал мотор... и я ухожу...

СЫН МАРИИ (*обхватив за шею ее*). Мама, мама, ма-а-а, ма-а-а!!

Ржавый скрип двери.

ГРУБЫЙ КРИК С ПОРОГА. Выходи! Без вещей!

МАРИЯ (*иступленно*). Я люблю, я люблю... я люблю...

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*вбегая в камеру*). Я узнал! Я узнал, твой сын умер, его тоже нет!

МАРИЯ (*падая замертво*). Клара, Клара, Клара-а-а!..

Из тьмы в такой длинной белой одежде возникает фигура – другая женщина. В руках ее – горящая свеча. Она поднимает ее, заслоняет собой и свечой лежащую без движенья Марию.

ГРУБЫЙ ГОЛОС ИЗ ДВЕРИ. Эй, кто ты такая? Вон отсюда! Кто ты?

ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ. Я – Клара Цеткин! А это – в руках моих – огонь Истины. А его не спрятать, ни в какую материю не завернуть.

Под руки Марию выводят из камеры. Мотор во дворе начинает работать сильнее. Кричит в отдалении сын. Пауза.

Одиночный выстрел. Частая автоматная очередь. Белая чайка на узком полотне перед залом замирает, перестает махать крыльями. Затем, набирая скорость, еще быстрее начинает работать одним, своим вспыхнувшим вдруг, белоснежным крылом.

Так и летит поедва осязанным волнам моцартовского “Реквиема”.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Медведевский лес под Орлом. Место захоронения жертв печально известного орловского расстрела. Под матерой плакучей березкой пожилой человек с лукошком, одетый под грибника.

ЧЕЛОВЕК С ЛУКОШКОМ. Они посадили на этом месте деревья. Здесь тоже шумит теперь лес. Но я рожден в пик лета, в Иванов день, в День Русской Березы, и ты, родная, все шепчешь мне, шепчешь... И я знаю о том времени почти все...

Наплывают отдаленные звуки “Реквиема”.

ЧЕЛОВЕК С ЛУКОШКОМ (*прислушиваясь к ним*). Это – Моцарт! А Моцарт был посвящен в тайны. В звуках его “Реквиема”

передано состояние уже после смерти, когда душа совсем еще не отделилась от бренного тела, живет еще, витает, пораженная случившимся, еще осмысляет, что же случилось... Три дня и три ночи до смерти там, в Орловском центре. И три дня и три ночи потом, после смерти, тут, в Медведевском лесу. Как в зеркале. В состоянии инобытия...

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Там же. Но иной уже, ирреальный подсвет леса. И деревья еще молоды, саженцы. Свежевскопанная земля. У тоненькой склоненной березки – Мария все в той же своей белой длиннополой одежде.

МАРИЯ (*печально*). Мы вступили в мир теней, в мир фантастики. Это не я сама, это тень моя. Дух мой встал над могилой, приподнялась над телом душа. Почему я здесь, что произошло? Я лежу, мне тесно, вокруг меня другие тела. Я слышу запахи сырой земли, мне нечем дышать, где я? ... Ужас парализует руки, ноги, я не могу шевельнуться...

Отдаленно возникает “Аве Мария”.

МАРИЯ (*прислушиваясь*). Ах да! Я, кажется, начинаю понимать, что со мной. Я вспоминаю, передо мной проходит вся моя до подробностей жизнь... Зачем я жила, чего добивалась? Что осталось от меня в той, реальной жизни, кроме этой моей отделившейся тени? С шелестом падают сентябрьские листья. Скрипя, растут где-то поблизости грибы осенние, опята. С опушки в лес зашли дети – смеются, играют между собой в “пятнашки”. На их лицах солнечные блики, а с детьми их мать... Я чувствую эти запахи осени: палой листвы, вянущих трав, откуда-то веет созревшей антоновкой... Я все вижу, все слышу, все ощущаю, все ко мне сюда, в одну сторону, но сама я ничего не могу уже ни сказать, ни выразить, ни передать... В Англии есть музей восковых фигур известных людей мира, и самая популярная среди них – Спящая Красавица. Она лежит века неподвижно, все видит, все слышит, все чувствует в другом измерении, но ничего не может сказать, – просто ужас!...

За свою жизнь я слишком много чего наговорила, теперь можно и помолчать. Я несу этот крест. Немота мне как замок на устах. Ничего не могу сказать о красоте осени, осеннего леса, где витает мой Дух. Не могу выразить всего ужаса, в котором находится мое бедное Тело среди других таких же, лежащих ничком, вповалку, кто как упал...

Я слышу, как лязгают затворы, как гремят гусеницами танки Гудериана, приближаясь к Туле, как они идут по полям, прямо по ржи, по пшенице, как вдавливаются, вминается сталь в живое тело Земли. А я и пальцем не могу пошевелить, не могу... Холод сковал мое тело, сырость объела и глухота. Зачем я была? Чтобы дать пищу червям, разложению, истлеть и исчезнуть, как и не была?

Когда спросили Дзержинского, как бы он хотел жизнь прожить, если бы все пришлось начинать сначала, он сказал: я бы прожил ее так же.

Боже, избавь нас! Но я не знаю, как я бы жила, если бы ... если бы... Мне страшно, мне жутко, мне больно, обидно... За себя и за тех, кто со мной рядом. А ведь это были не худшие люди...

МАРИЯ (*смеясь, радостно махая руками*). Девочки, девочки! Идите сюда, вот грибы, вот красивые листья с клена... Вы меня слышите? Нет?.. Я вижу их, слышу их – счастливый смех, дети, они же не видят, не слышат меня, между нами черта. И скоро, очень скоро мир вычеркнет, забудет тебя, Мария. И в том мире, если кто-то не слышит кого-то, значит, кто-то не прав, кто-то умер уже, не живет...

Клара, моя дорогая Клара Цеткин! Я, наверное, никудышная революционерка. Мой Дух, отделяясь от Тела, отрывает меня, поднимает над твердью земной, я уже едва касаюсь ногами Земли, и страхи, все чувства во мне исчезают. Всю жизнь я положила на то, чтобы ее, этой земли, было больше, чем эти два метра, тому, кто ее обрабатывает... Я боролась за это, отдала, что имела. “В борьбе обретаем мы право свое!” В борьбе обре...

МАРИЯ (*держась за тонкую, склоненную к ней березку*). А все начинается с молодости, когда выбирают. Так что мой Путь – это Путь Революции или Путь Женщины – Хранительницы Очага? Я спорю с собой, я не согласна опять, бунтует душа...

Ирреальный свет угасает. Мария, Медведевский лес, березка – все уходит в мерцание, в полутьму.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Там же. Березка, Медведевский лес, Мария – все опять в ирреальном мерцании, в полутьме. А сбоку, правее, уголок крестьянской избы. У избы человек в форме жандармского офицера.

ЖАНДАРМСКИЙ ОФИЦЕР. Я – Луженовский! Помнишь меня, Мария? Я – совесть твоя, беспокойная жизнь... Ну, вот мы и встретились. Не на этом, так на том свете... Помнишь 1906-й год. Тамбовщина,

город Козлов? Ты тогда стреляла в меня в упор, одной пулей отправила к праотцам. И теперь мы квиты, ты тоже здесь. Не я это сделал, не мои люди – твои товарищи, соратники по революции. Ну и как тебе тут – хорошо?.. Ты думала, что ты – последняя интервенция, что Истина – только в тебе...

МАРИЯ (*глухо*). Я была молодой, но не такой тщеславной.

ЛУЖЕНОВСКИЙ (*с горькой усмешкой*). Не бойся, говори все, как есть. Я тебя уже не расстреляю, тут у нас не расстреливают, тут у нас все равны... Как говорят там наверху, за прописку я с тебя ничего не возьму. Каждый имеет право на свое место. Это в той жизни люди часто занимают не свои места, борются за чужие. В этом-то и вся трагедия человечества

МАРИЯ (*уже увереннее*). Мне не нужно ваше сочувствие, я получила то, что мне причитается... Но все равно, если бы пришлось начинать, я бы начала все сначала. Вы убивали людей – крестьян, тружеников, которые кормят нас... убивали без суда и следствия.

ЛУЖЕНОВСКИЙ (*иронично*). Что ж, и тут классовая борьба? И тут мы на разных полюсах?

МАРИЯ (*твердо*). На разных.

ЛУЖЕНОВСКИЙ (*иронично, нагляя*). Вот ты в белом?

МАРИЯ (*как эхо*). В белом.

ЛУЖЕНОВСКИЙ. А почему же я не в черном тогда? Видишь, я в офицерской форме.

МАРИЯ. Пал не собственной смертью.

ЛУЖЕНОВСКИЙ. Видишь, кто-то все-таки пожалел.

МАРИЯ (*вздыхнув*). Если бы в мире не было жалости, совести не было, все бы рухнуло.

ЛУЖЕНОВСКИЙ (*с горечью*). Все и рухнуло.

МАРИЯ (*обретая уверенность*). Если, думаете, нас в мире нет, то мир, значит, рухнул? Нет!

ЛУЖЕНОВСКИЙ. Ты уверена, Мария?

МАРИЯ. Да!

ЛУЖЕНОВСКИЙ. На каком основании?

МАРИЯ. На основании того, что мы все-таки изменили главное: отношение к земле как собственности.

ЛУЖЕНОВСКИЙ. Ха-ха-ха, какая собственность! Вы все на одну коловку, милые мои революсьонерчики! Землю крестьяне у вас не получили поныне.

МАРИЯ (*твердо*). Да, но айсберг сдвинут! Отношение к земле все же изменено. И мы были первыми...

ЛУЖЕНОВСКИЙ. Столько крови и такие ничтожные результаты.

МАРИЯ. Такое сопротивление! Это говорит о том, что мы, эсеры, угадали главное направление, корень противоречия – это земля, кому она принадлежит.

ЛУЖЕНОВСКИЙ. Много на себя взяли. И вот весь век только и делаете, что сражаетесь, боретесь. А когда же работать-то будете?

МАРИЯ. А вот когда вас таких... в чинах, в портупях.... будет поменьше.

ЛУЖЕНОВСКИЙ. Все хорохоришься! А ведь уже не молодая и черту перешла. Пора бы и остепениться, революсьонерка!

МАРИЯ. Дело не в возрасте. А в состоянии души, в справедливости... Все говорят теперь, рассуждают: нужна была революция или нет? Как вы считаете, Луженовский, нужна была или не нужна? Знаю, что скажете. Вы же хранитель устоев – прежних, пришедших в негодность, прогнивших.

ЛУЖЕНОВСКИЙ. В крайнем случае надо было бы отремонтировать...

МАРИЯ (*подхватывая*). Видите? Что вы говорите теперь, а тогда? Если революция произошла, значит, она была кому-то нужна? Прежде крестьянам...

ЛУЖЕНОВСКИЙ. (*махнув рукой*). Ладно, довольно. Обижайся, Мария, приходи. Я на тебя зла не держу. Мы теперь в одной роли, в одном времени – в прошедшем.

МАРИЯ. Нет! Я с тобой за один стол не сяду.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Там же, в Медведевском лесу. Светает. Мария все в той же своей белой длиннополой одежде. В стороне слышны крики, стоны, множество голосов. Команды по-немецки: "Ахтунг, ахтунг!.. Вер флюхтер!.. Нарр, нарр – русский дурак, шайзе!..."

МАРИЯ (*стоя у Березы*). Они уже в городе? Проскочили, как и предполагала?... Чего им тут, в лесу, надо?... А мне укрыться, как обычно, превратиться в Березу? Да нет же! Для живых ведь я не существую, я их вижу, слышу, ощущаю – они меня нет...

На поляну вбегают немецкий солдат с автоматом. Оглядывает местность. Замечает Березу.

НЕМЕЦКИЙ СОЛДАТ. Гут, гут, берёза! (*каблуком оземь*). Тут плохо копать лопате... уффф!.. там лючши...

Стреляет в Березу и убегает. Тихо падают листья с Березы.

МАРИЯ (*опираясь спиной о ее ствол*). Вот они в Орле! Оккупация... И все же зачем они здесь, в лесу? Стены, стенанья, русская речь... Неужто опять то же самое?..

За сценой команда на немецком. "Партизанен? Зольдатен?" И смех. Непонятная, длинная фраза.

МОЛОДОЙ ГОЛОС (*по-русски, в ужасе*). Я не хочу умирать!.. Не хочу! Пошадите...

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (*строго и тоже по-русски*). Перестань! Пришел час, умрем же достойно!

МАРИЯ (*волнуясь*). Это наши! А это "расстрельная" команда, но уже немецкая... Опять казнь? Опять они все оттуда, из Орловского централа?.. Жизнь ходит кругами. К сожалению, всякая власть тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться...

Мария пытается броситься к ним туда, хочет сделать движение, хотя бы шаг.

МАРИЯ (*с болью*). Нет, я не могу, я ничего не могу, даже сдвинуться с места! Я – тень, я – ничто, таковы правила игры для меня и для многих...

Автоматная очередь. Одна, вторая, третья. Хрипы, проклятия, крики боли. Затем через равные промежутки одиночные выстрелы.

МАРИЯ (*в ужасе*). Добивают!.. Тех, какие еще шевелятся!.. Все, больше не стреляют, конец...

Прислушивается к шуму леса.

МАРИЯ. Сейчас заработает мотор. И они уедут на своем автомобиле в свой Орловский централ – допивать свой шнапс, делить вещи убитых. Как все это знакомо, а им, мастерам своего дела, даже привычно... Если враг не сдастся, его уничтожают... заговор императоров, удовлетворение амбиций... И в том, реальном мире, который уже полыхает, все делят зоны влияния, все свою власть укрепляют. А падают замертво простые, обычные, смертные люди – с землистыми лицами, со сбитыми вкось каблуками... Они качают деревья, стирают подошвы и каблуки.

Где-то начинает стучать о дерево дятел.

МАРИЯ (*горько*). Поздно, милый, поздно! раньше бы стучал... А тут, в этом мире теней, все спокойно, без распрей. Без выстрелов, без дележа. Главное, без начальников и подчиненных.

Все осталось там, за чертой... Военные спецы сделали армию, которая победила белую, чиновные спецы скопировали госаппарат, который и убил в конце концов революцию. Такая же мощь, исхиренность, плюс новейшая ложь, вседозволенность – вот какой это монстр, рассеявшийся на столетия, нет, тысячелетия, дракон со множеством голов, хамелеон с переливами цветов и оттенков – наподобие конфуцианского Китая, фараонского Египта, древнеримской империи. В Древнем Китае, Древнем Египте госаппаратчики просидели по пять тысяч лет; в Древнем Риме уже поменьше, период исчислился сотнями лет, а тут уже идет счет на десятки лет, на годы...

Мы все оказались им “лишними”. И с той стороны скопа, и с той – они убирают “лишних” людей. Какая разница чем – войной ли, концлагерями, дефицитом, безденежьем, мы все их заложники, жертвы. Мешаем им, отбираем жизненное пространство, не даем наслаждаться, упиваться бредовыми замыслами, окончательной бездарностью экономических доктрин... Наша воля, таланты, энергии им не нужны, убьют и забудут вас завтра же. И если кто-то и вспомнит нас, то только в семье, если кто остался в живых, в народе, если очистится совесть...

Кукушка перестает куковать.

МАРИЯ. Сыночек мой, где ты? И тут тебя что-то не вижу... И матери хочется верить, что там ты, живой. Но тут ты, в этом мире теней, среди нас...

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Там же, в Медведевском лесу. Мария в той же одежде, у той же Березы. И все в ирреальном под свете. В глубине сцены возникает реальная комната – железная койка, зарешеченное окно.

МАРИЯ (*выдвигаясь из тьмы, обращаясь к залу*). Это все воспоминания. Кажется, закончилась первая ночь после расстрела, после того, как я попала сюда, в этот мир. И это моя вторая ночь тут, за чертой.

Видите в окне силуэт Спасской башни? И эта комната – моя тюрьма в Кремле, куда меня заключили после ареста прямо в Большом театре. Помните, Клара Цеткин писала письма тогда Владимиру Ильичу...

И тень перед Марией. Это тень Ленина, он в праздничном своем костюме.

ТЕНЬ ЛЕНИНА (*с характерной картавинкой*). Какая же это тюрьма, Мария? Это всего-навсего гауптвахта, куда тебя временно препроводили.

МАРИЯ (*вздрагивая от неожиданности*). Вы – Владимир Ильич?

ТЕНЬ ЛЕНИНА (*пожимая плечами*). Да ну кто же еще? Можем теперь встречаться тут просто, без всяких этикетов.

МАРИЯ. Зачем?

ТЕНЬ ЛЕНИНА. Чтобы выяснить наши позиции, в чем суть наших разногласий.

МАРИЯ. Прежде всего – в земельном вопросе.

ТЕНЬ ЛЕНИНА. Э, нет, дорогая Мария Александровна, так не пойдет. В чем именно?

МАРИЯ. Вы взяли наш лозунг “Землю – крестьянам”. А землю крестьянам так и не отдали.

ТЕНЬ ЛЕНИНА. Кто именно? Мы – старые большевики, партийная гвардия, делавшая революцию? Или, может быть, кто-то другой?

МАРИЯ. И те, что клялись выполнять ваши заповеди.

ТЕНЬ ЛЕНИНА. Мария, ты всегда отличалась бескомпромиссностью.

МАРИЯ. В вопросе о Брестском мире вы тоже, Владимир Ильич, пошли против ЦК, абсолютного большинства своей партии. И я тогда поддержала вас.

ТЕНЬ ЛЕНИНА (*смеясь раскатисто*). Тонкая тактика. Рассчитывала вбить клин между мной и партией? Не получилось.

МАРИЯ. Из-за земельного вопроса, собственно, меня и упекли в эту вот каталажку... сюда, к солдатам...

ТЕНЬ ЛЕНИНА (*смеясь*). Какая памятливая! Все помнишь... И не к “солдатам” препроводили, а к “красноармейцам”. И не в “тюрьму” в Кремле, в Кремле нет и быть не может тюрьмы. Это – Кремль, дьявольская разница!

МАРИЯ (*настойчиво*). Так как же насчет земельного вопроса, Владимир Ильич?

ТЕНЬ ЛЕНИНА. Что именно?

МАРИЯ (*еще настойчивее*). Почему землю крестьянам все же так и не отдали? А ведь были искренни...

ТЕНЬ ЛЕНИНА (*иронично*). Искренними были мы, большевики. Хотя бы от “Искры” – нашей газеты... А если всерьез, то почему же землю крестьянам мы не отдали? Отдали. Но это вопрос с “бородой”, имеет свою историю. В нашем крестьянстве испокон веков дух коллективизма, знаете ли, крестьянская община – мы были за кооперацию. И крестьяне, как видите, нас поддержали...

МАРИЯ. Мы это уже слышали. А вы лично, может, и нет. Колхозы создавались уже после вас...

ТЕНЬ ЛЕНИНА (*смеясь раскатисто, по-молодому*). Слышали о такой юридической формуле: закон обратной силы не имеет?.. Что же, по-вашему, я лично имел непосредственное воздействие на то, что было потом?

МАРИЯ. Вы закладывали фундамент.

ТЕНЬ ЛЕНИНА. И что?

МАРИЯ. Если бы земельный вопрос был в крестьянской России решен, они бы сюда не пришли, их бы сюда не допустили.

ТЕНЬ ЛЕНИНА. О ком вы?

МАРИЯ (*с горечью*). О тех, что только что тут, в лесу, стреляли в патриотов, не остыли еще автоматы.

Начинается ветер, тени исчезают. Деревья раскачиваются, упрямо шумят, в крошечной тьме перемигиваются огни. Отдаленные крики сына.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Все та же ирреальность. Мария все там же, в Медведевском лесу, у той же Березы.

МАРИЯ (*выдвигаясь из тьмы*). Ну, вот и встретились, поговорили...

Действительно, у того света, где я теперь, за чертой, есть, оказывается, и кое-какие преимущества. По крайней мере могу вызвать любую тень, поговорить тет-а-тет, как тень с тенью... Кажется, я начинаю уже привыкать к новому своему состоянию... Страх уже не сковывает меня, да и тела-то нет, нечего сковывать. А душу, Дух мой мыслимо ли сковать? Там решилась на все (должен же хоть кто-то говорить Правду, иначе что будет с людьми, с человечеством, со всей человечностью), а уж Тут-то...

Да, тень Ленина — это не сам Ленин, Владимир Ильич. В натуре он защищал свою точку зрения куда честнее, бескомпромисснее...

В том, реальном мире мы были равны с ним как лидеры партий, на равных в государстве. Там он был вознесен, вождем был, он вел, а тут? А тут я покоюсь в земле, согласно обычаю, и Дух мой способен витать, возноситься. Он же лежит в мавзолее, на постаменте, перед миллионами глаз, и Дух мятется, душа как прикована к стулу, но может уйти туда, где и все... преодолеть свои гранитные, мавзолейные стены...

На поляне появляется молодой человек с лукошком.

Заглядывает под деревьями, что-то ищет, вроде грибы.

МАРИЯ (*пытаясь остановить его*). Не ходи туда, в ту сторону... там люди еще не закопаны. (*С горечью*). Он не слышит меня,

не воспринимает. мы с ним в разных мирах. между нами черта... Слышишь, человек! Туда же нельзя, там свежерасстрелянные! Они еще лежат на земле – в крови, с раскрытыми ртами, с выпученными глазами, кто как, ужасное зрелище!

Молодой человек с лукошком подходит ближе, присаживается, привалясь спиной к тонкостволой Березке.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ЛУКОШКОМ. Местность мне что-то не нравится, мрачноватая местность (*глядя Березку ладонью*). Как же такая красавица могла тут уродиться – в этом гиблом, мрачном, прямо-таки волчьем логове...! Куда я забрал! Волчьим духом тянет, того и гляди за папоротником сверкнет волчий глаз... Где-нибудь поблизости кости валяются от баранчика из колхозной овчарни...

Начало осени, а березы уже почти голые. Эта Березка еще шелестит. На макушке зеленые листья – долго будут держаться, может, и уйдут под зиму зелеными? Почему они все зеленые, почему все держатся? Влаги много в земле, влага стремится наверх по стволу, влага держит...

Наклоняет ветку, прислоняется к ней щекой.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ЛУКОШКОМ. Плакучая, белостолица, в длинной белой одежде... А место под тобой, нет, не грибное, слишком уж тeneвато. Дай, Березка, поднимешься ввысь, земля под тобой приоткроется, и тогда у комеля вырастет много-много травы, в траве появятся грибы...

Молодой человек с лукошком начинает щипать траву, развешивает ее пучками на ветках.

ОН ЖЕ. Обрядим тебя, красавица! Костер зажжем, как язычники, будем вокруг водить хороводы. Еще травки нарвем...

Ищет траву, где погуще, пытается перейти к другой, соседней поляне.

МАРИЯ (стоя за Березкой). Не надо туда, не ходи!

Молодой человек с лукошком останавливается. Стоит в размышлении. Слушает, как шумит лес.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Там же, в Медведевском лесу. Та же тонкостволая плакучая Березка. Мария все в той же своей белой одежде.

МАРИЯ. Это вторая ночь после моего расстрела. Испуг не так уже остр. Ужас начинает сужаться, я осознаю себя, свое новое место и положение. Однако все в какой-то матовой пленке. И я уже не живу, и это такое состояние, которое длится, длится и может быть теперь уже бесконечным... Прежде у меня была жизнь – самое ценное, что есть у человека, на что не имеет права никто посягать. Она дана изначально или пришла от эволюции – я не знаю, но точно знаю, что концентрация материи переходит в конце концов в Дух, природа такова, оживляется, в ней как бы прорезаются глаза. И это взлет материи, это сама Жизнь... И что же случилось со мной, с моей Жизнью, что происходит сейчас? Три дня и три ночи Дух во мне еще жив, живет Тело. Но – угасает, и он, мой Дух, покидает мое Тело, уходит в оболочку Земли и насыщает ее, атмосферу земную, своей биоэнергией. А Тело тут, в недрах, остается без Духа, как цветы без красоты, – и это страшно...

Озирается, пытается заглянуть на соседнюю поляну, но останавливается.

МАРИЯ. Палачи! Они у всех народов во все времена одинаковы... Какая-то невероятная сила отрывает меня от могилы, приподнимает, чтобы парить над Землей. Я еще телесна, имею тяжесть, еще сопротивляюсь, могу приподняться лишь на половину ствола этой Березки. Но тянет меня все выше, выше – прорезается иное зрение, глаза неземные... Палачи всех народов Земли почему-то долго живут. Живут долго после того, как тела их жертв превратятся в прах, станут самой землей. Не бери на себя больше, чем тебе дозволено, не убий! В будущем люди, узнав обо всем, ужаснутся. Как это! Один, каждый раз целя в затылок, расстрелял из пистолета 11 тысяч! Исчерпав лимит, он в азарте просил еще и еще...

Я лечу, подымаясь все выше и выше. Я вижу все с высоты далеко – отсюда до подмосковного Бутово протянется эта его колонна, расстрелянных, если всех посадить на машины. Никто ранее не мог достичь того адского рубежа, что сделал один с пистолетом... А мы еще говорим, почему они так быстро подошли к тому же Орлу, к Москве, оказались в самом сердце России...

Мария обходит поляну по всему периметру захоронения. В руках ее – трепещущая свеча.

Свежа земля, еще дышит! Я ищу своих – мужа, сына. Каждый ищет своих. Одной только матери известно, каково это – родить, вскормить дитя, поставить на ноги, вырастить человеком. Сколько для этого надо любви... А какой-то маньяк р-раз из бельгийского

браунинга, из милицейского револьвера... Кризисы разрешают войной. Это – разрешенные убийства, это безумная власть одних над другими под безумными флагами. даже флагом защиты отечества. Знаете, как определяется кризис в другое, невоенное время? Посмотрите вокруг, как ценится жизнь человеческая. Если она перестает быть ценностью, если банка воды, канистра бензина дороже флакона крови... Страшно ведь, дико ведь, люди!

Палачи мира похожи один на другого. Так легко они убивают в застенках, на улицах, в квартирах, как и в окопах. Не бери на себя больше, чем тебе позволено, не казни! Подобных себе...

Мария останавливается у края поляны. Все тянется, пытается заглянуть через березовые стволы.

МАРИЯ (*шепотом, оглядываясь вокруг*). Вы меня понимаете? Они лежат еще – кто как упал. Они еще не преданы земле. Их просто-напросто продали. И у них это первая ночь после их прозрения, у нас же – вторая... *Жертвы и палачи...*

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Там же, Медведевский лес. Справа, в ирреальном под свете – уголок камеры в Орловском централье. За столом – 2-й следователь. Перед ним – Мария, все в той же своей бедой одежде.

МАРИЯ (*зрительному залу*). Это все там, за чертой. Все воспоминация (*к следователю, с упреком*). Ну что, добились своего? Мы тут с вами, а они уже проскочили Орел, их танки уже под Тулой!

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Мы сделали свое дело. Каждый должен знать о своем маневре.

МАРИЯ. О чем вы? Ваш маневр состоял в том, чтобы выжить. А некоторые за то получали еще и ордена.

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Я – следователь, даже второй, а не первый.

МАРИЯ. Как “стрелочник”?

Следователь пожимает плечами.

МАРИЯ (*наступая*). Но ведь именно “стрелочник” переводит стрелки, нажимает курок... Сейчас вы скажете: приказ начальника – закон для подчиненного.

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Да, скажу.

МАРИЯ. Но ведь приказ этот такой, каким вы его и задумали. Для чего вы так тщательно составляете протоколы, скрупулезно все это пишете? Создаете на себя материал, чтобы потом было по чем вас судить?

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*уверенно*). Нас не будут судить. Мы спасаем страну от анархии, заслоняем мир от коричневой чумы.

МАРИЯ (*глядя вдаль*). Над ними будет процесс – я предвижу, я знаю.

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Какой процесс?

МАРИЯ. Судебный. Мир их заклеяет, все народы... Вы же отделаетесь легким испугом. Сначала в Москве, а потом...

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Что потом?

МАРИЯ (*рассмеявшись*). А шепотом, ше-по-том...

Налетает порыв ветра. Деревья шелестят, шепчутся. Слетают редкие желтые листья. Пауза. Еще порыв. Пауза – порыв. В ритм качанию принимается кричать сын.

МАРИЯ (*следователю, иронично*). И что меня больше всего утешает, так это то, что у вас красный нос, как у всякого черного лебедя.

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*трогая свой нос*). Ну и что?

МАРИЯ. А то, что скоро замерзнет вода, где будете жить? Черный лебедь из теплой страны, из Австралии.

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Не черните нашу действительность. Социализм вам не очернить. Завоевания наши прочны, окончательны и бесповоротны.

МАРИЯ. У вас розовые очки, оттого что нос красный?

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*отзываясь на откровенность*). Да, я пью! Пью, жру ее, стерву, никак не могу залить в себе пламя.

МАРИЯ. Бедненький.

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*отмахнувшись*). Откровенно сказать, страшно боюсь всего, надоело! Когда-нибудь ниточка оборвется, такие нагрузки. Но я не замечал что-то, чтобы нос у лебедя был, извиняюсь, красный.

МАРИЯ. Так у каких лебедей-то, у черных! А у белых – нос черный. Такая-то диалектика природы, как говорил Фридрих Энгельс в своей работе “Происхождение семьи частной собственности и Государство”, читали?

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Когда читать? Тут просто-напросто не высыпаться. Все допросы и допросы, все процессы и процессы. Круговорот воды в природе, вода на мельничном колесе.

МАРИЯ (*беря верх*). А если бы прочитали про это хотя бы у Энгельса, вы бы со своим напарником не подвели бы меня под “вышку”...

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*перебивая ее*). У нас не может этого быть. Энгельс тут и при чем, даже Маркс. Тут умы покрепче их думали.

МАРИЯ (*живо интересуясь*). И кто же те умы, интересно?

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Как кто? Мой хозяин и сам он, отец всех народов! На ком сейчас вся нагрузка.

МАРИЯ. Нагрузка на тех, кто останется жив... Да, а вы чего тут, как за чертой, оказались?

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*вздыхнув покорно*). А меня тоже вчера расстреляли.

МАРИЯ. Интересно, за что же?

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. За разглашение государственной тайны.

МАРИЯ. Да ну? И чего же вы на их пьедестале танцуете?

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Да так. По привычке.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Там же. То же.

МАРИЯ. И какую же тайну государственную и кому вы разгласили, гражданин следователь? Если, конечно, не секрет...

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Какой там секрет! Зачитал на допросе одному заключенному письмо товарища Берии товарищу Сталину.

МАРИЯ. Товарищу от товарища? С грифом "Сов. секретно"?

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ну да.

МАРИЯ. А чего б вы хотели? Когда черный лебедь пьет, он не для того прячет в воду свой нос, чтобы всякий знал, нос-то у него все же красный.

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. А, ну да... я-то думал... А хотите, и вам его прочитаю... Я его наизусть шпарю. Пусть уж лучше назад меня, обратно расстреливают.

МАРИЯ. Да уж хуже не будет.

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*нараспев, вспоминая*). Гриф "Сов. секретно" (*скороговоркой*). Далее крупными буквами (*и опять нараспев*).

"Государственный комитет обороны.

Товарищу Сталину.

В связи с военными действиями между СССР и Германией, некоторая, наиболее озлобленная часть содержащихся в местах заключения НКВД государственных преступников ведет среди заключенных пораженческую агитацию и пытается подготовить побеги для возобновления подрывной работы.

Представляя при этом список на 170 заключенных, временно осужденных за террористическую, шпионско-диверсионную и иную контрреволюционную работу, НКВД СССР считает необходимым применить к ним высшую меру наказания – расстрел.

Рассмотрение материалов поручить Военной коллегии Верховного суда СССР.

Прошу Ваших указаний.

Народный комиссар внутренних дел СССР

Л. Берия”.

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ (*передохнув и продолжая далее*). А это ответ самого Хозяина, отца народов. Вот он, текст. Но с грифом просто “Секретно”. И тоже крупными буквами:

“Государственный комитет обороны.

Постановление № ГКО-634 от 6 сентября 1941 г.

Применить высшую меру наказания – расстрел к 170 заключенным, одновременно осужденным за террористическую, шпионско-диверсионную и иную контрреволюционную работу.

Рассмотрение материалов поручить Военной коллегии Верховного суда СССР.

Председатель Государственного комитета обороны

И. Сталин”.

МАРИЯ. Спасибо вам, мой дорогой красный нос. Хоть вы прочитали нам документы, по которым произведен расстрел заключенных в Орловском центре. Да, но здесь 170 человек, а расстреляли-то 161 ...

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. В самом деле, в документах значатся 170 человек, а по приговору, вынесенному затем 8 сентября того же года, в действительности был осужден 161 человек. Тот “расстрельный” список составлялся в спешке, без всякой проверки, и потому в него были включены фамилии тех, кого к тому времени в центре уже не было... Одни умерли, другие переведены... так их пытались достать... под этот список еще кое-кого подверстать...

МАРИЯ. Господи! Какие же у вас красные ру...

“...ру ...ру” – как эхо, катится по верхушкам деревьев, по всему Медведевскому лесу.

МАРИЯ. Знаешь что, мой дорогой красный нос?

2-й СЛЕДОВАТЕЛЬ. Что?

МАРИЯ. А иди-ка ты, братец, отсюда, поищи себе другое местечко!

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

В реальном свете та же поляна – место расстрела в Медведевском лесу. На краю поляны – двое с лопатами. Расположились выпить и закусить. Перед ними бутылка с самогоном, еда. Тут же два туго набитых мешка.

МАРИЯ (*возникая из небытия, зрительному залу*). Я узнала, оба они из Орловского центра – мой Начальник караула и мой

Надзиратель. Видите, лопаты их в свежей земле. Они только что зарыли трупы расстрелянных гитлеровцами. И в мешках у них – трофеи, вещи, снятые с патриотов...

Березка над Марией начинает качаться, раскачивается под ветром, как бы подтверждая ее слова.

МАРИЯ (*громче, обращаясь к двоим на опушке*). Эй вы, мародеры! Хватит пить-то, смывать самогоном следы преступления...

Пауза. Ветер. Негромкий шелест Березки.

МАРИЯ. Нет, они не слышат меня. Они еще в том мире, в котором живут...

Надзиратель расстилает платок. Начальник караула разливает по жестяным кружкам. Берут кружки в руки, опасливо оглядываясь.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*выдыхая из себя*). Ну, браток, со здоровьем.

НАДЗИРАТЕЛЬ. Со здоровьем, това... господин начальник.

Вспыхивают, крикают, начинают закусывать.

НАДЗИРАТЕЛЬ (*кивая за спину*). Отжились, эти недолго мучились.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*втягивая голову в плечи*). Мелковато зары...

Брр, дожди пойдут – вымоет. Мог бы выкопать яму и поглубже.

НАДЗИРАТЕЛЬ. А зачем? От собак?

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА. От лягавых. Бродят всякие.

НАДЗИРАТЕЛЬ (*рассудительно*). Так война же, това... господин начальник. И при том мы, что ли, с вами расстреляли...

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*закрывая рот ему*). Молчи, дурак!

Наливают по второй. "Со здоровьем". Крикают, закусывают. Сидят молча.

НАДЗИРАТЕЛЬ (*смелея*). Пошла, родимая. Разбежалась по телу. Понеслась душа в рай, а ноги – в милицию.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*нагляя*). На нашей работе без этого дела нельзя (*показывая на бутылку*). Сдохнешь.

НАДЗИРАТЕЛЬ (*похихикивая*). Ей бо... хи-хи... в нашем деле.

И протягивает руку к бутылке.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*хлопая по руке*). Осади! Не гони лошадей.

Сидят, закусывают. Начальник караула наливает по третьей. Крикают, выпивают.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*хмурясь*). Что-то мешок твой мне не ндра... Шубейку ту, на какую я глаз положил, переклади ко мне, переклади.

НАДЗИРАТЕЛЬ. Дак она, вы сказали, она драная, рвань.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА. Ничего, перешьется – сойдет.

НАДЗИРАТЕЛЬ (*упорствуя*). Да я б и собаке такую не бросил.

Ветер дует все сильнее, сильнее. Березка уже гудит, раскачиваясь. Мария пытается что-то сказать сидящим, они не слышат ее.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*сердито уже, берясь за лопату*). Переклады, сука позорная!

Надзиратель вытряхивает мешок, ищет шубейку. Пиджаки, юбки, рубахи, штаны.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*держа лопату за черенок*). И вот эту вот юбочку – тоже переклады. На блондиночке, помню, была эта юбочка, чистенькая.

НАДЗИРАТЕЛЬ. Так она же в крови.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*теперь уже зло*). Кто – блондиночка? Блондиночки той теперь уже нет. Жене моей пригодится, переклады!

НАДЗИРАТЕЛЬ (*тоже зло*). И моей жене приго...

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*вскакивая*). Что – костыль проглотил?!

И замахивается лопатой. Схватываются, пыхтят, катаются по земле. Вскакивают, ругаются. Бьют по морде один другого. Пиджаком – пиджаком, юбкой – юбкой, исподней рубахой.

Стонет ветер. Гудит Медведевский лес. Мария что-то кричит, пытаясь его пересилить.

Начальник караула сбрасывает с себя Надзирателя. Выпрямляется, стоит, прислушиваясь.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*встревоженно*). Слышал голос?

НАДЗИРАТЕЛЬ (*отбрасывая лопату*). Где?

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*кивнул на Березку*). А вот, от нее.

НАДЗИРАТЕЛЬ (*крутанув пальцем у виска*). Ты что?.. того?.. лишненького хватанул, товарищ начальничек?

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА. Молчи, гнида!

Стоят, вслушиваясь, как гудит.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Там же. Те же.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*не теряя достоинства*). Я тебе не товарищ. Твои товарищи вон где, удрали.

НАДЗИРАТЕЛЬ. А твои?

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*покорно*). И мои.

НАДЗИРАТЕЛЬ. А эти что?

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА. А эти чужие. Если что – не пощадят.

НАДЗИРАТЕЛЬ. А те, что свои, – пощадят?

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА. И те тоже.

Надзиратель собирает разбросанные вещи.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА. А шубейку-то положи ко мне, положи!

И юбку вот эту, с блондинки!

Надзиратель покорно перекладывает шубейку и юбку в другой мешок.

Завязывают оба мешка, стягивают потуже.

Так и стоят, сжавшись, озираясь по-волчьи среди гудящего леса.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*передернув плечами*). Нехорошо что-то, нехорошо.

НАДЗИРАТЕЛЬ (*поддакивая*). Да уж куда уж хуже.

Березка дрожит над ними, покачивает полуоблетевшими ветками. Мария, стоя подле Березки, кричит что-то, стараясь перекрычать свою немоту. Однако те, за чертой, не слышат ее. Бросаются допивать из бутылки. Суют в мешок раскиданное барахлишко. Но лес уже в гневе, неистовствует, летят на головы мелкие сучья.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА (*пошатываясь*). Ветки трещат, ломаются...

Один кидается в эту сторону, другой – в противоположную. Возвращаются, сталкиваются под Березку. Она хлещет их по лицу, по лицу, по плечам.

ОБА (*в ужасе*). Ураган!.. Ураган!..

В реве ветра слышен крик Марии: “Мародеры! Убийцы!” Она трясет Березку, держась за ствол. И Березка гнется, стелется, лес гудит.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА. Слышишь?

НАДЗИРАТЕЛЬ. Что?

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА. Да голос же, голоса! Березки трещат...

НАДЗИРАТЕЛЬ. Да где хоть?!

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА. Да везде же, везде!

Собравшись с силами, оба наконец убегают, оставив мешки и лопаты. Поляна пуста. Ветер тут же и прекращается. Абсолютная тишина. Капает с веток капель. Слышно: кап-кап-кап...

МАРИЯ (*вздыхнув*). Как в Орловском центре – мертвая тишина...

Подставляет под капли ладонь.

И капли эти проникнут в землю. И будут там мыть мое тело, тела всех, кто рядом. Так тесно от них, друг на друга, вплотную... Я еще чувствую там свое тело, а после третьей ночи Душа отделится, отделится, оторвется ведь совершенно... Они отправились в свой центр, позабыли награбленное.

Толкает ногой мешки.

МАРИЯ (*усмехнувшись горько*). Ценность какая, улики. Завтра снова придут. Какая мразь! Оставить на той же работе, как будто ничего не изменилось. Насилие не имеет границ и гражданства. У палачей всего мира одно и то же лицо... Брр, как же холодно, сыро... там, в сырой, холодной земле...

А им все равно. Главное – чтобы день для них не смеркался ранее. Чтобы завтра снова прийти за своими мешками.

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Там же, в Медведевском лесу. Мария все у той же Березки. И все в ирреальности, за чертой.

МАРИЯ. Светает. Ну, вот ночь и на исходе. Третья ночь, как я здесь. Душа отделяется, уходит от Тела, поднимается в космос. Своим Духом, духовной энергией я пополняю силы Земли, вливаюсь в ее энергетический пояс. Вот почему энергия Земли никогда не иссякнет, она пополняется духом каждого, способного его производить – от света, Солнца в себе, от Добра...

А Тело мое, онемев окончательно, станет естественным прахом, сольется с телом Земли, станет само ее телом. И вот от тела, ставшего черноземом – лучшей частью Земли, никогда не иссякнет хлеб... Лужевский не знал этого, он не мог этого знать! Иначе как бы он стрелял в ее пахарей! А я чувствовала, нащупывала интуицией, я к этому шла всей своей жизнью! Я вступилась за них, за крестьян, – самых обездоленных, самых бессловесных людей...

И вот я тут, на этой поляне, и в сырой земле, и над землей. А они там, и меня уже третьи сутки от них отделяет черта...

Не слишком ли много там, за этой чертой, у “отца народов”, нелюбимых “детей”? Конечно, и он исполнитель воли других, и у него свои исполнители.

Над креслом Дзержинского, в его кабинете, долго светлело пятно – от портрета монарха, до Дзержинского в кресле сидел другой человек. Над Дзержинским пятна потом не было.

над Дзержинским висел уже портрет Ленина. А над начальником Орловской тюрьмы сначала довлел портрет самого “железного Феликса” как самого почетного “сидельца” Орловского централа, а затем поочередно – Ягоды, Ежова, в последнее время Берии... Не знаю, чья очередь, кто сейчас в эти дни...

И кто из них узнал или знает, чего когда-то не знал Лужевский?

Кто из них способен пополнить энергетический пояс планеты? Лежу вот в сырой земле, и плохо мне, брр, не от холода, сырости, а от того, что где-то тут рядом, в своих черных провалах, такие как Ягода, Ежов. Их прах не дает чернозема, их бионергия отрицательна, она разряжает, от них образуются “черные дыры” – озоновые дыры в ноосферическом поясе, в которые устремляются силы, способные сжечь на Земле все живое...

И страх у меня уже на исходе. Привыкаю к этому своему новому состоянию, к тому, что я тут, за чертой. Я еще вижу, как червь дождевой ползет по листе, вот-вот продырявит почву и проползет по телам между нами. Я еще слышу, как где-то не так далеко, по шоссе на Москву, идет с гудом колонна автомобилей, они везут искусственный бензин, танки Гудериана – под Тулой, все туда – на Москву. Кстати, танки заправлены таким бензином и лихо ж горят...

Я еще не нашла тут своего мужа – Майорова, не чувствую его где-то поблизости, рядом. Но где же он все-таки, где?...

Мария трясет за ствол токопроводящую Березку.

Березка стоит, поникнув ветвями.

МАРИЯ (*успокаиваясь*). Я найду Илью, мы с ним еще встретимся... Но я никогда не увижу своего ребенка, сына своего... А это значит, что есть надежда: милый мой, любимый мой мальчик, ты там, наверху, ты жив.

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Там же. Мария в той же своей белой одежде. В том же ирреальном под свете.

МАРИЯ. Ни один зверь не убивает себе подобных, теперь я это хорошо поняла... И нужно искать пути... Почему же люди никак не могут договориться? И пишут такие приказы, как этот нарковнудел, а председатель госкомитета тут их утверждает? И отсылают на плаху сразу стольких людей...

Мария трясет Березку, Березка трясется, молчит.

МАРИЯ (*настойчиво*). Почему человек... если он человек... имеет право обречь на смерть другого человека? Кто дал ему это право –

сам он, кучка людей? Но это же ведь убийство... Вот что поняла я наконец, скитаясь по тюрьмам, всю жизнь проведя за решеткой...

А, Лаврентий? Почему ты отдал приказ, как мух, убить сразу 170 человек? Не зная их, не глядя в глаза им... Я хочу видеть тебя, явись!

ГОЛОС ИЗ-ЗА СЦЕНЫ. Но он же в другом измерении, он там – за чертой, он живой!

МАРИЯ (*убежденно*). Это временное. Я вижу его уже в черном, идущим сюда... Нельзя ли поторопиться, Лаврентий?

На поляне появляется Берия. Как всегда, полноват и коротковат, в очках, в такой же, как и у Марии, длинной, но черной одежде. И, что странно, подпоясан ремнем с портупейей.

МАРИЯ (*строго*). Посмотри хоть на дело рук своих!

БЕРИЯ (*запыхавшись*). А сказали, лидер партии ждет, вождь народа...

МАРИЯ (*с достоинством*). Я и есть лидер партии.

БЕРИЯ (*вспыхивая*). Враг народа!.. Спиридонова, ты – вождь? И кого ты ведешь и куда?

МАРИЯ. Но не в ту же сторону, куда ты, Лаврентий! Прямо к братским могилам... мало вам тридцать седьмого года, вы наложите горы еще и с сорок первого года по... по...

БЕРИЯ (*ехидно*). Ну, по какой, по какой?

МАРИЯ (*напрягаясь, с усилием, провидчески глядя в небо*). По сорок пятый... И еще в сорок седьмом... И всего на твоей совести, Лаврентий, будет столько же и даже больше, чем во всей этой войне...

БЕРИЯ. Колдунья! Вещунья, все каркаешь!

МАРИЯ. Это ты колдун, чернокнижник! Тоже, небось, собрание сочинений готовишь?

БЕРИЯ (*саркастически*). Почему тоже?

МАРИЯ. А потому что как только кто-то из ваших выберется наверх, так ореольчик уже, портреты рисует, собрание сочинений издает.

БЕРИЯ (*наливаясь кровью*). Молчи, сука!

МАРИЯ (*смеясь ему прямо в лицо*). Ну и что ты мне сделаешь? Расстреляешь опять? И вернешь к себе туда – за черту, в прежнюю жизнь?..

Берия пытается уйти.

МАРИЯ (*останавливая его*). Я перешла черту, чтобы только увидеть тебя... иначе мне там не будет покоя... Да! Это ты колдун, ты вещун, сатана! Вот слова из твоего же приказа: "... часть содержащихся в местах заключения НКВД государственных преступников ведет среди заключенных пораженческую агитацию и пытается

подготовить побегу...". Ты ставишь к стенке людей за несовершенное, за еще только возможное преступление! Нет, ты чудовище, монстр... На тебе не одиннадцать тысяч, на тебе миллионы...

БЕРИЯ (*перебивая*). Нерон сжег Рим – вечный город, мать свою уничтожил и то умер собственной смертью.

МАРИЯ. Нерон был артист своего дела! Знаешь, что он сказал на своем смертном одре о себе, сожалеючи: "Боже, какой великий артист умирает!.." Нет, он не умер, до сих пор еще мается, жив.

БЕРИЯ. Как не умер! Уже как тысячу лет...

МАРИЯ. Возродился в тебе. Но ты к его имени не примазывайся. Ты – Берия, вот ты кто!..

Берия убегает. Мария остается одна. Стоит, оттирает, словно сдирает, очищает с себя, своих плеч липучую грязь.

СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ

Все там же. Та же Мария в ирреальном под свете.

МАРИЯ (*раздраженно*). Жеребец, мерин короткоштаный! Как он смотрел на меня, на мою грудь! Будь я моложе, как тогда, когда люди Луженовского изнасиловали меня, мне бы не сдобровать... Как распустился! Сколько легенд, всяких историй. И на все одно объяснение: мелкие внутренние побуждения, всего-навсего секс...

Лизать тебе в аду сковородки, Лаврентий!

Усмотришь через стекло с пролетевшей мимо машины красивую женщину, твои молодцы тут же под руки ее, и вот она уже перед тобой. А в канцелярии уже подыскивают аргументы...

Вот ты выледил писаную красавицу.

– Так она жена летчика, – объясняют, – Героя Советского Союза, истребителя, воевавшего в небе Испании.

– Ну и что, – поясняешь ты им, – жена знаменитого летчика не может спеть "Сулико" простому наркомун?

– Может, – объясняют, – да она говорит: я – не Лидия Русланова.

– Так что, – поясняешь, – Лидия Русланова не может со своими "Валенками" жить где-либо в Сибири?

– Может, – объясняют, – да она просила сказать: пошел он на х..., дурак. Пока муж мой – полковник, а полковник при Жукове, а до Жукова у вас, дескать, руки коротки. И это Жуков сказал: пошел он на х..., дурак!

– Так и сказал?!

– Ты почернеешь, Лаврентий.

– Ну, я ему не кто-нибудь...

А когда это передадут Жукову, тот скажет свою знаменитую фразу:
– А я ему хоть и Жуков, но не чеховский Ванька! Знаем, с чего селедку чистить – с хвоста или головы...

Но это я что-то вперед забегаю. Это будет потом, после Победы. А пока... а пока... патриоты сидят в Орловском центре, Гудериан прет на Москву...

Мария отрывается от тонкостолой Березки. Проходит краем поляны. Натыкается на оставленные мешки.

МАРИЯ. Да вот они! Значит, мародеры сейчас пожалуют. Разве же они с трофеем расстанутся?

Слышен треск валежника. На поляну выбирается Надзиратель.

НАДЗИРАТЕЛЬ (*отдуваясь*). Уфф ты-ы! Бежал!.. Надо же, как вчера перебрали. Черти аж стали мерещиться, лес сделался каким-то диковинным, страшным. Даже мешки позабыли... А ну-ка где они, мешочки-то? Так, ту нет в прогале. И тут, под сиренью, нет. Ага, вот куда, под Березку, один закатился. Мой как раз!

Вытряхивает из мешка вещи. Начинает перебирать и считать вещички.

НАДЗИРАТЕЛЬ (*оглядываясь*). А второй мешок где?

Ищет второй мешок. Делает невероятные усилия. Как собака, идет по следу. Нюхом-нюхом. По всему периметру "расстрельной" поляны. Прямо-таки с ног сбивается. "Где он может быть, где?" И, когда он уж плюет на все, ("посидим маленько, передохнем"), мешок, наконец находится. Он лежит преспокойно на видном месте. Даже не засыпан листвой.

НАДЗИРАТЕЛЬ (*довольный*). Ишь, сволочь, как исхитрился! Замаскировался. Но нас, брат, не проведешь. Ну-ка, ну-ка, еще раз взглянем, что там в мешке у него?.. Ага, вот и шубейка. Так она ему не нужна, его бабе мала. А мне в самый – жене или дочке. Сюда кладем... И вот эту юбочку тоже. В крови, правда, вот и дырочка. По бедру стебануло. Ничего, простирнется, заштопается – век будет носиться...

Снова трещит валежник. Пред пухлым, кругленьким надзирателем вырастает длинный, тощеватый такой начальник караула.

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА. Ты что тут без меня делаешь, а? Вон оно что!.. Ах ты, грабитель! Ах ты, мародер!.. Своего мешка тебе мало – за мой ухватился!

Снова. как и вчера, дерутся, пыхтят, катаются по "расстрельной" поляне.

СЦЕНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Та же поляна. Там же Мария все в той же своей белой долгополой одежде.

МАРИЯ (*качая головой*). Ну и люди! Ну и дела! Смотреть противно... С такой последней картинкой земной и расстанусь, отрываюсь, уйду Духом ввысь... Нет, на такой ноте расставаться нельзя! Не такая уж она и паскудная, жизнь, чтобы остаться о ней с таким впечатлением....

Пусть они разбивают в кровь себе физиономии, забирают мешки свои уходят, а я отвернусь... Надо вспомнить что-либо хорошее, чтобы в Дух вошло, создало в тебе поток энергии, чтобы подняло в поднебесные, высшие сферы...

А есть ли хоть что-то вспомнить? Да и было ли в жизни твоей что-то хорошее? Неужели одни суды, приговоры, тюрьмы, ссылки, камеры смертников, – казни, вампиры, дневные ужасы и ночные кошмары?.. А детство мое, наше "дворянское гнездышко" на Тамбовщине? Веранда, стол с тульским самоваром и лицо мое, перекошенное, как в зеркале, в начищенном самоварном золоте. И мама, счастливая, что я поступила в гимназию. И любимое мое вишневое варенье без косточек – мамино. Но мне грустно...

Боже, если ты есть! (*Мария вздымает руки*). Позволь мне взять туда собой хотя бы это... хотя бы это ... хотя бы это...

Возникает щемящая, воздушная мелодия "Аве Марии". Под эту мелодию Мария взмахивает своими длинными белыми как бы крылами, становясь похожей на чайку.

МАРИЯ (*словно летит, приподнимаясь на цыпочки, повторяя как во сне*)... хотя бы это... хотя бы это... что люблю на Земле... я люблю... я люблю...

Яркий луч снизу ввысь по диагонали перечеркивает задник за спиной Марии. Она поворачивается спиной к лучу. И тянется, тянется по лучу, по лучу – ввысь по диагонали.

Неистовствуют высокие голоса", ведут прекрасную мелодию "Аве Марии".

МАРИЯ (*поворачиваясь лицом к зрительному залу*). Земля! Прими мое грешное Тело, и пусть оно останется с вами – тут, на этих

зеленых полях, среди вас. Пусть оно станет прахом, черноземом, хлебом, ячменным зерном, чтобы вы, люди, вдоволь могли есть свой хлеб и пить свое пиво...

Ты, Небо! Возьми мою душу, мой Дух, просветлившийся горем, в свои караваны, чтобы прикрыть ими эти “черные дыры” над вами, чтобы не упал огонь сверху, не сжег на Земле все живое.

Смолкает музыка. Пауза.

МАРИЯ (*реальным, твердо поставленным голосом*). Отмените смертную казнь! Ее не должно быть в мире для людей Духа, для сгорающих в топках во имя других, для всех политзаключенных Земли! Для всех нам подобных!

Не стреляйте же из-за угла, не косите птиц своих – чаек, больших альбатросов!

Занавес

В отдалении звучит “Реквием” Моцарта. Под божественные, неземные звуки на авансцене появляется пожилой, уже сгорбленный человек с лукошком, одетый под грибника.

ЧЕЛОВЕК С ЛУКОШКОМ. Они посадили деревья, чтобы скрыть следы преступления. Но я все же нашел его, это место, я нашел!.. Тридцать метров на шестьдесят... Сто шестьдесят один человек. Среди них и она, Мария Спиридонова, – любящая Мария. И там же с ней мой отец. И теперь здесь – видите? – памятный камень...

Сигнал автомашины. На авансцену выходит молодая пара – жених и невеста. Как обычно, жених – в черном, невеста – в длинном белом свадебном платье.

ЖЕНИХ (*в зрительный зал*). Мы приехали сюда, к этому Камню, от Вечного огня у сквера Танкистов. Мой дед погиб на войне...

НЕВЕСТА (*прислонясь к нему*). А моя бабушка лежит здесь. И судьба одна у них, одинакова...

Подходят, кладут на камень цветы.

Склонив головы, все втроем стоят перед Камнем.

НЕВЕСТА (*читая надпись на Камне*). “Памяти жертв политических репрессий”.

А чайка на узком полотне перед залом, светясь, все машет острыми своими белыми крыльями. Под “Реквием” Моцарта, рассекая воздух, летит.

Конец

ЕХАЛА ТЕЛЕГА ПО ВОЙНЕ

Грустная комедия в двух действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ВЕЛИКАНОВ Геннадий Ефремович – Великий Немой, он же учитель-ветеран.

ВЕРА ИВАНОВНА – мать Великанова.

БЛАТМАН – первая скрипка.

ШАРОНОВ – труба.

КУРПАС – контрабас.

ИВАН КАЛИТА – барабан.

ЧЕРНЕГА – архивариус, отдельный человек.

МЯСИЩЕВ – прокурор, человек в очках.

ФЕДЯ ШУТЕЕВ – жених.

НИНА – его невеста.

ТЕТКА ГАША – мать невесты.

ДЕДУШКА ГЕРАСИМ – дед невесты.

КАЛГАНОВ – староста деревни Проказинка.

МИТЯ УРАЗОВ – деревенский дурачок.

ВЕРХОВОД – бригадир строителей Ливенского укрепрайона.

КРАЮШКИН – мать покойных детей.

ДАНКОВА МАРИЯ – мать троих детей, в том числе новорожденной.

ЛЮБА, НАДЯ – сестры новорожденной.

КАПИТАН БАГРИЙ – командир заградотряда, человек из СМЕРШа.

АРЯСОВ – рядовой при нем, автоматчик.

ВМЕСТО ПРОЛОГА

В правом углу авансцены, перед занавесом, кто-то сидит на камне у скромного обелиска. Это Великанов Геннадий Ефремович – пожилой, седой уже человек. Раздумчиво перебирая струны гитары, он поет вполголоса песню Рафаэля Аюпова на слова Николая Тряпкина “Скрип моей колыбели”.

Скрип моей колыбели!

Скрип моей колыбели!

Смутная греза жизни,

Зимний покой в избе.

*Слышу тебя издалека,
Скрип моей колыбели.
Помню тебя изглубока,
Песню пою тебе.
Сколько прошло морозов,
Сколько снегов промчалось,
Сколько в полях сменилось
Пахарей и гонцов!
Скрип моей колыбели!
Жизни моей начало.
Скрип моей колыбели,
Думка моих отцов.*

С последним аккордом Великанов резко встает, делает шаг к обелиску. Читает: "Блатман – первая скрипка. Шаронов – труба. Курпас – контрабас. Иван Калита – барабан"... Пятым здесь должен быть я.

Опускает голову. Пауза.

ВЕЛИКАНОВ (*горько*). Да что мы знаем о той войне! То, что написано маршалами, генералами? Эти (*кивает на обелиск*) уже ничего не напишут, их нет. За них скажу я – Великий Немой.

Семьдесят пять лет я молчал, страх сковал меня, не давал говорить. В мае сорок первого, как раз накануне войны, я потерял членский билет нашего юношеского товарищества с неограниченной ответственностью. Мы клялись перед обществом не пить, не курить, защищать Родину, если потребует, даже ценой собственной жизни. Этот билет попал в руки НКВД. И я не получил золотой медали за десятилетку, вместо этого стресс, я потерял дар речи. Мне не было тогда и восемнадцати....

Возникает мелодия песни тех лет "Дан приказ: ему – на Запад".

ВЕЛИКАНОВ (*продолжая под эту мелодию*). И я остался один, сам с собой, осенью сорок первого в городке, откуда уже ушла наша армия. Я хочу оживить в памяти всего один эпизод из той огромной войны...

И вот я уже ветеран, старый учитель. Всю свою жизнь я положил на то, чтобы восстановить утраченное в себе...

И снова, как эхо, звучит в отдалении: “Блатман – первая скрипка. Шаронов – труба. Курпас – контрабас. Иван Калита – барабан”...

ВЕЛИКАНОВ (*вздрагивая после каждого имени*). Кто они были, те трое, – евреи или немцы Поволжья, я так и не знаю. Четвертым с ними был русский. А пятым должен быть я...

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Тихая патриархальная улица районного городка. На фоне собора старинный особнячок. Дождь, слякоть. У ворот молодой Великанов прощается с матерью. Город покидает последний батальон нашей армии.

ВЕРА ИВАНОВНА (*машет им вслед рукой*). Сыночки родимые, на кого же вы нас покидаете? Господи, как вы измучены, от самой границы идете. Пальцы торчат из сапог, одна винтовка на десятир-ых. Командир позади, весь грязью заляпан... Ушли! Что с нами будет, сынок?

Великанов издает нечленораздельные звуки, кладет руку на плечо.

ВЕРА ИВАНОВНА (*крестясь на собор*). Дай-то, Господи, выдюжить весь этот ужас... Начальники уехали, нагрузили подводы сахаром, манкой, маркизетами и укатили, а нам куда? Все наши мужчины на фронте, воюют. Один ты, сынок... жалкий мой, дорогой...

Великанов мычит что-то нечленораздельное, неистово машет руками.

Появляется прокурор Мясищев, их сосед.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Вера Ивановна, хочу взять с собой Геннадия. Возчиком.

ВЕРА ИВАНОВНА (*как во сне*). С собой? Возчиком?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Подводу вот перехватил. Музыкальная команда какая-то. Говорят, отступают аж от границы, из Белоруссии... Через день здесь уже будет враг.

ВЕРА ИВАНОВНА. Геннадий! Геночка! Последний шанс... (*Мясищеву*). Он согласен. Согласен, да?... Вчера возле школы ночевали эти эвакуированные. Так вся ложбина кипит от вшей.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Лошадь у них скоро падет, отошала. Я свою запрягу, прокурорскую, в их телегу... Эй, Геннадий, шевелись!

(уходя, Вере Ивановне). Как-никак будем вместе с Геннадием. Люди свои, земляки. Заодно проверим и этих, которые музыканты...

Достаёт пистолет из кармана. Перезаряжая, сует за пазуху.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Разбитый проселок. Скрипит телега. В телеге – четверо с музыкальными инструментами, пятый сидит позади всех, обхватив огромный чемоданище. Великанов с прокурором сидят впереди, как на облучке.

Великанов дергает вожжи, мычит выразительно, показывая жестами, мимикой на лошадь – бедняга не тянет.

БЛАТМАН *(подавая признаки жизни)*. Немцы-то как говорят: Орел, Москва, Елец – и войне конец.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ *(резко)*. Вредные разговорчики! Вы, так думаю, западники, из Западной Белоруссии, поздно присоединились.

БАТМАН *(прижимая футляр к груди)*. Мы из самого Минска. Как я уже сказал, это все, что осталось от нашего симфонического.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Документы хоть есть?

КУРПАС *(держит в руках контрабас)*. Какие там документы! Ихние танки прорвались, так мы прямо с репетиции...

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ *(внушительно)*. А документы должны иметься! В военное время живем. Почему мы должны верить вам на слово? А может, вы диверсанты, немецкая фронтовая разведка? Или группа по разложению войск противника? Чем вы можете подтвердить? Вот и фамилии у вас какие-то...

ШАРОНОВ *(освобождая трубу, завернутую во фланель)*. Мы – евреи местечковые, из-под Витебска.

БЛАТМАН. Чем подтвердить можем? Да вот *(открывая футляр)*. Ну-ка, ребята!

Настраивает скрипку. Шаронов вытирает трубу ладонью, Курпас перед контрабасом становится во весь рост, Иван Калита кладет палочки на барабан.

БЛАТМАН *(Великанову)*. Эй, братец! придержи своего Россинанта! Пусть телега идет плавнее *(запевая)*: “Ай, Шнайдерл, тарата-татата...”

Шаронов с Курпасом подпевают Блатману. Телега катится под дождем, тянет печально-однообразную мелодию.

*По горизонту вспыхивают красные всполохи.
Докатывается артиллерийская канонада.*

ВЕЛИКАНОВ (*понукая лошадь*). Н-ну – н-ну!

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. А че – не можете что-нибудь повеселее?

БЛАТМАН (*перестраиваясь*). “Ой, Джанкой, тарита-тита, тита, тита – тита-а-а...”

И опять по степи под низким небом катит телега, но теперь уже в более веселых, упругих звуках и ритмах.

А в спину все бьют алые всполохи, глухой звук канонады.

*Великанов шевелит вожжами, понукая лошадь.
Архивариус Чернега цепко держится за чемодан.*

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*раздражаясь*). И это что у вас, что вы играете?!

БЛАТМАН. А это еврейская народная.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Не знаю такой! И вот он, Муму наш, тоже не знает. Кругом война, а мы, ничего себе, под веселую песенку драпаем.

БЛАТМАН. Шаронов!

И дает знак трубачу, тот уже выводит на трубе другую – строевую, ритмическую мелодию, остальные подстраиваются к нему.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*вдохновенно*). “Пусть ярость благородная!” (*Хлопая Батмана по плечу*). Что же вы сразу-то не сказали, что музыканты! А то, говорят, евреи какие-то, местечковые... Когда воссоединялись, там у себя, в Минске, на торжествах тоже, небось, играли?

БЛАТМАН. И на торжествах.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Это хорошо! Только вот что непонятно: по вашему утверждению, вы вроде бы из-под Витебска, а играли, как выясняется, в Минске. Не спешите с ответом, подумайте. А пока, Муму... то есть Геннадий... останавливай-ка свой тарантас! Все, приехали. Располагаемся на ночлег.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Опушка леса. Оглобли задраны вверх. Все сидят у костерка. В сторонке со своим чемоданом архивариус Чернега.

БЛАТМАН (*доставая со дна телеги канистру*). А это у нас самый главный духовой инструмент – “спиритус вини ректификатус”. В прошлый раз ночевали на спиртзаводе, подарили вместе с канистрой...

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*не без удовольствия потирая руки*). Это хорошо, это прекрасно. А за что?

БЛАТМАН (*весело Калите*). Герр Иван, это ты им понравился, как выдавал на барабане! А вы, товарищ прокурор, чего с нами связались?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Бричку райком отобрал.

Блатман наливает в протянутые посудыны. Выпивают, крикают. Сидят, тянут руки к огню.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*протирая очки*). Ну и что вы на это скажете?

ИВАН КАЛИТА. Хороша-а! Поплыла, распространяется.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Повторяю вопрос!

БЛАТМАН (*Шаронову*). Ты ответь, ты нас в Минск вытянул... Скажи, в общем, как мы, витебские, оказались в Минске.

ШАРОНОВ (*живо*). Это что!.. Ну, по конкурсу, по конкурсу прошли мы в оркестр, когда республиканский оркестр создавался. А вот как мы тут оказались (*обращаясь к Блатману*). Вас бы следовало спросить, майн херц.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Вот и слова немецкие как прилипли.

БЛАТМАН (*передавая Мясищеву через Курпаса*). На, плесни-ка еще раз начальству! И вот этот шматок сала положи товарищу прокурору... Сколько доброго, вечного прокуратура может еще совершить в пользу Родины и нас лично... А "майн херц" – "мой дорогой" – это так Меньшиков звал Петра Великого. Хотите, и вас будем так называть?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*подставляя посудину*). Бог любит троицу. Трибунал, особая тройка, если что, я вас не знаю.

БЛАТМАН (*подмигивая Курпасу*). Хотите с нами на брудершафт? (*Курпасу, кивая на Мясищева*). Плесни-ка еще человеку, не зажимай.

Прокурор Мясищев накрывает кружку ладонью. Встает и отходит в сторонку, подзывает к себе Великанова.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Слушай сюда, боевое задание! Возьмешь карабин, там, где я сижу, на дне брички. И будешь охранять лагерь. За лошадь мне головой... А вот в этих (*кивает на фигуры у костра*), если кто дальше двадцати шагов от телеги, – стреляй!

Великанов мотает отрицательно головой, мычит, делая отчаянные жесты.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Ах, не можешь? И чему, спрашивается, вас в школе учили? Вот так прижал ствол к себе, а вот так спусковой крючок нажал, и готово... Ничего, научишься, на то и война.

Прокурор Мясичев возвращается к костру. Подходит Блатман.

БЛАТМАН (*Великанову*). Видишь, огоньки? Деревенька какая-то, стало быть, люди живут. С утра визит туда нанесем за провиантом.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Ночь. Там же. Великанов стоит на посту. Архивариус Чернега сидит в сторонке, обхватив огромный свой чемодан. Остальные, подзапьянев, бегают друг за другом вокруг костра. Воят, колотят крышкой о крышку от кастрюлек, колотушкой бьют по барабану.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*хохоча*). Черти, вы меня напоили, вы меня напоили!

БЛАТМАН (*подбрасывая в костерок хворосту*). А мы еще поддадим жарку, а мы еще! Шаронов, сбегай-ка в лесок, принеси еще дровишек!

Шаронов пытается пройти мимо Великанова. Тот передергивает затвор карабина. Сжавшись весь, Шаронов возвращается к костерку.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*веселясь, от души*). Пир во время чумы! Ей-богу, пир во время чумы! Вы меня напоили, вы меня напоили, черти!

ШАРОНОВ (*фамильярно кладя руку ему на плечо*). Хочешь, покажу боевой сигнал сбора, хочешь?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*озираясь*). Да что ты! Военная обстановка, леса полны диверсантов.

БЛАТМАН. Ну а в мирное время? Отчего в мирное время нельзя?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*туго соображая*). Почему нельзя, можно.

БЛАТМАН (*тоже в подпитии*). Ну, вот ты, прокурор, ты и скажи, почему мне то нельзя, а то можно. Играть на трубе "сигнал сбора" нельзя, почему?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. А кто у нас на трубе, чья труба?

БЛАТМАН (*показывая на Шаронова*). Да вот он, его труба, он такой!

Шаронов поднимает трубу. Высоко в звезды летят несколько тактов "Неаполитанской серенады" Чайковского.

БЛАТМАН (*Мясичеву*). Ну как?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*икая, как бы протрезвляясь*). А че-о-орт! Вы, правда, н-настоящие музыканты?

КУРПАС (*подходя к ним*). Айне музик ист варенлихе бэфридигун.

Что в переводе означает: “музыка – истинное удовольствие”.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*насторожись*). Это же по-немецки.

КУРПАС (*смеясь*). А мы – евреи. Мы в Россию через Германию когда-то пришли.

ШАРОНОВ (*перебивая его*). А вот ты – прокурор, да? Так вот скажи, бывают на работе у тебя удовольствия? Только как на духу, откровенно.

КУРПАС. Какие там удовольствия! Ну разве что вместо одного троих засадить удастся или вместо пяти десятку вклеить, да?

Блатман резко кладет смычок на скрипку. Курпас оттягивает на контрабасе тугую струну. Иван Калита вместе с прокурором носятся вокруг костра.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*останавливаясь против архивариуса Чернеги*). А ты чего, как сын? (*пошатываясь, выглядывается в него*). Наше общество игноррируешь?!

АРХИВАРИУС ЧЕРНЕГА (*втягивая голову в плечи*). Мне нельзя, я при документах.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Ну так что у тебя? Раскрывай тайну, я разрешаю!

АРХИВАРИУС ЧЕРНЕГА. История, товарищ прокурор, не разрешает. Здесь у меня архив ЗАГСа, запись актов гражданского состояния. Представляете? Война пройдет, люди будут жить мирно, им же потребуется что-то выяснить, уточнить. Кто когда родился, когда и на ком женился...

Раздвигаются тучи, выглядывает луна.

БЛАТМАН (*глядя на небо*). Семь тысяч лет плюс еще, кажется, двадцать человечество живет под Луной. И когда же под Солнцем-то будем?

СЦЕНА ПЯТАЯ

Все умываются, бреются. Прокурор Мясичев мучается головной болью.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*Блатману, раздраженно*). Кажется, по-немецки вчера говорили? Уффф, контра! Ненавижу сам себя и спирт ваш поганый, вонючий, сырец...

Однако выпивает. Вздыхает тяжело. Туповато смотрит в небо.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. А где же Луна?

КУРПАС (*угодливо*). Собака съела.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*удивленно*). Когда?

КУРПАС. А еще ночью. К утру уже не было... Какой, думаете, год сегодня?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*машинально*). Ну да, год какой у нас?

КУРПАС. Так, у нас сегодня 1941-й, 5 октября, а у вас? Год вашего рождения какой, товарищ прокурор?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Ну, 1913-й.

КУРПАС (*извлекая из папки журнал*). Вот как по “Брюсову календарю” судьба определяется... Вы родились, допустим, под планетой Венера. Смотрим, нынешний год под Венерой. И что же вам предсказывает граф Брюс? А вот что: “Родившиеся под Венерой бывают очень пригожи, влюбчивы, охотны к музыке и танцеванию...”

АРХИВАРИУС ЧЕРНЕГА (*подавая наконец голос*). Вот вы вокруг костра с вечера и танцевали.

КУРПАС (*продолжая*). “... с кудрявыми волосами и круглым лицом, роскошны, милосердны, женолюбивы, таковые женятся на чужой стороне, проживают до 85 лет”.

ШАРОНОВ. Ну вот, товарищ прокурор, а вы морщитесь. Да вы же эту войну переживете.

БЛАТМАН. А что там о погоде Брюс говорит, чего ожидать?

КУРПАС (*листая календарь*). Так, так. Вот. “Осень теплая, ясная до середины, потом холодно. В начале октября дожди прекратятся, потом пойдет снег...”

АРХИВАРИУС ЧЕРНЕГА (*ворчливо*). Чему верить-то? Все поспуталось. Ночью луна была туманная, к дождю. А вон воробышки взмыкались – ведро вешают. Чему верить?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*строго*). Верить надо в партию и в товарища Сталина, вредные разговорчики прекратить!

Архивариус Чернега еще туже обхватывает свой чемодан, примолк и теперь уж надолго.

Появляется Иван Калита. Кладет на газетку у костерка буханку хлеба, десяток яиц.

ИВАН КАЛИТА (*сияя*). А там, в деревне-то, свадьба! Нас зовут. Вот дали аванс (*показывая из-за спины бутылку самогона*).

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*подзывая Великанова, гневно*). Я же тебе приказал: никого из лагеря!

ИВАН КАЛИТА. Да они говорят, и прокурора тоже можно. Что, прокурор, что ли, не человек?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*ворчливо*). Ну прямо как дети. А ведь боевая обстановка кругом, и никакой бдительности. А ты, Иван, такой прохиндей!

ВСЕ ТРОЕ СРАЗУ (*Блатман, Шаронов, Курпас*). Молодец, Иван! Что бы мы и делали без Ивана? Кормилец ты наш...

БЛАТМАН (*оживляясь*). На свадьбу – так на свадьбу. Но внешний фактор важен, ребята! Белые рубашки, черные бантики. У кого есть запасной? У тебя, Курпас? Отдай запасной Ивану.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*Блатману*). Это зачем вам бантики? Что, без бантика, что ли, никак невозможно?

БЛАТМАН (*Мясищеву, подмигнув остальным*). Но мы же артисты! Наша музыкальная команда так и называется – “Четыре бантика”. Вот доедем до Ельца, вольемся в какую-нибудь фронтальную бригаду.

ВСЕ РАЗОМ (*собираясь на свадьбу, аж приплясывают, напевая*). “Четыре бантика, четыре бантика”.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*Великанову*). Ладно, запрягай Россинанта! Едем!

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Околица. Крайняя хата. Перед подводой вырастают двое – дед с двустволкой и женщина с вилами.

ОБА СРАЗУ. Стой! Кто идет?!

Великанов мычит им что-то невнятное.

ДЕД (*с двустволкой*). Мы силы самообороны, деревню обороняем.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*рассмеявшись*). Это вилами-то?

ЖЕНЩИНА. Это дедушка Герасим, он с “тозовкой”, лучший охотник в округе. Ну а я тетка Гаша, я ему помогаю... А то уж как третья неделя у нас тут безвластье. Хуже невозможно. Из соседних деревень налетают, грабят, вражеские диверсанты бродят, но матом по-нашенскому ругаются, сало ищут, молоко отымают.

ИВАН КАЛИТА (*спрыгивая с телеги*). Это у вас тут в деревне свадьба сегодня?

ДЕД ГЕРАСИМ И ТЕТКА ГАША. А, это ты, Иван? Своих на свадьбу привел? Личность знакома, милости просим.

ИВАН КАЛИТА. Как и договаривались, музкоманда – ансамбль “Четыре бантика”. Вишь, тетка, все в бантиках. Осколок от симфонического оркестра имени города Минска. Ты, темнота деревенская, про такой-то столичный город слыхала?

ТЕТКА ГАША (*смеясь*). Да слыхала, слыхала! Да где ты брехать-то так научился! Нам бы, Иван, хоть какую-никакую гармошку.

ИВАН КАЛИТА (*изумляясь*). Гармошку?!! Да тут люди имеют дело с этим, как их... с мадригалами (*поворачивается к Курпасу*).

КУРПАС. С кресчендо, дядь Вань, и с модерато.

Шаронов извлекает из футляра трубу, и серебряные звуки устремляются в небо: "Меж высоких хлебов затерялося..."

ТЕТКА ГАША (*расцветая от удовольствия*). Ух ты, да мы тут такую свадьбу закатим! Прямо под яблонью. А зачем забиваться в избу, верно, товарищи?

БЛАТМАН (*подавая команду*). Распрягай Россинанта, Муму! Товарищ прокурор, вы не против, я думаю?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*вяло*). А-а, да ладно.

БЛАТМАН. Ничего-ничего. Сейчас головку вашу поправим, поправим.

Все хлопочут, устанавливая под яблонью свадебный стол. Тетка Гаша носит и ставит на него снесь.

ТЕТКА ГАША (*объясняя охотно*). Дочку-то мою Нину по нужде выдаем. Женихи наши все на фронте, а Федька этот Шутеев – приبلудный, он над ней и подшутил. Как же это, чтобы дите без отца-то было?.. Федька говорит, он из окруженцев, в окружение часть попала...

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*строжась все еще*). Чего ж он под юбку прячется? В армию, на сборный пункт надо. Дезертир, значит?

ТЕТКА ГАША (*жалостливо*). Какое там дезертир! Только что рана на правой ноге поджила.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*не отступая от своего*). Небось, самострел сам себе устроил.

БЛАТМАН. Так, ребятки! Достаем белые концертные рубашечки... тетка Гаша, у тебя есть утюг? Ах, рубель? Ну, давай рубельник. Прокатаем рубашки рубельником... бантики надеваем. Все, как всегда. Мы же артисты!

Курпас гоняется по двору за петухом. Тот бегают, заполошный, вырываясь из рук.

ШАРОНОВ (*Курпасу*). Твой дед воистину все привычки ему свои передал.

ШАРОНОВ (*Курпасу*). Твой дед, наверное, тоже кур пас.

КУРПАС (*иронично, на известный всем музыкантам манер*).

А пошел ты на... на... Иэх, ходила дивчина бережком. Иэх, ходила дивчина бережком. Иэх, ходила дивчина бережко-о-ом...

ШАРОНОВ (*подыгрывая ему*). Слушай, друг, спиши песню.

Тетка Гаша выводит из хаты жениха и невесту.

ТЕТКА ГАША (*торжественно, обращаясь ко всем*). А это вот наши молодые. Федя, значит, Шутеев... и дочка моя Нина, жана его, значит... Непутевая, а какая ж еще... вот гостечки наши дорогие – музыканты, говорят, из Минска, а без гармошки.

ИВАН КАЛИТА (*подмигивая всем*). Ничего-ничего, мать, лично я для тебя специально сыграю.

ТЕТКА ГАША (*окликая дедушку Герасима, стоящего в отдаленности с двустволкой*). Эй, дед, отвлекись маленько!

Дед и ухом не ведет.

ТЕТКА ГАША. Посылала деда в Акинтьево за попом. Так поп, гырят, ушел вместе с армией, нет попа. И сельсоветчики поуводрали, нет, гырят, никого и из сельсоветчиков.

БЛАТМАН (*успокаивая ее*). Ничего, ничего, мать. Видала, вон тот мужик с большим чемоданом? Большой человек! С чемоданом никак не расстанется. В чемодане его хранится печать – ЗАГС, запись актов гражданского состояния... на каждого человека... Эй, Чернега! Есть у тебя чистые бланки? Какие бланки? Ну, какие на свадьбу гожи. Чтоб скрепить брак жениха и невесты. А что же теперь делать, молодых тут и будем расписывать... Итак, все готовы? Подходите, расписывайтесь. Брак будем скреплять документом гражданского состояния.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Та же околица. Тот же стол под яблонью. За отдельным столиком архивариус Чернега.

БЛАТМАН (*строго, как администратор*). А ну, кто будет свидетелем? Двое со стороны жениха, двое со стороны невесты. Ну, я со стороны Нины и ты, Иван. А со стороны Федора? Вот ты, Курпас, вижу, изъявляешь, не терпится тебе за стол, к угощению. Ну и, может быть, Великанов?

ШАРОНОВ. Да он же того... му-му... Великий Немой...

БЛАТМАН. Ну и что, а писать-то может. Можешь, Муму? Видишь, он делает знаки, что может... Ах, все равно недееспособный? Ну, тогда, Курпас, сам давай. Чтоб не только курам, значит, головы отрывал, но был бы еще и на серьезное дело способен.

Все по очереди подписывают бумагу: Курпас пытается сделать это и во второй раз, теперь уже

*со стороны невесты, но Блатман его отстраняет:
“Хватит с тебя, куроцун”.*

КУРПАС (*обращаясь к Мясищеву*). Вот вы у нас прокурор! Как у закона насчет этого дела (*щелкает себя по кадыку*), нет претензий? Все в натурализованном виде или как у негров в Латинской Америке? Сами черные, а штаны белые?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*морщась, всем видов показывая: слишком долга для него подготовка, его аж трясет*). В..се в..роде в... законе...

БЛАТМАН (*подмигивая Курпасу, и тот в момент предстает с известной канистрой*). А теперь, как и положено в ЗАГСе, по наперсточку.

Наливают каждому из канистры.

БЛАТМАН. Эй, дед! Иди-ка и ты!

ДЕДУШКА ГЕРАСИМ. Нет, нам не можно, я же на боевом дежурстве.

БЛАТМАН. Во бдительность, бляха муха! Ты у меня эту ночь тоже будешь стоять у канистры.

ШАРОНОВ (*усмехаясь*). Нашел кому доверять.

БЛАТМАН. Иди-иди, дед! Врежь за внучку-то. А за тебя Шаронов постоит. Иди, Шаронов, постой за деда.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*оживая сразу*). Э, нет! Великанов, ты на пост вместо деда! (*И глядя на всех выразительно*). Вот так-то лучше, понятно вам?

Небольшая заминка. Блатман берет на себя роль тамады, его голос опять гремит по околице.

БЛАТМАН. Жених и невеста, на главное место! Родители рядом – ты, мать, и ты, бабушка. Муму с ружьем за тебя, дедок, постоит. Постоишь, Великанов? Он постоит, покараулит нас, так, товарищ Мясищев? Жаль, колючей проволоки нет, мы бы еще и колючей проволокой замотались для верности, так, товарищ Мясищев?.. Ну, а остальные – свидетели, мы же музыканты. Музкоманда “Четыре бантика”, пердимонкль, слушай мою команду! Поправить на шее бантики, можно и без пюпитров, без нот пока можно... Нежно, талантливо играем – попури, концерт для скрипки с оркестром. Оркестр “Четыре бантика” имени Франческа да Римини! Оркестр, следи за мной! Считайте этой нашей генеральной репетицией, нашего большого концерта, который, друзья мои, мы все вместе еще сыграем, братцы, после войны!

Начинает все ту же протяжную мелодию “Меж высоких хлебов затерялося...”

ИВАН КАЛИТА (*выходя из себя на барабанах*). Горько! Горька-а-!!

Задаёт ритм, стучит все энергичнее. Блатман переходит на "Светит месяц", "Шаланды полные кефали", наконец, "бантики" срываются на "барыню", дед бросается в пляс.

БЛАТМАН (*давая отбой*). Ша! Мы тоже люди (*подмигнув своим "бантикам"*). Что-то стало холодать.

ОСТАЛЬНЫЕ "БАНИКИ"... не пора ли нам поддаться?

ВСЕ ХОРОМ. Будем петь и будем пить – надо молодых обмыть.

Садятся за общий стол.

На горизонте по-прежнему мечутся алые всполохи, глухо ворчит канонада. Отечественная война. Пир во время чумы.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

За столом жених и невеста, все те же "Четыре бантика". В боевом охранении – Великанов.

БЛАТМАН (*наливая каждому из канистры*). Предлагаю тост за молодых, за их долгую счастливую жизнь, если, конечно... (*пауза*). Если, конечно, фугаска не оборвет струны моей скрипки...

ШАРОНОВ. Не шути так мрачно, Федя, не надо.

БЛАТМАН. А чего так невеселы молодые? Предлагаю вспомнить самый смешной, самый веселый случай из своей практики... Ну, с кого начнем? Дедушка Герасим, ты крайний.

ИВАН КАЛИТА. Так у него уже все мохом поросло, задубело.

КУРПАС. Не понял. Не меряй, Ваня, всех на свой дубовый аршин.

ДЕДУШКА ГЕРАСИМ (*вставая энергично*). Это вот года три тому, Гашка не даст соврать, поехал я в Москву. Дети и внуки Кремль решили мне показать. Ну, и еще решили удивить кое-чем. Собрали, значит, в Москве там застолье, бутылку какую-то больно мудреную выставили: пей, дескать, дед, дегустируй, трудовое крестьянство! Сроду такой не пивал. Три года доставали, два года в шкафу держали. Лизнул я стаканчик, другой. "Ну как?" спрашивают. "Да что, – говорю, – видали мы ваше питье, бухарики! Бабушка ваша, царство ей небесное, покойница, каждый день, бывало, пивала такое же как лекарство перед едой". Ну, грохнули они. От смеха, правда, не лопнули, но колокольня Ивана Великого в Кремле похилилась, как и в Ярославле, а в деревне хрен в огороде упал, ногу быку, говорят, придавило.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Бреши, дед, бреши, да поменьше! Нашу жизнь с ихней не путай. Это у них там, за бугром, Пизанская башня валится, валится, никак не завалится.

БЛАТМАН. А вот у вас, товарищ генеральный прокурор, есть в запасе какая-нибудь история?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Смешная? Со мной? Соображаете, что говорите?! Хотя... Прихожу, значит, в банк я как-то, в областную контору. Естественно, насчет денег, зачем же еще? А управляющий решил пошутить: "Сколько, — говорит, — вам надо?" Как будто не знает. "Ну я, — говорю, — не жадный, всегда даю больше, чем надо". А он мне: "Ну вот хотите, дам денег столько, сколько вы весите?" "Хорошо, — говорю, — только дай прежде пойду пообедаю". Пошел, поплотнее посл, прихожу, а там уж табличка: "Ушел на ужин"... Вот после он смеялся у меня уже в другом месте... Га-га-га-га-а... А вы чего не смеетесь?

ШАРОНОВ (*ослабься*). А то вот такая история. Но не со мной, а у нас, в Гренландии. Обвиняемого — нашего брата чукчу, ну, эскимоса, какой эскимо все поел — допрашивают: — "А скажите, что вы делали в ночь с 1 октября по 31 марта?"

Блатман смеется долго и выразительно. За ним — Курпас, сам Шаронов, потом Иван Калига, невеста с женихом, даже прокурор от нечего делать и тот начинает трепыхаться вместе со всеми. Разрядка, диккий, гомерический смех. Все валяются по столу, падают на землю, в изнеможении катаются по траве.

БЛАТМАН (*резко остановься*). А когда это, с какого года по какой? Что — всегда так? Долгая полярная ночь? Да ну ладно. А вот один путешественник попадает на Север к одним людоедам, так те сажают его в котел, под котел уж дрова запихивают. Сейчас север, говорят, в юг превращать будем.

— О, пощадите, пощадите, да есть ли у вас что-либо человеческое?!

Великий людоед, наконец, услышал мольбы и говорит:

— Удиви меня — пощажу.

Вынимает путешественник зажигалку. Щелк — и пламечко загорелось, ого!

— Ха-ха-ха, — засмеялся главный людоед.

— Ну и что?!

— Впервые вижу, чтобы зажигалка загоралась с первого раза.

— Да? — вздохнул с облегчением путешественник, поднося пламя к дровам. — А где вы видели, чтобы дрова под костром горели просто так, просто чтобы было светло... Так с какого года ночь у эскимосов-то?

ШАРОВ (*переставая смеяться*). С семнадцатого, что ли? А то, может, двадцать лет спустя, как у трех мушкетеров?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*поднимаясь вдруг, одергивая гимнастерку*). И это, товарищи, совсем не смешно! Смеяться в такую страшную, священную для народа годину. Тут трибуналом пахнет, вот так!

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Та же деревня. Та же околица. Только наутро. Все собираются снова в дорогу. Грузят на телегу поклажу, кладут сверху музыкальные инструменты. Нина, невеста, прямо-таки липнет к Ивану Калите.

НИНА. И я с вами, возьмите.

БЛАТМАН. Чего это она? У нее же есть муж, кажется. А где этот Федя Шутеев?

ИВАН КАЛИТА (*играя весь, как жеребец застоялый*). Да вон под лавкой валяется. Как под лавку с вечера закатился, так и лежит там, полы грызет.

БЛАТМАН (*отводя его в сторону*). Ты, что ль, ночью к ней подкатился? (*показывая на Нину*). На соломке спал с персидской княжной?

ИВАН КАЛИТА (*гогоча*). А то кто ж? Слава богу, тетка Гаша всем постелила во всю избу. А Федька как надрался с вечера, забился под лавку и отключился. А она (*кивая на Нину*) во тьме пальцами по мне да по шее, по лицу. Прильнула всем своим жарким телом, впилась губами – не отдерешь, у-у, липучая! (*Нине*). Ну, чего прилепилась?

НИНА (*не отводя глаз, с дрожью в голосе*). Да-а, я с тобой хочу, а не с этим слюнявым. У него изо рта слюни. Он чужой в деревне, приبلудный. Мама говорит, дезертир.

ИВАН КАЛИТА. А чего же замуж пошла за него?

НИНА. Мама говорит, по нужде, раз уж ты от него забеременела. Чтобы ребенок, как война кончится, не рос сиротой.

ИВАН КАЛИТА. А я, что ж, по-твоему, ребенку твоему отцом должен быть теперча после того?

НИНА (*покорно*). Ты – хороший.

ИВАН КАЛИТА (*нервически*). Видали? Как вам это нравится! Да я на сборный пункт в Елец, в армию направляюсь. За Родину, за тебя, дура, иду воевать, может, там и погибну. И в команде этой на барабане играю тут временно.

НИНА. Все равно с тобой хочу! Ты горячий.

БЛАТМАН. Этого нам еще не хватало – обоза! Что скажете, товарищ прокурор? Как на это смотрит закон? Свадьба – одному, а жить, значит, с невестой другому?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*усмехаясь*). Раз женился (*показывая на Ивана Калиту*), пусть тут и остается.

БЛАТМАН. Да что ж они – вдвоем поле одно обрабатывать будут? А мы что делать будем без барабана?

Из избы выбегает тетка Гаша с рубельником, за ней с двустволкой дедушка Герасим.

ОБА (*к Ивану Калите*). Ах ты, паразит! Идиот ты этакий!) Обесчестил девку...

ИВАН КАЛИТА (*живо садясь в телегу и толкая Шаронова*). Давай, давай труби походную (*Великанову*). Полный вперед!

Шаронов берется за трубу, “бантики” прыгают в телегу, телега сдвигается с места. Позади тянутся друг за другом все трое – Нина, невеста, тетка Гаша и дед Герасим с двустволкой. Дед Герасим припадает на колено и стреляет в летящую мимо ворону. Ворона падает на круп лошади, лошадь переходит на бег трусцой, и деревня остается позади.

Телега движется по степи. Солнышко, теплый денек. Все снимают с себя лишнее, подставляя тело лучам. За спиной все так же погромыхивает канонада.

КУРПАС (*шутливо*). Это тетка Гаша там громыхает кастрюлями.

ИВАН КАЛИТА (*кусая соломинку*). На меня, что ли, злится?

КУРПАС. Не, на меня!

ИВАН КАЛИТА. Отчего ж на тебя-то?

КУРПАС. А вот.

Достаёт из-за пазухи живую курицу. Та с кудахтаньем вырывается на свободу, за ней показывается вторая.

БЛАТМАН (*резко*). Мародеры! Не потерплю!

КУРПАС. Одну тетка Гаша дала, а за другую – фотоаппарат свой оставил. “Леечку”, пускай тетка теперь огород поливает.

БЛАТМАН (*успокаиваясь*). А, ну ладно.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Фотоаппарат – вещь ценная, обмен даже не равноценен.

Поднимает трубу, переходит на мелодию народной песни “Еду, еду, еду к ней”. “Бантики” подстраиваются, телега ускоряет движение.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*глядя на небо обеспокоенно*). Какое чистое! Фугаску оттуда на шею кабы не шуганули.

Навстречу (за кадром) проходит обочиной воинская часть. Сапоги четко печатают шаг.

БЛАТМАН (*приостанавливая лошадь*). Тпрру, тпррру-у! Маршевая рота, ребята? На передовую? А ну, Шаронов, доставай заветную нашу канистрочку! Доставай! Надо ребятам...

Курпас наливает по мерке: "Следующий! Следующий! Следующий!"

ШАРОНОВ. Далеко ли, братцы, до сборного пункта?

ГОЛОСА. Не знаем. Мы с железной дороги.

БЛАТМАН (*радостно*). Уперлись, значит! Отступить перестали!

Великанов дергает вожжи. Показывает кнутом прямо перед собой.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. На Елец! На Елец!

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Опушка. Сарай на отшибе. Глуховатая деревушка. Перед телегой появляется деревенский дурачок с колотушкой, загораживает дорогу.

Великанов, мыча и жестикулируя, останавливает своего Россинанта.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*держась за кобуру с пистолетом*). Стой, кто такой?

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДУРАЧОК. Я – М-митя Ур-разов, ох-храняю д-деревню.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*усмехаясь*). От кого, от собак?

МИТЯ УРАЗОВ. Уж две недели как вся власть уводрала. А нас теперь грабуют.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*все еще строжась*). Кто посмел?!

МИТЯ УРАЗОВ (*улыбаясь блаженно*). А кому не лень. Кто проходит мимо, тот и грабит. Безвластье же. И ты будешь грабить? Только грабить нечего, все уже унесли. В риге вот только хлеб немолоченый.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Я – власть, прокурор!

МИТЯ УРАЗОВ (*улыбаясь еще блаженнее*). Прокуроор? А чего ж на телеге сидишь?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. А на чем же еще?

БЛАТМАН (*спрыгивая с телеги*). Сапожник в деревне найдется? Подметка оторвалась.

МИТЯ УРАЗОВ (*упершись взглядом в него*). А зачем?

БЛАТМАН. Как зачем?

МИТЯ УРАЗОВ (*улыбаясь как-то жалко, растерянно*). А тебя через три дня убьют (*тыча пальцем в остальных*). И вас тоже... Ты сидишь (*поворачивается к Великанову*) уже с мертвяками. Телега ваша полна мертвяков...

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*вспыхивая*). Что ты мелешь, дурак!

МИТЯ УРАЗОВ (*хлопая руками себя по бокам, изображая ворона – летящую птицу*). Га-га-га!..

Убегает в провал распахнутого сарая. Все сидят какое-то время молча, как язык проглотили.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*Великанову*). Распрягай коня! Заночуем.

Разбивают лагерь. Курпас ныряет в дверной провал, выбегает оттуда.

КУРПАС (*радостно*). Там хлеб в снопах, немолоченный! И конная молотилка!

ИВАН КАЛИТА. Везет же дуракам.

БЛАТМАН (*строго*). Хорошо, разберемся с хлебом. А сейчас, Ваня, марш за дровами! Шаронов, твое дело – костер. А ты, Курпас, видишь картофельное поле? Ты мужик с инициативой, знаешь, что делать...

Прокурор Мясищев, явно обеспокоенный, озирает сумерки, как собака, чуя опасность. За сараем мелькает тень.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*хватаясь за пистолет*). Стой, кто там?!

Тень замирает на месте. На свету, перед костром, появляется мужик.

МУЖИК. Это я – Колганов, здешний староста.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Староста, какой староста? Что – тут уже немцы?

СТАРОСТА КАЛГАНОВ. Да нет, просто люди выбрали меня старостой, пока хлеб не обмолотим. А все вручную, одни бабы с детьми да старики. Молотилку из соседней деревни ребята приволокли, а коней в армию позабирали... Помогли бы нам? Ну хотя б на денек задержались с конем.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Это невозможно. На Елец спешим. До Ельца, старик, далеко?

БЛАТМАН (*подходя к ним*). А хлебом, старик, можно у вас подразжиться? Ну хотя в обмен, на спирт, скажем?

СТАРОСТА КАЛГАНОВ. У нас пить некому. В риге хлеб немолоченный. У вас конь, а у нас молотилка. Снопы обмолотите – с хлебом уедете.

БЛАТМАН (*обращаясь ко всем*). А что, ребята, это идея! Товарищ

прокурор, надо помочь... Да и спицы в колесах вихляются. Пару хороших колдобин, и телега рассыплется.

ИВАН КАЛИТА. Я до войны бондарничал, бочки делал на деревообделочном. Со спицами как-нибудь справлюсь, переберу.

Великанов, Шаронов и Курпас стоят молча. Архивариус Черенег сидит на камне, качается-раскачивается, все так же крепко сжимая в руках чемодан.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Ну, хорошо! За день должны управиться. Великанов, в боевое охранение! Остальным на боковую!

По горизонту по-прежнему мечутся красные сполохи. В отдалении глухо ворчит канонада.

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Раннее утро. В деревне кричит петух. А внутри риги всюду уж кипит работа. Староста выносит из сарая мешок на спине, валит в телегу.

СТАРОСТА КАЛГАНОВ. Это, ребятки, вам!

БЛАТМАН. Может, сменить вас с Калитой? А вы пока передохнете?

СТАРОСТА КАЛГАНОВ. Ничего-ничего, кто на че способен. Кто пахать, а кто скоморошничать. Вы на скрипке играете, пальцы не поборвите.

БЛАТМАН. А откуда ты тут грамотой такой?

СТАРОСТА КАЛГАНОВ. До войны я на Донбасс зимой уезжал на заработки. Так туда-сюда и шмыгал... Эге, слышу, Иван кличет: "Эй, Муму!" Иди подсоби ему.

Подходит прокурор Мясичев.

СТАРОСТА КАЛГАНОВ (*угодливо*). Наши-то как уходить, так всю рожь по деревням сожгли. А мы свою отстояли, не дали сгореть. Перерыли поле лопатами, полымя остановили. Да они возвратились...

ШАРОНОВ И КУРПАС. Да кто хоть?

СТАРОСТА КАЛГАНОВ. А они – сельсоветчики. С факелами. Еще и пригрозили. Мол, вы одурели, что ли, хлеб врагу оставлять? Мол, направим сюда заградотряд... Остались в деревне одни ветхие старики да малые дети. Остальные по оврагам прячутся. Да вот мы с Митей Уразовым тут околачиваемся, караулим...

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*вмешиваясь в разговор*). Ну и что, правильно сделали, что ли, что хлеб не спалили? Нарушили приказ товарища Сталина – не оставлять врагу ни единой нетронутый пяди.

СТАРОСТА КАЛГАНОВ (*косясь на него*). А ты кто такой строгий?
ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Я? Я – Советская власть, прокурор!

СТАРОСТА КАЛГАНОВ (*осмелев*). Начальство все на пролетках с бабами в обнимку мило давно пролетело. А ты плетешься с табором этим. Гляди, фрицы хвост кабы не пришемили.

*Появляется Митя Уразов, деревенский дурачок.
Стоит, крутит в руках колотушку.*

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*Калганову*). Ты думаешь, если наши ушли, нет на тебя управы?

СТАРОСТА КАЛГАНОВ. А из меня страх весь уже вышел, испарился. Не верти глазами-то, испужал! Чего нам теперь бояться-то? Враг вот-вот на пороге, чего страшнее... А хлебушек свой мы научились прятать, еще когда колхоз создавали. Так, бывало, зарем — никакой черт на дознается... Я под смертями разов пять бывал. И когда кулачили — к стенке ставили, полдеревни отправили на Соловки, там и сгнили. И когда в шахте в завал попал... А чего защищать-то мне? Прежнюю страшную жизнь? Тебя в ней, прокурора, с твоей стриженной бабой?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Ишь, как разговорился!

СТАРОСТА КАЛГАНОВ. Кабы было все так в стране, врага сюда, до пупка России, не допустили бы. Как в первую мировую, на подступах бы держали. А то вот куда, под самое горло! И ты, прокурор, деру вместе со всеми...

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*угрожающе*). Ты у меня доболтаешься!

СТАРОСТА КАЛГАНОВ (*смеясь, деревенскому дурачку*). А ну, Митя, глянь на него. Что о нем, Митя, скажешь?

*Митя Уразов переминается с ноги на ногу.
Замашная рубаха грязна у него, ноги в цыпках.*

МИТЯ УРАЗОВ (*наконец, каким-то скрипучим, каким-то нутряным голосом*). А чего их бояться-то. Я уж им сказал, через три дня помрут... А этот и тот (*кивая на Чернегу, потом на Великанова*), только они и останутся. Остальных вижу в сырой земле... во сырой земле, во сырой земле-е, га-га-га...

Митя охлопывает себя ручищами, словно ворон крыльями, гогочет, выглядывая из-за телеги.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*хватаясь за пистолет*). Застррррелю, сввволочь!

Великанов повисает у него на руке. Мычит что-то, вцепясь мертвой хваткой.

Остывая, прокурор засовывает пистолет обратно в кобуру. Митя Уразов подходит к костру,

выкатывает печеную картофелину, принимается жевать ее прямо нечищенную.

ШАРОНОВ. Да, Курпас, это тебе не кур воровать.

КУРПАС. А это тебе не контрабасу струны обрывать.

ПРОКУРОР МЯСИЦЕВ. Да замолчите вы, как раскаркались! Всех бы вас проверить как следует! Почему это вы аж от Минска все вместе чешете? И почему на немецком меж собой говорите? А мы, между прочим, в прифронтовой полосе, здесь действует один фронтовой закон: шаг в сторону – к стенке!

БЛАТМАН (*выходя из ворот сарая*). Эй, ребята! И второй мешочек готов. Кто там, подмогните.

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

И опять скрипит телега в широкой степи. Но теперь уже ход ее замедленен, тяжек.

ВЕЛИКАНОВ (*понукая коня*). М-му, м-му!

БЛАТМАН (*сбрасывая с себя оцепенение*). История знает всякие случаи... При Иване Грозном был один такой – блажной, ясновидец. Еще мальчишкой помогал сапожнику, в подмастерьях был. Зашел как-то “балярин”, ткнул сапогом – почини. “А зачем, – говорит подмастерье, – ты же завтра помрешь”. И, как в воду глядел, лошадь через день стоптала “балярина” насмерть-то...

И опять едут молча. Лишь скрипит и скрипит телега.

БЛАТМАН (*продолжая*). И один из больших пожаров московских дурачок предсказал, дескать, начнется со Сретенки. Вся Москва сгорела... А когда умер блаженный, так сам Иван Грозный нес гроб с его телом.

КУРПАС. Небось, сам и зажег Москву.

ПРОКУРОР МЯСИЦЕВ (*подозрительно*). Кто?

КУРПАС. Да Иван же.

ПРОКУРОР МЯСИЦЕВ. Какой?

КУРПАС (*улыбнувшись*). Да вот он же, Иван Калита. Как Нерон спалил Рим – вечный город.

БЛАТМАН. А то книга такая есть – “Записки Юлия Цезаря”. Там, где Франция ныне, в части ее, во время Древнего Рима жил народ, назывались они гельветы. И вот стало тесно гельветам. И решили они отправиться на завоевание новых земель. А чтобы отрезать надежды на возвращение, сами взяли все свое и сожгли. Так и написано в книге: “Все свои города числом до двенадцати, села числом около четырехсот и сверх того все частные хутора,

сожгли и весь хлеб. за исключением того, который должны были взять с собой на дорогу”.

ШАРОНОВ. Пословица такая у древних римлян: “сжечь мосты”...

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*еще более подозрительно*). Что ж вы думаете, мы нарочно сейчас отступаем? Враг вероломно напал на нас, воспользовался преимуществом.

На бреющем пролетает самолет, разбрасывает листовки. Они сыплются на телегу, мимо нее, на лица. Телега продолжает движение. Никто в телеге не обращает внимания на листовки. По обочине идут люди (за кадром). Все в телеге встают, машут им вслед.

ИВАН КАЛИТА. Эй, земляки! Из каких краев будете? (*оборачиваясь к своим, в телеге*). Ребята, надо сбросить им пару мешочков, голодный народ. Да и коню легче...

Сбрасывают мешок с рожью.

ИВАН КАЛИТА (*крича вслед*). А зернцо где-нибудь смелете-е-е!

И опять движется степью телега, скрипят немазаные колеса. А навстречу (за кадром) движется большая живая масса с техникой. Спешат в сторону фронта.

БАТМАН (*встав на телеге*). Эй, ребята! Пушкар! Хлебца возьмете? Вот этот мешочек? (*обращаясь к своим, что в телеге*). Ничего, донесут. От хлеба еще никто не надорвался.

Сбрасывают с телеги еще мешок.

И опять скрипит телега. Убыстрятся ход, и уже улыбки появились на лицах, веселее пошли разговорчики.

АРХИВАРИУС ЧЕРНЕГА (*подавая голос*). Отдавать-то, оказывается, хорошо!

КУРПАС (*смеясь*). Хорошо, хорошо, когда выпил и ищцо!

Все явно повеселели. Блатман раскрывает футляр, вынимает скрипку. Шаронов освобождает от фланельки трубу – свой корнет-а-пистон. Курпас встает в телеге во весь рост, настраивая контрабас. Иван Калита кладет на барабан свои барабанные палочки.

БЛАТМАН (*запевая протяжно и грустно*). Ай, Шнайдерл, тарата-титита, та... (*затем более весело*). Ой, Джанкой, тарита, рита-рита...

Берет скрипку в руки, переходит к залихватской мелодии “Еду, еду, еду к ней...”

Так и идет телега по широкой степи. А сзади нее ходят, гонятся за ней алые сполохи, глухо ворчит артиллерийская канонада.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
ко второму действию

*Великанов с гитарой у обелиска. Та же песня
Аюпова на слова Тряпкина.*

*Сколько снегов промчалось,
Сколько дождей пролилось,
Сколько опять – в коренья,
Сколько опять – в зерно.
Грозы прошли над миром,
Древо отцов свалилось
И на сыновние плечи
Прямо упало оно.
Пусть же на тех погостах
Грустно поют свирели.
Пусть говорят на струнах
Ветры со всех сторон.*

*Пусть же послышится в песне
Скрип моей колыбели –
Жизни моей человечей
Благословенный сон.*

СЦЕНА ПЕРВАЯ

*Так же скрипит телега. Та же широкая степь.
Прокурор Мясищев сидит, нахохлясь. Зло свер-
кают очки.*

БЛАТМАН (*подъезжая издалека*). Ну, вероломно, вероломно напали – факт! А что же теперь, и дальше будем жечь – отрезать путь к отступлению? Деревенька хлеб в землю прятать привыкла, сколько по России таких деревенок?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Вредные разговорчики! В мирное время и то бы за такие дела... Если будем все как лебедь, рак и щука, что будет с нами? Вон у Гитлера в планах Москву затопить, сделать на ее месте искусственное море...

БЛАТМАН (*заводясь*). А почему Калганов зарывал хлеб тогда, почему зарывает сейчас?

КУРПАС (*доставая заветную канистру*). Вот старшина останавливает на улице подвыпившего солдатика. “Дурак, – говорит

старшина. – Пил бы поменьше – мог бы стать старшиной”. “Ну, и что? – отвечает солдатик навеселе. – Подумаешь! Когда выпью, я становлюсь генералом”.

*Все смеются, в том числе и прокурор Мясищев.
Так и едут, настроясь уже на другую волну.*

ШАРОНОВ. А то вот такая история... Мальчик подбегает к дедушке-генералу в отставке: “Деда, я стану военным”. “Станешь, внучек, станешь”. – “Деда, я стану генералом”. – “Станешь, внучек, станешь”. – “Деда, я стану маршалом”. – “Э, нет, внучек, нет”. – “Почему?” – “Потому что у маршалов есть свои внуки”.

И опять все смеются. Скрипит себе, едет дальше телега.

КУРПАС (*не унимаясь*). А то рядовой смочит ватку спиртом и протирает прибор. Старшина в гневе: “Я тебя разве этому учил?” Берет канистру со спиртом, делает боольшуший глоток, вот такой, нет, такой!.. Затем вот так дышит на ватку и... и... кладет ватку в рот, тщательно пережевывает...

ИВАН КАЛИТА. Ого! Сразу полканистры... А я по-другому слышал...

КУРПАС (*смеясь*). Творческий подход, называется... А то во время проверки генерал спрашивает рядового: “Что такое Родина?” – “Это наша мать”. – “Правильно. А знамя?” – “Это одеяние нашей Родины”. – “Замечательно. А почему нужно умереть за знамя?” – “Да вот я и сам об этом же спрашиваю”.

Прокурор Мясищев поднимает голову, настораживается опять.

ИВАН КАЛИТА (*Курпасу с подковыркой*). А творческий подход – это вот что... Иду, значит, я, старшина, по городу, а вот он, товарищ Мясищев, выходит из машины. И я перед ним вытягиваюсь в струнку. А он и спрашивает меня: “А ты знаешь, какая у меня должность?” А я говорю: “Как же, знаю, вы генеральный прокурор. – А он мне: нет, я просто прокурор. А знаешь, что может простой прокурор”. – “А что угодно, – говорю. – Кроме того, как приказать Шаронову, чтобы он мне тоже налил “стопарик”?”

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*реагируя тут же*). Шаронов, да налей ты ему, пусть отвяжется.

Все смеются. Смеется, довольный собой, и сам прокурор.

КУРПАС (*затевая опять*). Вот подходит старшина к прокурору. Ну не к нашему Мясищеву, а к другому, тоже Мясищеву. И спрашивает:

“А правда, товарищ, прокурор, что крокодилы летают?” – “Ты что, одурел? Ну, конечно, нет”. – “А вот в кодексе написано, что летают”. – “Ну да, летают. Только низенько-низенько”.

Все так и взрываются от хохота. Молчит лишь прокурор Мясищев. Отсмеявшись, Великанов толкает Курпаса, тот достает записную книжку и карандаш. Великанов пишет в ней.

КУРПАС (*читая написанное*). “Рядовой пишет домой: мам, заведи кота, назови “Старшина”. Приеду – убью!”

Все “га-га-га”. Прокурор Мясищев сдержанно улыбается. Великанов опять толкает в бок Курпаса, тот опять достает записную книжку.

КУРПАС (*снова читая написанное, обращаясь к Ивану Калите*). “Товарищ старшина! К тебе жена приехала”. – “Не к тебе, а к “вам”, сколько раз говорить!” – “К нам она вчера приезжала, а сегодня к тебе”.

И опять все хохочут. Смеется теперь уже и прокурор Мясищев.

БЛАТМАН. Глядите-ка! Великий Немой заговорил. Ишь, что придумали вместе с Курпасом. Дуэт Ленского и Онегина “Не разойтись ли нам, пока не обагрилася рука...”

КУРПАС (*спрыгивая с телеги*). Впереди вижу большое скопление народа. Мировая мишень для фрицевских “мессеров”.

ГОЛОС СО СТОРОНЫ. Стой! Распрягайте, хлопцы, коней!.. Все приехали. Строительство Ливенского укрепрайона. Отработаете сутки – выпишем пропуск, дальше езжайте. Приказ военного коменданта.

БЛАТМАН (*отдавая команду*). Привал!

СЦЕНА ВТОРАЯ

Высотка. Противотанковый ров. Перед насыпью телега оглоблями в небо. Те же и бригадир строителей Ливенского укрепрайона Верховод – невоенный, бывший прораб.

ВЕРХОВОД (*прокурору Мясищеву*). Да не могу я вас пропустить, не могу! Приказ военного коменданта полковника Зеленцова. Ах, где сам Зеленцов? Командованием вызван срочно в Елец. А я оставлен тут за него. Да, со всеми полномочиями.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*горячась*). Я – прокурор! Мне тоже срочно в Елец, срочно! Везу важные документы. Да где наконец у вас телефон?!

ВЕРХОВОД (*как можно спокойнее*). И телефона нет. Вчера был массированный налет. Прямое попадание в рацию. После налета рабочих рук еще меньше, к сроку можем и не успеть. А враг напирает. Представляете, чем это грозит? Части наши уже на подходе, рубеж пора занимать, а тут – слышите?..

С высоты видны еще более грозные сполохи, по горизонту стелется артиллерийский гул.

ВЕРХОВОД. Ну, хорошо, хорошо! Вас одного я пропускаю. Но, учтите, без лошади. Лошадь будет использована на работах.

ПРОКУРОР МЯСИЦЕВ (*взвинчивая себя*). Вы за это ответите! Вы, товарищ Верховод, несете прямую ответственность! Да, именно вы! За то, что важные документы в штаб фронта не будут доставлены вовремя... Как это можно, лошадь принадлежит прокуратуре! Я лично езжу на Россинанте!

ВЕРХОВОД (*как можно спокойнее, твердо*). Видите, кто тут с лопатами? Женщины и старики! Половина – больные. Мы выдыхаемся (*обращаясь к Блатману*). Прошу вас, помогите...

БЛАТМАН (*оптимистически*). Ребятки, а ну расчехляйте инструменты!

ВЕРХОВОД (*разворачивая перед ними бумаги – план строительства укрепрайона*). Скажу по секрету, это часть большого стратегического сооружения. Так что пятились, пятились, от самой границы, а тут должны упереться, ни шагу назад! Отступить некуда, сердце России. Ну, хорошо, хорошо (*обращаясь к Блатману*). Вот вам задание. Видите, у самой речки ров недокопан, там вчера люди погибли от бомбы. Видите – валуны. Так вот, если сумеете за день дорыть ров, а валуны вывернуть и передвинуть сюда – отпускаю с миром. Выдаю пропуск, ставлю печать.

КУРПАС (*с укоризной*). Бухгалтерию развели.

ВЕРХОВОД. Видите, я пожилой человек, я дома раньше строил. Дом без документации не построишь... Анархия, дорогие мои, кончается. За укрепрайоном движение уже по пропускам. Действуют заградотряды.

БЛАТМАН (*к своим музыкантам*). Понятно? Пропуск надо заработать – это факт. И где наши ломы, лопаты, товарищ прораб?

ПРОКУРОР МЯСИЦЕВ (*нехотя*). Ладно, определяйте нам фронт работ, наш участок.

БЛАТМАН (*весело, сверкнув глазами*). Оркестр “Черные бантики”! Слушай мою команду: надеть белые рубашки, повязать черные бантики! Выдвинуться сюда вот, к краю, пусть нас люди видят!

Начинает, как всегда, первая скрипка, за ней – труба, ритм ведет контрабас. Звучит вальс “На сопках Маньчжурии”.

А в небе уже заходят на бомбежку вражеские самолеты. Трещат пулеметные очереди, падают бомбы. Крики женщин, стоны раненых. Шаронов пытается спрятаться под телегу. Блатман, стоя, продолжает играть.

Где-то близко падает бомба, барабан у Ивана Калиты отбрасывает взрывной волной. Колита держит его в руках: с одной стороны барабан пробит, изуродован, Иван Калита переворачивает его на другую сторону.

И мелодия вальса все громче, звучит откуда-то свыше, с небес. И рев самолетов все глуше, стихают пулеметные очереди, бомбы уже не падают. Журчит ручеек – это из пробитой канистры стекает, булькая, на землю драгоценная влага.

ИВАН КАЛИТА (*с горечью глядя на изуродованный барабан*). Дай, Джим, на счастье лапу мне!

БЛАТМАН (*хриплым голосом*). Закончится война – возьму тебя в свой симфонический. И будет твой Джим сидеть на самом высоком месте, всем виден!

ШАРОНОВ И КУРПАС (*смеясь нервно, от нервного потрясения*). Ах-ха-ха-ха..ах-ха-ха...

Из-под телеги выбираются Мясищев, Великанов, Чернега. И тоже начинают смеяться. И Россинант вместе с ними ржет звонко, врастяг, как-то по-человечески.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Та же телега оглоблями в небо. Иван Калита с перебинтованной головой. Одна рука у архивариуса Чернеги на перевязи, другой он все еще цепко держится за чемодан.

ШАРОНОВ (*глядя оглоблю*). Как зенитка, вон как в небо уперта! А что же ты, милая, от самолетов-то нас не отбила?

Появляется Верховод.

ВЕРХОВОД. Пропуск пришел вам оформлять. Вам как – на каждого или общий?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Общий. Нам всем до Ельца.

Верховод подписывает пропуск прямо на дне телеги.

ВЕРХОВОД. Без этой бумажки до Ельца не доберетесь, не пропустят.

КУРПАС (*улыбаясь, снисходительно*). С бумажкой ты – человек, а без бумажки – тыфу, оглобля. Хлоп оглоблей – и как не бывало.

Великанов пишет что-то в записной книжке, передает Шаронову

ШАРОНОВ (*читая*). “Не каркай, ворона! Докаркаешься!”

Улыбка съезжает с лица Курпаса, он втягивает голову в плечи, опасливо косится по сторонам.

КУРПАС (*тихо, проникновенно*). Ты прямо как Митя Уразов. Помните Митю Уразова? Ну, в той деревне, где хлеб молотили.

ИВАН КАЛИТА. Помним, как не помнить? Не на каждом же шагу смерть тебе предрекают.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Ничего себе, веселые воспоминаньица! Нашли о чем вспоминать.

ИВАН КАЛИТА (*усмехаясь, с иронией*). Во время налета под телегой было, небось, хорошо? Броня крепка, и доски эти толсты.

КУРПАС. Что – тоже воспоминания?

ИВАН КАЛИТА. Да-да!

Прокурор Мясичев отходит в сторону. Держит в руке теперь официально, стараясь прикрыть некоторую растерянность.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*прикрикивая на Великанова*). Ну, запрягай, запрягай же коня! С вами такими разве поспеешь к сроку! То хлеб молотить, то ров рыть противотанковый. То шнапс распиивать, а то песни играть... Ну, готово? Грузись!..

КУРПАС. Сейчас, айн момент.

И роется на дне телеги, извлекает из-под соломы еще одну, запасную канистру.

КУРПАС (*оглаживая ее*). Цела! Радость наша, кормилица-поилица... Это Жорж Занд, писательница такая, была. Очень строгая с мужиками. Ну просто соковыжималка... Товарищ прораб, вашу кружечку (*наливает ему из канистры*). За окончание дела, за то, чтобы живы остались... Больше-то, может быть, и не встретимся. Хорошие люди редко встречаются. Давайте-ка за хороших людей...

ВЕРХОВОД (*подставляя кружку*). Хороших людей вроде много, а кинешься – все куда-то деваются.

Выпивает налитое, кладет в телегу документацию.

ВЕРХОВОД (*водя пальцем по карте-схеме*). Видите? Это участок укрепрайона. А это моя родная деревня, я тут родился. А вот тут... вот туточки... (*тычет пальцем*) моя хата родная была...

была... А теперь нет ее, нет моей родной хаты. Я сам, лично сам приказал ее срыть. Да! По схеме тут должна располагаться наша батарея. Впереди нее – танкоопасное направление, вражеские танки выйдут из этого оврага и попрут сюда наверх. именно здесь, больше нигде, узкое горлышко... И вот я срыл свою хату...

ШАРОНОВ (*сочувственно*). Как же так, дядя?

ВЕРХОВОД. Так надо! Да еще через весь огород рвище пришлось протянуть, полсада снес. А ведь я каждую яблонечку, как ребеночка, от зайчика, от мышки, от мороза... о Господи!..

Сворачивает документацию, подменяя нечаянно один лист другим. Вместо пропуска на телеге остается другая бумага. Она лежит поперек, ветерок треплет ею, пока Шаронов не сует ее, не читая, в нагрудный карман.

БЛАТМАН (*появляясь*). Ну, оформили пропуск?

ИВАН КАЛИТА. Да вон у Шаронова.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Так. Все уселись? Ну, Муму, трогай!

ВЕРХОВОД. Ну а что писательница-то... Жорж Занд?

КУРПАС (*весело, махнув рукой*). Потом когда-нибудь, после войны доскажу.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

И опять движется телега по широкой степи. И все те же в телеге.

ШАРОНОВ (*раздумчиво*). Ишь, скрипит.

Великанов что-то пишет в записной книжке, вырвав листок, передает ему.

ШАРОНОВ (*читая*). “А что ж я, соплями, что ли, колеса смажу?”

Все смеются.

КУРПАС. А давайте-ка вспомним, ребята, у кого какой был самый грустный, самый печальный денек или случай.

ИВАН КАЛИТА (*живо*). Да вот барабан хотя бы! Гляньте-ка, на один бок онемел, видали?

ШАРОНОВ (*с грустью*). Барабан твой мы отреставрируем. А вот в Минске у меня, когда покидал квартиру, на столе целая миска каши гречневой со сливочным маслом осталась.

ИВАН КАЛИТА. Кому каша, а кому картошка. Мы, орловские, на картошке выросли. Люблю, когда она в сале вот такими ломтями... плавает на сковороде...

- ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Веселые вы ребята! Тут смерть по пятам, а вы про кашу, про картошку. Интересное дело, а кто бы из вас от колбасы сейчас отказался?
- БЛАТМАН. В “Дон Кихоте” у Сервантеса Рыцарь Печального Образа со своим Санчо Пансой на постоянный двор прибывают. Так там такие колбасы по стенкам развешаны. И все чесночные.
- ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Вредные разговорчики! Расслабляют, не дают сосредоточиться.
- БЛАТМАН. Нет, почему же. Мясо дает силу нации, а сильному человеку – разум. Это где-то у Бальзака, кажется, как только там у них, в глубоком Провансе, открылась лавочка мясника, так у людей появилось лица осмысленное выражение...
- ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Сила тоже опасна. Так и прет, так и прет! Сначала человек за полено схватится, потом – за нож. Все трах-бах, разрушают, а кому это надо?
- ИВАН КАЛИТА. А что без царя в голове построишь-то, окромя глупости?
- ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*оглядывая снизу вверх каждого*). Ну вы и даете, ребята! Интересно тут с вами. Ни войны как будто, ни прокурора, ничего перед вами. Зато ваш коллега (*кивая на архивариуса Чернегу*) – человек невероятный, с великим опытом...
- ИВАН КАЛИТА. Во! Даже Великий Немой заговорил.
- ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Немой есть немой, Великий Немой.
- БЛАТМАН (*убежденно*). Время его придет!
- ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. И когда, по-вашему?
- БЛАТМАН. После Победы.
- ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Мы до нее не доживем, праздновать будут другие.
- ШАРОНОВ. Вот если бы меня спросили, что мне сказать в ответ, я бы ответил вам: “Не шутите так мрачно. Говорите про всех, а имеете в виду не себя, а нас ведь”.
- ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Я что-то вас не понимаю. Помните, что сказал нам всем Митя? А вы все шутите, как перед, в самом деле, концом.
- ШАРОНОВ. Нет, я просто настаиваю на таком анекдоте! Не бойтесь, в нем ни грана политики... Так вот, одна миллионерша с большими претензиями говорит одному художнику: – “Я картины ваши, – говорит, – покупаю, но ничего в них не петрю”. – “Замечательно, – говорит художник. – А по-китайски вы хоть что-нибудь петрите?” – “Нет, – говорит растерянно миллионерша. – Так вот, а на нем ведь? – говорит, – около миллиарда людей на Земле. Поняли, шпяхен зи дойч?”

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*снова подозрительно*). Вы, серьезно, говорите по-немецки?

КУРПАС. Не только по-немецки, но и по-русски... Вот, значит, покупатель в магазине и говорит: — “Опять у вас мяса нет?” А продавец отвечает: “Ну что вы! Мяса нет в магазине “Рыба” напротив, а у нас нет рыбы”. Га-га-га...

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*еще подозрительнее*). Ну и что все вы смеетесь? Высмеиваете некоторые довоенные перебои, отдельные недостатки?

ШАРОНОВ (*доставая снова канистру*). А то и высмеиваем, что хоть этого добра у нас навалом, без перебоя.

Все опять от души смеются. А сзади, по горизонту, все так же вспыхивают алые сполохи. Глухо ворчит канонада.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Та же степь. Те же люди. Та же телега в степи.

КУРПАС. От самого Минска не мыслишь. Грязь на мне висит килограммами, тоннами. Прямо-таки прижимает к земле. Как в могиле чувствуя себя...

ВСЕ РАЗОМ. Типун тебе на язык!

КУРПАС. Вымыться бы где-нибудь в речке. Так поздняя осень уж, холодно. В ванне бы полежать, как до войны. А лучше бы в баньке попариться. Смыть с себя все грехи свои тяжкие.

БЛАТМАН. Ценная мысль! Бежим от Минска, как оглашенные, а ведь деревни кругом, поселения. Неужто ни единой баньки?

ШАРОНОВ. Места-то какие, — степные! Откуда тут лес?

ИВАН КАЛИТА. Я вот на Севере был, лес пилил. Так там этих бань-ек! В каждой деревушке позади каждой избы.... у озера или у речки... Вот жизнь!

ШАРОНОВ. А чего же ты там не остался?

ИВАН КАЛИТА. Срок малый дали. Да и после как-то не захотелось. Яблок там нет, и вообще. Вон товарищ прокурор не даст соврать, там картошка и та неважно растет.

ШАРОНОВ (*допытываясь*). А баньки, значит, хорошие?

ИВАН КАЛИТА. А баньки ого! Особо на Соловках или под Каргополем, где с исторических времен еще Иван Болотников парился. Так, бывало, пропарят, до самых костей! Верно говорю, товарищ генеральный прокурор?... Это я грамотный, умею писать. Письма любовные научился строчить и канальчик один имел.

Письмо мое одно попало к любимому человеку. А другие, которые не умеют писать, до сих пор в той баньке-то парятся.
ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Зато чистыми оттуда выходят. Тоннами грязь на себе не носят.

БЛАТМАН. В каждой квартире бы ванну иметь. А не дожидаться, когда тебя раз в жизни отмоют на Севере где-нибудь или в Сибири.

АРХИВАРИУС ЧЕРНЕГА (подавая голос). Так просторы какие, сколько нас! Сколько квартир надо с ваннами, сколько банек...

БЛАТМАН (*аж переворачиваясь к нему*). Пррравиллльно! А то одна большая баня на всех. И намыливай каждому шею. Через всю Сибирь до самого Тихого океана. Население общее малое, территория освоены слабо. Вот таким образом и осваиваем...

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Вон Германия, у себя немцы все освоили – к нам сюда прутся. Прется к нам сюда, на наши великие земли, Европа! То тевтоны, то Гитлер теперь вот...

БЛАТМАН. Германия – другой вопрос, исторический. Корень один, да нота другая... При корне едином-то бьются листья один о другой, и дерево голое. А кому это надо? Может, мне, может, тебе, Шаронов, может, Ивану Калите или вам, товарищ прокурор?

КУРПАС (*иронично, с улыбочкой*). Вон Черенеге, архивариусу, все надо. Ишь, чемоданище какой заграбастал, как за него уцепился, за бюрократию эту. Оказывается, чемодан набит документацией. И каждая строчка – в пыли времен, память о каждом.

Чернега молчит.

БЛАТМАН. Во-он прудок у лесочка. И, кажется, деревенька. Может, с банькой-то повезет?.. Ну-ка сворачивай, Муму! В крайнем случае, помоемся у прудочка.

Телега перестает скрипеть, останавливается.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*Великанову*). Распрягай Россианта! Пусть тоже передохнет. Овсеца ему из резерва, теперь уже скоро приедем.

Все спрыгивают с телеги. Убегают к пруду. Слышны веселые крики, плескание. Появляется Блатман, затем Иван Калита, Курпас, Шаронов.

БЛАТМАН (*с полотенцем на плече*). Ну вот и сбросили с себя грязь веков. Курпас! Сбегай-ка в крайнюю хату, спроси молока.

Курпас исчезает. Все растираются полотенцами, кряхтят от удовольствия, причесываются.

КУРПАС (*вбегая*). И эта деревушка пуста. Эвакуированы... Во вторую от околицы хату попала фугаска. Крыльцо разворочено, а дверь заперта изнутри. И за дверью вроде как человеческий голос.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. И веселые ж вы, ребята! Но... с каким-то немецким акцентом. Западники. Поздно к нам присоединились, а то бы уж давно бы... давно были бы чистые... Ну, хорошо. Идем выяснять, что там за голос.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

У телеги. Появляются прокурор Мясичев с Блатманом, за ними – Иван Калита с незнакомой женщиной. Женщина плачет.

ИВАН КАЛИТА (*Блатману и Мясичеву*). Это Краюшкина Пелагея, это ее голос, она в халате плакала. У нее детей поубивало прямым попаданием...

АРХИВАРИУС ЧЕРНЕГА (*крестясь поспешно*). Господи, помилуй, Господи!

Все стоят перед Краюшкиной, не зная, что и сказать.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Похоронить детей... помочь матери...

ШАРОНОВ. А гроба нет.

ИВАН КАЛИТА. Может, холст найдется, в холст завернуть?

АРХИВАРИУС ЧЕРЕНЕГА (*решительно*). Надо по-христиански! В домовине. Души безгрешные.

ИВАН КАЛИТА (*женщине*). А доски-то есть у тебя, Пелагея?

Пелагея всхлипывает, не отвечает.

ИВАН КАЛИТА (*махнув рукой*). А-а, пошли! Найдем че-нить. Забор, перегородку какую-нибудь разломаем. Вернемся, мать, жди...

Иван Калита, с ним Шаронов и Курпас уходят.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*Краюшкиной*). Ну, и как хоть это произошло?

КРАЮШКИНА (*постепенно собираясь с духом*). Он уж неделю летал... Всех наших выгнали в другую деревню, за речку, а мы тут остались... Как он загудит, так мы под кровать. А как бомбам падать, так я еще сверху над ними, как квочка, над Васей и Олечкой... А вчера дай, думаю, печку истоплю, детей искупаю. Искупала их, значит, в кленовой лохани, а они такие чистенькие, веселенькие, сердце радуется. Ну и шмыг за порог, во двор, а он тут как тут. Видать, дым над хатой заметил да и швырнул бомбу... одну-единственную... И наповал обоих – Васеньке пять лет, а Олечке три годика толечко... Положила их на кроватку,

рядом лежат родименькаи-и-и- мои-и-и!... Да за что же меня так наказало-о-о, ох, да чем господа-бога я прогневала-а-а! Ох, Никола-угодничек, да заступничек наш ты, да чем же я перед тобой виновата! Ох, да как же я буду без них-то, без обоих-то сразу-у-у, как же управиться мне сразу с двумя-то-о-о... о Господи-и-и...

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*хмуро*). Ладно, мать. Пока не предадим тела детей твоих земле, не уедем... Великанов! В повозке под соломой должна быть лопата. Бери кого-нить из этих... из "бантиков"... и идите, копайте могилки. Надо похоронить детей по-человечески. Подождем, дай вернется Иван с ребятами.

Блатман, взяв Пелагею за плечи, усаживает ее возле телеги на вещи.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*архивариусу Чернеге так, чтобы слышала Краюшкина*). Ты вот учет ведешь людям, добру человеческому. А ты зверство это, преступление это, кровь эту невинную детскую запиши! После войны будут люди судить зачинщиков военным трибуналом, особая тройка... нет, всем миром будут судить. И эта капелька крови добавится – в тьму кромешную, в черные бездны потянет.

Появляются Блатман и Шаронов, затем Иван Калита. Молча стоят в отдалении.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*расхаживая перед Краюшкиной, все более распаяясь, чувствуя себя как в зале суда*). Народы мира спросят, мать! За слезы твои, за все твои бессонные ночи.

БЛАТМАН (*подходя к ним*). И не только за тех, кого хоронили вчера, за тех, кого хороним сегодня. И за тех еще, кто завтра родится, мать (*обращаясь к Краюшкиной*). Вишь, какие странства у нас. Нам и так людей не хватает. А мы все косим, косим... Гитлер сказал нации: проиграю войну – проклянут...

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. А он не может выиграть!

БЛАТМАН. Вот ты жизнь прожила, Пелагея, а чего видала? То в колхоз силком тебя, то мужик тебя колотил...

КРАЮШКИНА (*оживая*). Нет, мой мужик меня жалел. За Васеньку вот это колечко купил. Он на фронте сейчас, воюет... Ох (*закрывает лицо руками*), да как же я детей-то не сберегла, ох, да что ж я скажу ему, когда он вернется-я-я!..

Появляется Великанов. Обивает грязь с лопаты, стучая о колесо.

КРАЮШКИНА (*впиваясь в него глазами*). Ну?!

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*Краюшкиной*). Он же у нас Муму. Великий Немой.

*По горизонту все алые сполохи. Словно камни в-
рочаются, глухо ворчит артиллерийская канонада.*

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

*И опятьедет широкой степью телега. Подавленные
тем, что случилось в деревне, все сидят молча.*

ИВАН КАЛИТА (*с горечью*). Детей хороним! А сами живы, живем!
ШАРОНОВ. Как хоть деревня-то называется? В память теперь на
 всю жизнь.

*Великанов пишет что-то, передает Шаронову, тот
 читает вслух: "А у нас жизнь короткая".*

ВСЕ (*вскидываясь*). Чур-чур, типун тебе на язык!

БЛАТМАН (*кивая на Великанова*). Жизнь на войне с волосок. Р-раз, и
 пересекло ниточку! И без Мити Уразова чую, как тонка эта ниточка.

*Вынимает из футляра скрипку, прикладывается
 щекой. По степи плывут протяжные, одинокие звуки.*

АРХИВАРИУС ЧЕРНЕГА (*отирая слезу*). Дети есть дети.

Скрипка смолкает.

БЛАТМАН. Смотрите, опять навстречу маршевая рота! Ружья
 противотанковые на плечах!

*Стоя на телеге, все "Четыре бантика" играют
 вальс "На сопках Маньчжурии". А мимо (за кадром),
 печатая шаг, на фронт проходят войска.*

БЛАТМАН. До свиданья, ребята!

ИВАН КАЛИТА. До встречи в окопах!

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*раздумчиво*). Да уж недалек и Елец!

*А телега скрипит. Великанов, как обычно, сидит впе-
 реди, вроде как ящик на облучке. Рядом с ним Шаронов.*

ШАРОНОВ (*мечтательно*). Война кончится, останемся живы – вер-
 нусь домой, жену свою Лидочку пальцем не трону, на руках но-
 сить буду. Я ее к Петьке, школьному другу Лидочкиному, ревновал. Этот Петька всю жизнь за мной по пятам. Я – из райцентра
 в область, и он за мной. Я – в оркестр, и он...

КУРПАС. А передо мной – цель: консерваторию наконец закончить. Я
 на контрабасе мечтаю играть, чтобы в конкурсах международных
 участвовать. Обидно только, музыку для контрабаса не пишут...

БЛАТМАН (*кладя скрипку в футляр*). А у меня с детства мечта дирижером стать. ди-ри-жером! Я и на рояле могу, и на скрипке вот, и на флейте...

ИВАН КАЛИТА. А на барабанах?

БЛАТМАН. Я про Тосканини читал. Будучи дирижером, он прямо-таки гипнотизировал музыкантов, весь оркестр. Такая силища, невероятная! Они у него как во сне играли... А еще в "Ковент-гардене" мечтаю сыграть, в "Метрополитен-опера"...

КУРПАС. А в "Гранд-опера" или "Ла Скала"?

ШАРОНОВ. А я с Одесской оперы начинал. Правда, не на трубе, а на шумовых инструментах. На челесте – молоточком, по пластинкам металлическим. И на трензеле – треугольнике таком. Чайковским введен в "Воеводе", в балеты. В Одесскую оперу хочу вернуться, солистом... А ты, Иван?

ИВАН КАЛИТА. Что я? Я в кузне нашей деревенской работал, помощником кузнеца. Я молотом ах да ах, а дядя Сеня, кузнец, молоточком так и пляшет вокруг по поковке, так и пляшет, выплясывает. А у меня в ушах песня. Иду, бывало, домой из кузни, а с веток капель мартовская кап-кап-кап, а в груди – серебряные молоточки.

БЛАТМАН. Останемся живы, после войны возьму тебя в свой оркестр.

Толкает дружески в плечо Великанова.

БЛАТМАН. Ну а ты чего, тебе чего бы хотелось?

Великанов пишет, передает Шаронову.

ШАРОНОВ (*вслух читая*). "Песни хочу петь, слово молвить".

И опять скрипит да скрипит телега. Гремят в пустом ведре на всю степь железные ложки.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

А телега катит уже по накатанному большаку. Звенит по-прежнему позади пустое ведро.

БЛАТМАН (*запевая*). Ай, Шнайдерл... (*затем*) Ой, Джанкой...

Переходит к русским народным песням. Ему подпевают, поют все вместе "Еду, еду, еду к ней", "Светит месяц"...

БЛАТМАН (*раздумчиво*). И что самое нехорошее для народа, так это то, что эта война кончится – другая начнется. Потом третья, четвертая. Долго еще воевать люди будут под разными предложениями, до скончанья века... В психике людей – колея глубокая.

Попал в колею – не враз выберешься. Война и мир от греков античных. Лев Толстой заметил: сначала война, а затем уже мир... ШАРОНОВ. Как струна – на одну ноту настроена.

Поднимает трубу, дает сигнал. Лошадь убыстряет ход, пустое ведро звенит звонче, дробнее.

ШАРОНОВ (*неугомонно*). А то вот такой анекдот... Ночь. Звонят в квартиру. Жена спросонья толкает мужа: – Муж пришел! – Тот вскакивает, хватать одежду и вниз с балкона. Вбегает обратно в гневе: “Так кто я тебе?!” Она ему: “Ну, летчик, летчик”. И он ей растерянно? – А что ж я тогда за трусики твои схватился, а не за парашют?”

КУРПАС (*тут же*). Глупости это, старый анекдот. А вот свежий. Леттит Хабибулин наСЯке”. К своему аэродрому подлетает садиться, а память как отрубил. Забыл Хабибулин свои позывные. “Земля, Земля! Я – Хабибулин, кто я?” – “Сокол” ты, мужик хренов, ССокол”. Вот сядешь – я из тебя перья повыдергаю...” Блатман, твоя очередь.

БЛАТМАН (*мнется*). Да у меня все какие-то неприличные... Ну, в общем, послали нашего скрипача за границу, на конкурс. И занял он там второе место. “Эх, – говорит, – кабы скрипка была другая. Страдивариуса!” “Эх, – говорит второй член делегации, – кабы у меня был маузер Дзержинского!”

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*косясь на Блатмана*). А теперь так, для тебя специально! Вот Рабинович задает вопрос на политзанятиях: “Если у нас все так хорошо, то куда масло девалось?” “Подумаю и отвечу в следующий раз”, – отвечает руководитель. В следующий раз поднимает руку вот он, Калита. “Вы, вероятно, хотите спросить, куда девалось масло?” – спрашиваю уже я как руководитель. “Нет”, – говорит Иван, Да, Иван? Ты говоришь... вот он говорит, Иван, я хочу, говорит, спросить, куда девался, нет, даже не Рабинович, а ты, Блатман. Ха-ха-ха...

Россинант ржет тонко и звонко. Все остальные молчат. Только скрипит телега.

БЛАТМАН (*как бы невзначай*). А то после речи прокурор набросился на референта: “Я заказывал речь на пятнадцать минут, а у тебя получилась на целый час”. – “Так она же, товарищ прокурор, была в четырех экземплярах”. Ха-ха-ха.

И опять тишина. Только екает селезенка в боку Россинанта.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*после паузы*). Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

И опять пауза. И вдруг гогот невероятный. Это гогочет, прямо-таки надрывается, умирает со смеху архивариус Чернега.

АРХИВАРИУС ЧЕРНЕГА. Вот спрашивают у самоеда: “Что ты делаешь, когда возвращаешься с охоты?” “Люблю жена”. – А потом?” – “Еще люблю жена. – Ну, а после, опять потом? – А потом снимаю лыжи”.

ШАРАНОВ (*архивариусу*). Видали? Какой счастливый человек. Знает всего один анекдот, но – какой!

Все улыбаются. Атмосфера восстанавливается. Так и едут.

ШАРОНОВ. Глядите, дорожный знак на боку, что написано: “Село Студеное”. А вон и церковка, и как сохранилась?

За кадром людская масса. Полупьяные голоса: “Стой! Дальше нельзя! Пропуск здесь у нас недействителен... Крестьянские силы самообороны. А вы кто такие? Ах, музыканты? Вот как раз что надо, Русь гуляет! У атамана ребенок родился, только что крестили... Прошу к нашему шалашу...”

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*Великанову*). Все, приехали. Придется заночевать.

Снимают вещи с телеги. Как зенитки, привычно задирают в небо оглобли.

Где-то за кадром гудит крестьянская делегация. От ее имени к телеге подходит молодая женщина с “хлебом-солью”. В одной руке у нее бутылка, в другой – стаканчик.

ЖЕНЩИНА. Я – Данкова Мария, мать новорожденной. Уж неделю как родила, а все гуляем. У меня еще две дочери – Надя и Люба.

Все спрашивают; как бы вы назвали третью, какое бы имя дали?

ШАРОНОВ. А чего тут? Вера, конечно.

МАРИЯ ДАНКОВА. Так и назвали... А вы кто ж такие, откуда?

КУРПАС (*весело*). А мы – оркестр симфонический “Четыре бантика”.

МАРИЯ ДАНКОВА. Четыре? А вас что-то больше в телеге.

КУРПАС. Нас мало, мать, мало! Для такого оркестра. Но каждый из нас стоит десятерых. Вот он (*кивая на Калиту*) на целом агрегате работает... с барабаном один на один. И ничего, справляется.

МАРИЯ ДАНКОВА. Ой, дорогие гостечки! Да мы вам рады, да вы такие высокие гости... А гармошки случаем нет?

КУРПАС. Нет, гармошки, нет. В гармониях мы “нихт ферштейн”. Вот он, правда, на губной гармонике может (*кивая на Ивана Кали-ту*). Как на скрипке Страдивариуса. Виртуоз.

БЛАТМАН (*перебивая*). Хватит тебе! Тут война, скоро будет большое сражение, а он, человек этот, маленький, малюсенький такой, крохотулечка, взял и родился, ни черта не боится!.. И уже неделю живет... Эй, музыка, громче! Расчехляй, братва, инструменты! Прибыли на гастроли.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Там же. Те же. Прямо с телеги “Четыре бантика” играют вальс “На сопках Маньчжурии”. За кадром – оживленные голоса.

БЛАТМАН (*улыбаясь*). Как и не было войны, праздник! Человек родился, значит, долго жить будем.

Раскрасневшись, вбегает Мария Данкова, в руках сверток – ребенок. С ней две дочки ее – светленькие, одинаковые такие, как грибочки.

МАРИЯ ДАНКОВА. Это двойня моя – Надя и Любочка. А это вот наша малая доченька, наша Вера. Гляньте-ка, как мы смотрим на вас...

КУРПАС (*наклонясь*). Гуль-гуль-гуль, какие мы красивые, глазки светленькие, глазки умненькие.

ШАРОНОВ (*подходя поближе*). А кто же отец?

МАРИЯ ДАНКОВА. Отец? (*смотрит на горизонт, где по-прежнему мечутся алые сполохи*). А где и все, где же еще? (*наклоняется ниже, целует в сверток*). А мы папку дождемся, дождемся. Вернется наш папка с войны, а мы уже бегать начнем, говорить уже будем... Да, Верочка, да?.. А мы подбежим к нему и скажем: “Хоть ты без ноги, хоть ты без руки, мы все равно тебя ждали, чтобы скорее пришел к нам живой...”

БЛАТМАН (*наклонясь к девочкам-грибочкам*). А как зовут вашего папу?

Застеснявшись, “грибочки” молчат.

МАРИЯ ДАНКОВА (*вместо них*). Любовь Николаевна и Надежда Николаевна мы. А эта вот Вера Николаевна, все Данковы.

БЛАТМАН (*архивариусу Чернеге*). Так и запишем. Вноси, Чернега, человека в анналы истории. Вера Николаевна Данкова. Замечательный, большой человек!.. Какого числа? Десятого октября. Так и пиши, Чернега: “Десятого октября 1941 года”.

КУРПАС (*подходя со своей канистрой*). Это надо отметить! Как положено в благородных семействах... Подставляйте тару, ребята. А маме? Ах, маме нельзя, не рекомендуется в ее новом таком положении? Вот и лады. За дочку, за маму.

ИВАН КАЛИТА (*широко улыбаясь*). За веру, царя и отечество!

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. За какого царя?!

МАРИЯ ДАНКОВА (*Блатману*). Кто это?

БЛАТМАН. Прокурор.

МАРИЯ ДАНКОВА. Прокуро-ор??

КУРПАС. Ничего-ничего, это наш прокурор. Из нашей прокуратуры.

МАРИЯ ДАНКОВА. А тогда отчего прокурору не наливаєте?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*подходя к Шаронову*). Можно и прокурору.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*поднимая кружку*). За мать с дочкой! (*делая акцент*). За н-нашу в-веру!

БЛАТМАН (*берясь на скрипку*). За работу, ребята!

Резко кладет на струны смычок. "Четыре бантика" играют "Любил я очи голубые". Под эту мелодию телега медленно проезжает мимо церкви, скопления людей за кадром. Вслед несутся крики приветствия. Выделяется голос Марии Данковой: "Спасибо! Счастливого пути! Долгих лет жизни!"

И снова скрипит телега. С ревом заходит на бреющий вражеский самолет.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*глядя в небо опасливо*). За телегой, сволочь, гоняется!

Пулеметная очередь. Падает бомба со свистом. Взрывной волной телегу переворачивает. Крутится в воздухе колесо. Голоса: "Все живы?" – "А коняга?" – "Ну, слава богу".

Поднимаются, отряхиваются. Осматривают потери.

ИВАН КАЛИТА. Во! Пулеметная очередь, заднее колесо в щепки.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*обеспокоенно*). Что будем делать?

ИВАН КАЛИТА. Придумаем что-нибудь! Голь на выдумки хитра. Берет топор и исчезает. Появляется со срубленной слягой. Прилаживает слягу вместо колеса. Теперь телега идет еще медленнее, чертит след по проселку. Все, кроме Великанова и Чернеги, бредут следом.

ИВАН КАЛИТА. Как ведьма, на метле.

Все смеются. Шаронов трубит в небо радостно.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Нет, серьезно, и веселые ж вы ребята!

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Телега чертит слегой по проселку. "Четыре бантика" плетутся рядом.

БЛАТМАН (бодрясь). Приустали, ребятки. Верно, лучше плохо ехать, чем хорошо идти.

Напевает "Ай, Шнайдерл", затем "Ой, Джонкой". Переходит на маршевую "Ой, вы, кони, вы, кони стальные"...

Шаронов, поднимая трубу, ведет мелодию. Все подстраиваются к нему. Так и идут по большаку, пританцовывая, под упругие ритмы трубы. И ход все энергичнее, ускоряет движение и телега. Неудержимо, вперед.

ПРОКУРОР МЯСИЦЕВ (поддаваясь общему настроению). На Елец! На Елец!

БЛАТМАН. Это, наверно, самый счастливый день за все эти месяцы.

ШАРОНОВ. Как началась война?

БЛАТМАН. Да.

ШАРОНОВ. А для меня самый счастливый был под Орлом, когда увидел, как падает вражеский самолет.

БЛАТМАН (Мясищеву). А у вас?

ПРОКУРОР МЯСИЦЕВ. В эти месяцы или вообще?

БЛАМАН. Ну хотя бы вообще.

ПРОКУРОР МЯСИЦЕВ (многозначительно). Самый счастливый день у меня впереди.

ИВАН КАЛИГА (улыбаясь). Когда станете Генеральным?

ПРОКУРОР МЯСИЦЕВ (в шутку щелкает его по носу). Да.

ИВАН КАЛИТА (загораясь). И у меня самый счастливый день впереди. Откровенно, да?

БЛАТМАН. Ну а как еще, откровенно.

ИВАН КАЛИТА. Вы меня завели. Я теперь спать и видеть буду одно: стать настоящим музыкантом! Вот закончится война – поступлю в консерваторию. Нет, как вы думаете, есть у меня способности?

БЛАТМАН, КУРПАС, ШАРОНОВ (все в один голос). Ну! Ты же очень ритмичен, от природы... таких поискать, классный мужик...

ИВАН КАЛИТА. И самым счастливым днем будет, когда приду к вам в оркестр! Приду с дипломом, со своим барабаном...

КУРПАС. Барабан в оркестре новый найдется.

ИВАН КАЛИТА. Приду, сяду за агрегат.

КУРПАС. Любой концерт, любую симфонию.

ИВАН КАЛИТА. Как вы думаете, все это, что мы испытали, можно пересказать... барабаном?

БЛАТМАН. Одним барабаном – не знаю. А вот вместе с ним, вот кто (*показывая на Шаронова*) музыку нам напишет. У него способности к импровизации. Он напишет концерт для барабана с оркестром.

ИВАН КАЛИТА. Ну и как мы назовем его, наш концерт?

БЛАТМАН (*улыбаясь*). Ну а как ты думаешь?

ИВАН КАЛИТА (*в полушку*). “Ехала телега по войне”.

БЛАТМАН. Нет, серьезно. Так оркестры не называют... Ну хорошо, хорошо, так и назовем.

ШАРОНОВ (*Мясищеву*). Ну а вы, вы что будете делать после войны?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. А я куплю билет и сяду в зрительном зале на самое лучшее место.

ШАРОНОВ. Ну а ты, архивариус?

АРХИВАРИУС ЧЕРНЕГА. А я вас по радиоприемнику буду слушать, ребята. Куплю для этого самый лучший в мире радиоприемник.

ШАРНОВ. Ну а ты, Великанов?

Великанов достает записную книжку. Пишет и зачеркивает, пишет и зачеркивает. Вырывает листы. Наконец, подает записную книжку Шаронову.

ШАРОНОВ (*вслух*). “А у меня будет самый счастливый день, когда я сам лично расскажу людям о вас, ребята, будут золотые слова”.

И пауза. Тишина. Слышно только, как чертит слегой дорогу телега.

БЛАТМАН (*раздумчиво*). Дожить бы.

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Та же степь. Та же телега в степи. Все те же движутся вместе с телегой по большаку.

Из бокового проселка выбегают двое военных: капитан с пистолетом и автоматчик.

КАПИТАН. Стой! Проверка документов... Командир заградотряда капитан Багрий, из СМЕРШа... Рядовой Арясов, опустить автомат!

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Я – прокурор. Следую по назначению. Вот мое удостоверение.

Капитан Багрий, держа в руках документ, злоеюще смотрит на остальных, сбившихся в кучку.

КАПИТАН БАГРИЙ. Ну что, ребята! Драпаем с фронта? Труса празднуем?.. А это что? (*показывая на барабан*). Для маскировки?

БЛАТМАН (*стараясь держаться как можно спокойнее*). Мы – музыканты. Отступаем от самого Минска, из Белоруссии.

КАПИТАН БАГРИЙ (*автоматчику*). Видал. Арясов? Откуда они отступают. От самой границы. Бегут, как крысы. Но здесь все, ша! Остановились, хватит! Приказ по всему фронту: дезертиров расстреливать на месте.

БЛАТМАН. Мы – музыканты, люди не военные, мирные.

КАПИТАН БАГРИЙ (*возвращая Мясищеву документы*). Видали? Время военное, а они, значит, люди мирные... И где хоть ты их подцепил, прокурор?! Разбираться надо в людях, прежде чем ехать с ними... в одной телеге... Нуте-с, где же ваш пропуск – разрешение на передвижение в зоне боевых действий?

Шаронов копается в нагрудном кармане.

ШАРОНОВ. Да куда же он подевался, пропуск этот?

КУРПАС. Ты спокойнее, спокойнее, Шаронов. Вспомни, в какой карман положил, может, в правый?

ШАРОНОВ (*улыбаясь неловко*). Как в трамвае. Контролер стоит над душой, а ты ищешь, забыл, куда положил... Да, действительно, в правом кармане. Вот пропуск. Выписан начальником укрепрайона Верховодом...

КАПИТАН БАГРИЙ (*обрывая его*). Начальник укрепрайона не Верховод, начальника укрепрайона я знаю лично!

БЛАТМАН (*вмешиваясь*). Ну, Верховод за начальника оставался, он и выписывал. Есть, наконец, печать.

Дрожащими пальцами Шаронов протягивает капитану бумагу. Все так и впиваются глазами в командира заглядотряда. Лицо капитана Багрия наливаются кровью, глаза вылезают из орбит.

КАПИТАН БАГРИЙ. Ш-ш-шо это-о!! Шо это, спрррэшэвээтэс?!

ШАРОНОВ (*инстинктивно втянув голову в плечи*). Пропуск.

КАПИТАН БАГРИЙ. Это – пропуск?? Это карта-схема укрепрайона в миниатюре (*разворачиваясь к автоматчику*). Вот шпиены пошли! Ну никакого профессионализма, шлют сюда кого зря, даже неинтересно работать. Сами на себя компромат суют. (*Зверей лицом*). Рядовой Арясов! Арестовать! Отвести всех, всех, и тебя тоже (*с сарказмом*), товариш прокурор, и запереть в сарае вплоть до выяснения!

РЯДОВОЙ АРЯСОВ. Снять ремни! Руки на затылок!.. А конягу привяжем, вот так. Пусть побудет трошки на привязи. Вот соломки тебе, подхарчись... А вы все, вперед! Во-он сарай, вот и держаться в том направлении..

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Те же в сарае. Сквозь щели пробивается жидкий рассвет.

Прокурор Мясищев сидит на соломе отдельно от всех.

ШАРОНОВ. Что-то не нравится мне этот рассвет. Как будто встречаем утро в последний раз.

КУРПАС. Не каркай, ворона, не накликай!

БЛАТМАН (*поддерживая дух*). Надежда, ребята, мир покидает последней.

ИВАН КАЛИТА (*разочарованно*). А ведь собирался стать музыкантом.

БЛАТМАН. Ты и так музыкант, лучший барабанщик оркестра.

Архивариус Чернега, как всегда, сидит молча, обхватив чемодан. Рядом с ним Великанов.

БЛАТМАН. Вот и они, кажется, конвоиры.

Гремят замком на двери. Голос автоматчика Арясова: "Подъем! Выходи!" Все выходят, отряхивая с себя солому, озирая рассвет.

Перед ними капитан Багрий и автоматчик Арясов.

КУРПАС. Умыться бы.

АВТОМАТЧИК АРЯСОВ. А зачем?

Пауза. Все подавленно молчат.

КУПИТАН БАГРИЙ (*ледяным тоном*). Итак, в последний раз спрашиваю: кто такие, что за команда, с каким заданием в тыл к нам заброшены? (*Арясову*). Они мародеры, спирт и зерно в телегу к ним сами попали.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ. Я лично к этой команде никакого отношения не имею! Вы поняли меня, капитан? Я – прокурор! Не допускайте со мной трагической ошибки.

КАПИТАН БАГРИЙ (*морщась*). Ну, хорошо, хорошо! Вы, да, именно вы отойдите в сторонку.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*отходя в сторону и показывая на Великанова*). А этот человек со мной – мой конюх. И конь из нашей районной прокуратуры, а телега ихняя (*кивая на музыкантов*).

КАПИТАН БАГРИЙ (*раздражаясь*). Ну, хорошо, хорошо!! Бери своего коня и давай верхом отсюда со своими бумагами, пока не передумал.

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*взяв из телеги уздечку*). И этот (*показывая на архивариуса Чернегу*) у них чужой, подсел к ним в пути.

АВТОМАТЧИК АРЯСОВ (*ведя автоматом, на Черенегу*). Давай отсюда, смоли!

КАПИТАН БАГРИЙ (*к оставшимся, теперь уже мягко, по-кошачьи*). Ну, так кто такие? Будем признаваться?

ПРОКУРОР МЯСИЩЕВ (*из-за кадра*). Тпруу, тпруу! Евреи они, музыканты, от Гитлера драпают! А вообще-то с немецким акцентом...

КАПИТАН БАГРИЙ (*вытаскивая пистолет*). Ах, они музыканты, да еще и с акцентом?

БЛАТМАН (*начинает что-то соображать*). Если откровенно...

КАПИТАН БАГРИЙ (*играя уже, как кошка с мышкой*). Ну а как же.

БЛАТМАН (*вздыхнув шумно и глубоко*). Если откровенно, мы – немцы Поволжья.

КАПИТАН БАГРИЙ (*кивая Арясову*). Видал? Уже ближе к делу. Они уже немцы Поволжья.

БЛАТМАН (*твердо*). Мы... все... трое..., действительно немцы Поволжья и действительно музыканты. А сказались евреями. Иначе как и кому объяснишь по пути, почему мы от Гитлера драпаем? Вы же знаете, он евреев всех подряд истребляет.

КАПИТАН БАГРИЙ. А ну к стенке, пятая колонна! А ты что – тоже музыкант, тоже в ихней команде?

ИВАН КАЛИТА (*мучительно борясь с собой, делает шаг назад, к дощатой стене, к остальным*). Да, и я музыкант.

КАПИТАН БАГРИЙ (*забавляясь уже откровенно*). Ну и на чем же ты играешь, деревня?!

ИВАН КАЛИТА. Вон на том барабане.

КАПИТАЛ БАГРИЙ. Ну-ка попробуй.

ИВАН КАЛИТА. Как же я один-то (*показывая на остальных*), я без них не могу.

КАПИТАН БАГРИЙ (*автоматчику Арясову*). Ну, подай, подай этим сволочам инструменты! Пусть сыграют последнее в своей жизни танго.

Блатман надевает черный бантик, за ним бантики надевают Шаронов и Курнас, Блатман передает Ивану Калите свой запасной черный бантик, кладет смычок на струны. Все четверо играют "Последнее танго" Строка.

Слеза сбегает по щеке скрипача. Сначала он смахивает ее, потом уже не обращает внимания. Шепчет громко на весь зрительный зал: "Прощайте, люди, друзья мои – черные бантики!"

Капитан Багрий перезаряжает пистолет.

ШАРОНОВ (*падая на колени*). Меня нельзя убивать, я еще на закончил консерваторию, еще только учусь!..

ИВАН КАЛИТА. А у меня мать старая, и я ее единственный сын...

БЛАТМАН (*сурово*). Поднимись, встань с коленей, Шаронов, дорогой ты мой человек! Не видишь разве, что это перед тобой!

КАПИТАН БАГРИЙ (*багровея лицом, начинает трястись, колотиться всем телом*). Сволочи! Я отравлен газами, я весь прошит пулями... А они музыканты, писатели, художники, белая кость, по штабам, по тылам, а я делаю тут грязную работу! Они все хотят в рай, Арясов, а нас с тобой в ад пихают. Посмотри, чем они нас пихают, какие у них грязные ноги... Ненавижу, сволочи, сволочи, сволочи!..

Великанов мычит что-то, неистово машет руками перед Арясовым. Тот под заднего коленом, под зад отсюда.

“Четыре бантика”. “Последнее танго” Строка. Длинная автоматная очередь.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

ВЕЛИКАНОВ (*пожилой, седой человек, сидя на авансцене у обелиска*). Да что мы знаем о той войне! То, что написано в мемуарах маршалами, генералами?.. Я – Муму, я – Великий Немой, я молчал столько лет, дайте же слово Немому!..

Когда в честь очередной годовщины Москва салютует, когда в Орле – городе первого салюта дают фейерверк, я думаю о другом, я знаю, с чего начинается Освобождение, оно начинается с нас самих, с самого себя. Я прихожу сюда, привожу сюда школьников.

Как бы с неба, в отдалении: “Блатман – первая скрипка. Шаронов – труба. Курпас – контрабас. Иван Калита – барабан”...

ВЕЛИКАНОВ (*вздыхая*). Пятым здесь мог быть с ними я... война, насилие, убиение “лишних”. Люди, сопротивляйтесь же! Из сопротивления рождается человек.

Перебирает струны гитары. Напевает заключительную часть песни Рафаэля Аюпова на слова Николая Тряпкина “Скрип моей колыбели”:

*Сколько снегов промчалось,
Сколько дождей пролилось,
Сколько опять – в коренья,
Сколько опять – в зерно.
Грозы прошли над миром,
Древо отцов свалилось,*

*И на отцовы плечи
Прямо упало оно.*

*Пусть же на тех погостах
Грустно поют свирели.
Пусть говорят на струнах
Ветры со всех сторон.
Пусть же послышится в песне
Скрип моей колыбели –
Жизни моей печальной
Благословенный сон.*

*Скрип моей колыбели!
Скрип моей колыбели!
Древняя сказка прялки,
Зимний покой в избе.
Слышу тебя издалека,
Скрип моей колыбели,
Помню тебя изглубока,
Песню пою тебе.*

Великанов встает с камня. Так и стоит лицом к занавесу. А по занавесу бегут живые, ярко горящие строчки фамилий. И бегут, и бегут, и бегут.

15.02.1994 г.

В КОЛЬЦЕ НИБЕЛУНГОВ (ДВОЙНИК ГИТЛЕРА)

Комедия-анекдот в двух действиях

И этот сюжет от Пушкина в Малоархангельске, как и некогда у гоголевского “Ревизора”. Только это теперь праправнук поэта Григорий Григорьевич Пушкин рассказал свою военную историю в моем материнском доме, когда приезжал в тот же Малоархангельск на празднование дня рождения своего прадеда – нашего национального гения.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

СПИРИН Николай Николаевич – майор Красной Армии, командир полка, до войны директор литературного музея.

ЭРИХ МАРИЯ ФОН ЗАЛЬЦЕР – полковник вермахта, командир полка, до войны профессор университета, филолог.

ПУШКИН ГРИША (Григорий Григорьевич) – праправнук АС. Пушкина, старший лейтенант из полковой разведки, до и после войны рабочий типографии “Правда”.

ЗЕЛЕНЦОВ – командир полковой разведки.

АЛЬ БЕР КРИКУС – он же Адольф Гитлер (двойник Гитлера), профессиональный разведчик вермахта, одновременно английский разведчик.

МИША и ТИША – оба из полковой разведки, до войны жокеи.

МАША – полковая радистка, до войны студентка.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА – хозяйка крестьянской избы.

НЮРА и НИНА – ее дети.

ТЕТЕРЕВ Алексей Архипович – онегинский лесник, хозяин сторожки.

Солдаты и офицеры Красной Армии и вермахта.

На авансцене невысокий, живой такой, пожилой уже человек с орденскими планками на груди.

– Видите, профиль... Как вы думаете, – чей? – прикладывает голову к занавесу и одновременно обращается к зрительному залу. Пауза. И после паузы говорит торжествующе:

– Пушкина!! Александра Сергеевича! Да, я ему праправнук – по прямой, по мужской линии, от первого сына. А он мне, значит, прапрадед.

Я тут у вас, – в Орле, на Орловщине, – уже бывал, и не раз. И в мирные, и в военные времена. И каждый раз какая-нибудь дамочка

задает мне один тот же вопрос: “А вы стихи тоже пишете?” – “Нет, милочка! Я стихи не пишу. Опасная штука, мина замедленного действия. А у минера один раз случается... В нашем роду вся биологическая энергия ушла на Александра Сергеевича, он у нас поэт милостью Божьей. А у других на стихи силы хватит только после седьмого колена... Ну а я покамест в четвертом... Нет, стихи, милочки вы мои, граждане мои дорогие, я не пишу. Но в истории – попадаю. Пикантные порой выходят истории. Пушкин – кровь такая, ничего не попишешь.

Так вот, о войне и Пушкине, о Гитлере и Орловщине.

События, о которых идет речь, происходят зимой сорок третьего здесь, в глубоких снегах Центральной России. Войскам вермахта достался “зело крепкий орешек”. Многие месяцы противоборствующие стороны держат оборону по обрывистому берегу речки Зуши. Забытый уголок России, Центрального фронта. Однако события происходят тут самые невероятные. Представьте, какой резонанс могли бы иметь те события на весь ход войны, на мировую историю!! Ну, может, что и прибавил, но почти все как было.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Поселок в Онегинском лесу. Крестьянская изба с русской печью. Дарья Ивановна, хозяйка, разговаривает с печью: “Кормилица ты наша, спасительница народная! Выходила, выкормила нас, русских людей, что бы без тебя мы и делали?” Вытаскивает чугунок, наливает из него щей в миску, ставит перед майором Спириным, склонившимся над военными картами.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА. На, милок, похлебай! Силенок, глядишь, прибавится. Похлебай, похлебай щец, угодничек. Ты – Коля, и у меня муженек был Коля, царство ему небесное.

Выходит Зеленцов в белом маскхалате – командир полковой разведки. Косясь на хозяйку, наклоняется, шепчет на ухо Спирину.

МАЙОР СПИРИН (*широким жестом*). Валяй!

ЗЕЛЕНЦОВ (*вытягиваясь перед Спириным*). В общем... в качестве “языка”... Гитлера, в общем, поймали!

Чугунок так и валится из рук хозяйки.

МАЙОР СПИРИН (*делая большие глаза*). Гитлера?! К-какого Г-гитлера? (*усмехаясь*). Старшину, что ль, из третьей роты, Ваську Неведрова? С поличным взяли, ребят опивает?

ЗЕЛЕНЦОВ. Да нет же, настоящего! Ефрейтора ихнего, что над генералами, ну, какой в Мюнхене пиво баварское пил... Ну Гитлера, Гитлера, черт побери! Людоеда, сатрапа...

МАЙОР СПИРИН (*все еще недоверчиво*). Пить поменьше надо. Обленились тут в обороне, черти стали мерещиться. Ну, как он тут у нас мог оказаться?

ЗЕЛЕНЦОВ (*расстегивая масхалат*). А хрен его знает. Это уж он сам вам расскажет. Наше дело было доставить.

МАЙОР СПИРИН. Ну и как доставили?

ЗЕЛЕНЦОВ. В лучшем виде. Не задохшимся, не с кляпом во рту. А с ветерком, на "kozyрях"! Да вон жеребец еще не распряжен – как лебедь белый, снеговой такой. Сани в коврах.

МАЙОР СПИРИН. Ну, давай его сюда!

ЗЕЛЕНЦОВ. Кого?

МАЙОР СПИРИН. Кого – ну, жеребца этого твоего – белого лебедя, не Гитлера же, ха-ха-ха... На черта он кому сдался!

СЦЕНА ВТОРАЯ

Те же за столом. Автоматчик вводит человека, закутанного в плащ-палатку.

МАЙОР СПИРИН. Кто вы, откуда, номер части?

Пленник сбрасывает с себя плащ палатку, делает шаг к столу. Он оказывается с челкой и с усиками.

ЧЕЛОВЕК С УСИКАМИ. Я – Адольф Гитлер!

МАЙОР СПИРИН (*в изумлении*). Н-да?! А я тогда кто же?

ЧЕЛОВЕК С УСИКАМИ. Ви есть батя.

МАЙОР СПИРИН. Батя? Да, так называют меня в полку. Хорошо говоришь по-русски. Шпиен, что ли, из разведки?

Автоматчик лязгает затвором.

ЧЕЛОВЕК С УСИКАМИ. Вы не имеете права меня стрелять! Вы должны передать меня командованию. Без меня война сразу кончится.

МАЙОР СПИРИН. Тем более. К стенке тебя, и амба!

ПЛЕННЫЙ С УСИКАМИ. Я есть Адольф Гитлер... канцлер великой Герма... Я требую, чтобы мой плен известность командо... чтобы со мной говорил генерал.

ЗЕЛЕНЦОВ (*усмехаясь, Спирина*). Видал, батя, какой? Ефрейтор ихний нашим майором брезгает.

ПЛЕННЫЙ С УСИКАМИ. Я – Адольф Гитлер! Я требую связать со штабом армии... Я – канцлер...

МАЙОР СПИРИН. Завелся! Ну, хорошо, хорошо! Зеленцов, дуй к связистам, кровь из носу, но связь чтоб была, пусть налаживают. А кто брал “языка” непосредственно?

ЗЕЛЕНЦОВ (*уходя*). Да Гриша Пушкин! Мы веером шли, а он и набрел в лесу на этих вот... Ну, ездовых он сразу прикончил, без звука, а этот говорит: “Я – Гитлер, канцлер великой Германии!” Вот Гриша и взял живьем его, подкатил ко мне на “kozyрях”...

МАЙОР СПИРИН (*устало*). Ладно, Зеленцов. Вы там в разведке у себя известные трепачи. От вас по полку все анекдоты... А пока так: одна нога тут, а другая там. А мы тут с вашим “Гитлером” покалякаем. И без переводчика. Вишь, как он чешет по-русски... Да Гришу ко мне сюда, мигом!

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Те же. В той же крестьянской избе.

МАЙОР СПИРИН (*хозяйке*). А что, друг этот ситный похож на Гитлера? Как ты думаешь, Дарья Ивановна?

ДАРЬЯ ИВАНОВНА. Глаза стеклянные, с усиками, наглый – вроде похож. Николаевич, ей Богу, похож! Вылитый!

МАЙОР СПИРИН. Да они теперь все тебе на одну физиономию. Ладно, канцлер, присаживайтесь, располагайтесь.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА. Как это “присаживайтесь, располагайтесь”? Он мне мужа на фронте убил, сыночка Колечку с голоду уморил, а я ему в своей хате: “присаживайтесь, располагайтесь”? У, бельма свои растарачил! Езуит, поработитель народов! Хуже и нет никого на свете, хуже последней собаки, хуже Васьки Кривого... бригадира с центральной усадьбы...

МАЙОР СПИРИН (*останавливая хозяйку и обращаясь к военнопленному*). Ну вот! Вот он, гнев-то народный! Ну, допустим, вы – Адольф Гитлер, допустим... канцлер германский, то что же вы, канцлер, не послушались своего великого предка – “железного канцлера” Бисмарка: не ходить войной на Россию?!

ЧЕЛОВЕК С УСИКАМИ, ОН ЖЕ ТЕПЕРЬ АДОЛЬФ ГИТЛЕР (*монотонно*). Другая историческая ситуация.

МАЙОР СПИРИН. Что, из немцев Поволжья, что ли? Больно хорошо говорите по-русски.

ЧЕЛОВЕК С УСИКАМИ. Я – Адольф Гитлер! Я – канцлер великой Германии! Я требую доложить обо мне командованию. Вы будете нести персональную ответственность.

МАЙОР СПИРИН (*Дарье Ивановне*). Видала, хлюст какой? А ведь я ему еще и щец хотел предложить.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА (*вспыхнув*). Еще чего! Обормоту этому, пусть свои шоколады ест. Ишь, как слюни распустил – струны вытянулись.

МАЙОР СПИРИН. Ты вот что, Дарья Ивановна! Выйди из избы на минутку, а мы тут с “фюрером” один на один потолкуем. При всех нельзя, военная тайна.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Та же изба. За столом – майор Спириин, напротив него – военнопленный. У двери – автоматчик.

МАЙОР СПИРИН. Ну-с, Адольф, заморил червячка?

АДОЛЬФ ГИТЛЕР. Какого... червячка? Я никого не морил.

МАЙОР СПИРИН. Ладно, рисуй обстановку. Да без булды! А то вон (*кивает на автоматчика*) и весь разговор. У нас, у русских, так оно: до Бога высоко, а до начальства далеко... Будем на тебя тут расходиться, лишний рот. По вашей милости с обеспечением плоховато. Друг у друга почти в окружении. Единственный коридор – голая равнина. Мы сунемся – вы из пулеметов и минометов, вы сунетесь – мы по вашим... Навалили трупов, весны ждем. Земля оттает – хоронить будем...

АДОЛЬФ ГИТЛЕР (*отодвигая пустую миску*). Москва рядом, а никак не возьмем. Еду в войска. Солдаты! Фюрер помнит о вас, фюрер с вами, перед нами весь мир...

МАЙОР СПИРИН. Фюрер, да? Не знаю. Но что демагогия крупная – факт!.. Вот на всякий случай мы тебя и не расстреляем. Как человек военный знаешь, что это такое: ворваться в окопы на плечах отступающего противника? Суворов у нас мастером был на такие штуки...

АДОЛЬФ ГИТЛЕР. Русские – народ коварный.

МАЙОР СПИРИН (*усмехнувшись, автоматчику*). Сынок! Ну-ка руби огоньку – прикурить.

Автоматчик достает из кармана кресало, кремь, фитиль. Бьет несколько раз кресалом по кремью, наконец, искра попадает на фитиль.

АДОЛЬФ ГИТЛЕР (*щелкая зажигалкой*). Пожалста, господин майор!

МАЙОР СПИРИН. Вот! (*дует с силой на зажигалку, пламечко гаснет*). И вот! (*подавая фитиль автоматчику*). А ну, дунь, сынок!

Паренек дует на фитиль, фитиль разгорается все сильнее. Майор Спириин спокойно прикуривает от фитиля. Затягивается с удовольствием.

МАЙОР СПИРИН. Спасибо, сынок (*отдавая кресало автоматиче-
ску и глядя многозначительно на обладателя зажигалки*). По-
нял меня? Наша марка!

СЦЕНА ПЯТАЯ

*Изба с пустым, отбитым снарядом углом. Угол
закрыт плащ-палаткой. Тут же стол с рацией, ради-
стка Маша в наушниках.*

*Входит майор Спирин. Маша вскакивает, снимает
наушники.*

МАЙОР СПИРИН (*устало*). Ну что? Достучалась до штаба дивизии?

Маша пожимает плечами.

МАЙОР СПИРИН. Ну, стучи, стучи... Да! (*оживляясь*) Пойщи-ка по
эфиру, нет ли у них беспокойства какого? Может, какая персона
пропала, ищут кого-либо?

*Маша крутит ручку настройки. Треск, шипенье, го-
лоса. Немецкая, русская речь. То пропадает, то опять
возникает.*

МАША (*передает наушники*). Вот, товарищ майор, сами послушай-
те. Вроде как чем-то обеспокоены. В этот час бывает спокойнее,
а то как с цепи...

МАЙОР СПИРИН (*надевает наушники*). Ну-ка, ну-ка... Действи-
тельно, вроде как что-то стряслось... Или что-то опять затева-
ют?... Как в прошлый раз, какую-нибудь провокацию.. Не нра-
вится мне что-то на левом фланге у них, не нравится...

Входит Зеленцов все в том же белом маскхалате.

МАЙОР СПИРИН. Ай опять собрался куда? Передохнул бы.

ЗЕЛЕНЦОВ. Не нравится мне что-то на левом фланге.

МАЙОР СПИРИН. Вот и я говорю.

ЗЕЛЕНЦОВ (*расстилая на столе карту*). Вот, смотрите! Как ви-
дим, мы у них в полукольце... но и они у нас... В прошлый раз
справа нас пробовали. Думаю, отвлекающий маневр. А главное —
вот где! Вот этот лес, перемычка. Перебьют ниточку — и мы в
мешке окончательно ... в кольце нибелунгов... Ни продоволь-
ствия, ни боепитания. Бери голыми руками.

МАЙОР СПИРИН. А где Гриша Пушкин?

ЗЕЛЕНЦОВ (*усмехнувшись*). Да спит же! Залег, как сурок. Под этим-
то делом... Я, говорит, Гитлера поймал — могу, гырьт, поспать мину-
ток шестьсот.

МАЙОР СПИРИН. Шестьсот – нет. А часочка три покемарьте и ко мне. Есть тут у меня одна идейка... А ты, Маша, ищи, ищи штаб дивизии. Думаю, скоро тут у нас будет жарко.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Та же изба с отбитым углом. Та же рация.

МАША-радистка (*охрипшим голосом*). Я – Русалка! Я – Русалка! Я – Русалка!... Руслан – один! Руслан – один! Руслан – один!.. Перехожу на прием... Вы меня слышите? Вы меня слышите?

Входят майор Спиринов и Зеленцов.

МАЙОР СПИРИН (*Зеленцову*). Ну, что ты думаешь насчет этого фрукта?
ЗЕЛЕНЦОВ. Какого?

МАЙОР СПИРИН. Ну, того, какой у нас в погребе (*обращаясь к радистке*). Машенька, выйди на секундочку, мы тут с Зеленцовым полюбезничаем маленько.

Маша выходит.

ЗЕЛЕНЦОВ. Насчет этого “фрукта” – Гитлера?

МАЙОР СПИРИН. Не подставка ли? Отвлекающий ход. Подсунули “фюрера”, чтобы создать иллюзию стабильности на участке, а сами... В прошлый раз твой “язык”... ну, фельдфебель, фельдфебель... сообщил мне: там у них командиром полка этот... фон Зельцер, полковник... Кстати, я его лично знаю. До войны профессор университета, филолог. А я был директором литературного музея, экскурсию вел тогда ему одному... С фантазией мужик, способен на все... Зеленые глаза его так передо мной и стоят! Вижу их и через речку...

ЗЕЛЕНЦОВ (*решительно*). Нет! На такое рядовой полковник вермахта не пойдет, не такая система, чтобы имя фюрера всуе трепать. Это или сверху идея, или...

МАЙОР СПИРИН. Что “или”? Это Гриша тебе трепанул, а ты поверил.

ЗЕЛЕНЦОВ. Слыхали же? Сам утверждает! Думаю так! Гитлер не Гитлер, но, если шишка немалая, они нам кордебалет тут скоро устроят. Надо сработать на опережение.

МАЙОР СПИРИН. Ну так иди, буди своего “возмутителя спокойствия!” Что это он разоспался? Думает, если его Пушкин в плен взял, так ему все можно?

ЗЕЛЕНЦОВ (*улыбаясь*). Я ребятам спиртецу влил – отдыхают.

МАЙОР СПИРИН (*ворчливо*). Ну, разведка! Вы у меня как какие-нибудь сенаторы. Всех коней поели. Кавполк называется, скоро воду с речки на себе возить будем. Уж и “снежного барса” – трофейного этого – небось, слопали. Наедятся мяса и дрыхнут без задних ног.

ЗЕЛЕНЦОВ (*примиряюще*). Да ладно. бать. Любимое дитя больше других и ругают. Сам знаешь, ребят таких по всему фронту поискать!

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Крестьянская изба Дарьи Ивановны. Майор Спирин за столом с замотанным горлом. Сама хозяйка прядет на прялке в углу. Рядом дети ее – Нюра и Нина, разбирают шерсть, тянут кудель.

Майор Спирин поднимается навстречу полковым разведчикам – Зеленцову и Грише Пушкину. Следом автоматчик вводит военнопленного.

МАЙОР СПИРИН (*морщась, ему больно говорить*). Ну, хорошо, хорошо! Будем условно называть тебя Адольфом Гитлером... Итак, вы просили показать пленившего вас? Вот он!

АДОЛЬФ ГИТЛЕР (*вперясь в лицо Зеленцова*). Как зовут? Потомки должны знать его имя!

МАЙОР СПИРИН (*улыбаясь*). Да не этот, не этот! Вот этот!

ЗЕЛЕНЦОВ (*усмехнувшись*). А они и так знают его, это имя.

АДОЛЬФ ГИТЛЕР (*с напором, решительно*). Так кто же он?!

МАЙОР СПИРИН (*как можно спокойнее*). Пушкин.

АДОЛЬФ ГИТЛЕР (*обмякая*). Пушкин?... У вас, русских, все Пушкин, все на Пушкина валите!

ЗЕЛЕНЦОВ. Нет, серьезно, Пушкин, Григорий Григорьевич – прямой потомок великого мастера.

Адольф Гитлер сидит, понутив голову.

ГРИША ПУШКИН (*весело, озорно*). Только не спрашивайте меня, пишу я стихи или не пишу, – все равно не скажу. Военная тайна!

Все смеются. Дарья Ивановна подбрасывает в русскую печку дровишек. Нюра и Нина подбегают к столу.

Стоят, смотрят в упор на Гитлера, прямо в рот ему.

МАЙОР СПИРИН (*резко*). А теперь к делу! Как говорится, делу – время, а потехе – час... Дарья Ивановна, голубушка, возьми детей и сходи на полковую кухню. Там вас хорошенько покормят. Скажи, батя, мол, приказал.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Там же. Те же.

МАЙОР СПИРИН (*обращаясь к военнопленному*). Я обещаю сохранить вам жизнь. Более того, при первой же возможности отправить на Большую Землю в распоряжение командования.

Скажите, о вашем прибытии был поставлен в известность командир полка, куда вы направлялись? Кстати, как фамилия командира? АДОЛЬФ ГИТЛЕР (*не теряя достоинства*). Фюрер не имеет возможности знать имена всех своих полковых командиров.

МАЙОР СПИРИН. Ну, хорошо! Могу вам сообщить, что командир противостоящего нам полка вермахта – Эрих Мария фон Зальцер. Это вас удовлетворяет?.. Так вот, вам повторить мой вопрос?

АДОЛЬФ ГИТЛЕР. Да, фон Зальцер был поставлен в известность о прибытии в полк его фюрера.

МАЙОР СПИРИН. Как вы, собственно, оказались в Онегинском лесу на лошади, без сопровождения?

АДОЛЬФ ГИТЛЕР. Это важно?

МАЙОР СПИРИН. Да. О гарантиях мы с вами договорились.

АДОЛЬФ ГИТЛЕР. Считайте, что в лесу на нас напали партизаны и перебили охрану. Двое из охранения остались живы, они взяли коня и санки в ближнем селе. Кажется, там был совхоз, конеферма... Потом их убили уже ваши люди. Вы ведете войну без всяких правил. В Европе последнего солдата при маршале не уничтожают.

МАЙОР СПИРИН. Но вы же ефрейтор?

АДОЛЬФ ГИТЛЕР. Если б жив был мой последний солдат, я бы снял с него Железный крест и приколот к груди вашего героя... как его... Пушкин?

ГРИША ПУШКИН. А меня уже наградили. Вон (*кивая на стол, на столе – недопитая бутылка*). И еще майор обещает, да, батя?

АДОЛЬФ ГИТЛЕР. И этого стоит свобода фюрера? Фюрер мог бы вознаградить куда лучше – подарить поместье, замок в горах.

ГРИША ПУШКИН. Фюрер ваш – голодранец. У него нет за душой и клочка-то земли. И двух метров скоро ему не достанется. А в России мы тут хозяева – Пушкины, Спирины, Зеленцовы. Нам чужого не надо, но и своего...

МАЙОР СПИРИН (*усмехнувшись*). Видал, как бреет? Пушкин! (*обернувшись к военнопленному*). Если бы у тебя вместо Геббельса вот такой человек возглавлял пропаганду, вы бы к нам сюда, в эту погибель для вас, не заперлись.

АДОЛЬФ ГИТЛЕР (*гордо вскинув голову*). Тут у вас хозяин один – Сталин! А вы скоро тут все погибнете. Начинается операция под кодовым названием “Кольцо нибелунгов”.

МАЙОР СПИРИН. Интересно, кто у кого в кольце? Это вы, нибелунги, у нас в кольце, вам “капут”! А мы что – мы в своей тут тарелке, в родной стихии, на своей территории.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Лесное урочище. Блиндаж штаба немецкого полка. Карта на стене. Перед картой меряет шаги командир полка вермахта полковник фон Зальцер.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*рассуждая вслух*). Что-то происходит, а что? Три дня назад эсэсовцы взяли командира резервного полка подполковника Беклау и расстреляли перед солдатами. Для чего – для поддержания боевого духа в войсках, застрявших в подмосковных снегах? Но не будем об этом... Вот эта несчастная речка по линии фронта. Столько месяцев стоим мы здесь, утонули в снегах, – доблестная армия фюрера. Вот этот выступ в районе Онегинского леса, этот “язык”. Подрезать корень, рвануть... а там – оперативный простор, вводятся танки, дальше Москва... Кажется, это у ихнего Пушкина, нет, у Лермонтова: “и он к устам моим приник и вырвал грешный мой язык”.

А деревья гудят, как какие-нибудь валькирии. Русские ведьмы собираются над верхушками русского леса, слетаются на самолетах. Шабаш русских ведьм, – что они замышляют? Эти русские уничтожили свои средневековые замки еще при Болотникове, пожгли “дворянские гнезда” в революцию, и теперь тут уныло, пустынно, без мифов. Даже призраки отказываются жить в таких богом забытых местах.

Получил вчера письмо от жены. Фрау фон Зальцер пишет: “Эрих, храни тебя Бог! Не пей холодного молока, у тебя плохое горло!» Моя дорогая Эльза, знаю, у тебя теплые руки, а у меня, к сожалению, хорошая шея, ей очень подходит веревка. В одном прифронтовом госпитале, где я залечивал свою последнюю рану, повесился сосед по комнате – тоже полковник... Однако к черту воспоминания! Нох айн маль! Еще раз подсечь этот “язык”, перемычку. Из штаба корпуса сообщили о чрезвычайной инспекции, но – треск, помехи, осколок от мины в рацию, а Курта убило... И эти валькирии в штабе корпуса, как и те, что над лесом, и что думает фюрер о нас, его доблестных рыцарях, в этих гиблых местах?

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*стуча в дверь*). Приведите русского перебежчика!

Перебежчика вбрасывают в дверь. Медленно поднимается тот с колен, стоит перед немецким полковником.

ФОН ЗАЛЬЦЕР. Как зовут?

ПЕРЕБЕЖЧИК. Миша, господин оберст!

ФОН ЗАЛЬЦЕР. Фамилия?

ПЕРЕБЕЖЧИК. Просто Миша, ездовой.

ФОН ЗАЛЬЦЕР. Какой ездовой?

МИША ЕЗДОВОЙ. Ну, жокей, жокей по-вашему (*И вдруг прямо в лоб полковнику*). Вас хочет видеть Гитлер!

ФОН ЗАЛЬЦЕР. К-какой Г-гитлер?

МИША ЕЗДОВОЙ. Ну, фюрер, фюрер по-вашему. Он теперь у нас, на нас работает. А наш майор передает вам лично привет.

ФОН ЗАЛЬЦЕР (*отшатнувшись, как от чумы*). Ви есть гестапо?

МИША ЕЗДОВОЙ. В гестапо не бывает майоров, там тоже фюреры... Привет передает наш майор Спирин. Вы с ним лично знакомы. Он был до войны директором одного из литературных музеев и вел для вас специально экскурсию.

ФОН ЗАЛЬЦЕР. Спирин? Ах, Спирин!... Вы кто?

МИША. Гитлер требует, чтобы вы – солдат фюрера – прибыли в условное время в условное место! В общем, принять все меры к его освобождению.

ФОН ЗАЛЬЦЕР (*в дверь*). Ко мне полкового разведчика Отто Крамера!

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Онегинский лес. Лесникова сторожка. Здесь же козырные санки в коврах. Впереди – Миша, сзади – Тиша, полковые разведчики. В “kozyрях” – Гриша Пушкин, рядом с ним кто-то еще, накрытый плащ-палаткой.

ГРИША ПУШКИН (*откидывая плащ-палатку и обнаруживая “фюрера”*). Ну, вот и приехали. Здесь и состоится передача вашей персоны. Но не сразу, а через двое суток... Да смотри у меня, без фокусов! (*сует под нос пистолет*). И еще есть кое-что. Если что – на воздух к чертовой матери!

Все сидят неподвижно.

АДОЛЬФ ГИТЛЕР. Кого ждем, майн херц?

ГРИША ПУШКИН. Делегации! Нашего майора – вашего полковника. Сдача и передача... А вон и ваш Зальцер – фон оберст. Мой фюрер! Спокойно, без лишних движений... Миша и Тиша, а вы туда к оберсту с белым флагом!.. Автоматчики остаются на месте, сюда только полковник.

МИША и ТИША. Ну, мы пошли, командир?

ГРИША ПУШКИН. Валяйте.

Автоматная очередь. Миша и Тиша падают, как подкошенные.

ГРИША ПУШКИН (*побелев, подносит пистолет к виску военнопленного*). Ну, сука! Молись теперь всем богам, чтобы мои ребята живыми остались.

Пауза. Скрип снега. Вышагивая по-гусиному, приближается полковник фон Зальцер. За ним короткими перебежками движутся оба разведчика – Миша и Тиша. Живые! Миша держится за плечо.

А с другого конца дороги, от леса, раздается мощный, прямо-таки разбойничий свист. От группы военных отделяется майор Спириин. Идет навстречу, тоже один, без сопровождения.

Не дойдя нескольких шагов, оба – полковник фон Зальцер и майор Спириин – останавливаются один против другого. Затем решительно сближаются и пожимают друг другу руки.

АДОЛЬФ ГИТЛЕР (*сплевывая на снег*). Мой оберст! Я уполномочиваю вас на переговоры с этими русскими.

МАЙОР СПИРИИН (*кивнув Пушкину на него*). Этого приятеля в сторожку! Натопить помещение и смотреть у меня хорррошенько-о!! А мы тут с товарищем (*кивает в сторону полковника*) покалякаем. Ферштейн, Гриша?

ГРИША ПУШКИН (*взяв под козырек*). Яволь, Николай Николаевич!

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Дорога в лесу. В отдалении – лесникова сторожка. Вечереет. Гудят высокие сосны. На дороге двое – майор Спириин и полковник фон Зальцер.

МАЙОР СПИРИИН (*показывая в сторону дороги*). Вон ваша тень, господин фон Зальцер. Телохранилитель, человек из гестапо?

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*показывая в другую сторону*).

А вон ваша, господин Спириин. Человек из СМЕРШа?

МАЙОР СПИРИИН. Это мой друг, командир полковой разведки. Да вы его знаете. Это его ребята притащили вашего фюрера.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР. Ах, если бы, если бы... Ваш Сталин – кремлевский затворник. Сидит в Кремле, никуда не выезжает, вероятно, катастрофически боится покушений...

МАЙОР СПИРИИН (*уклончиво*). Он – вождь, страна не может быть без вождя.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР. А армия?.. Фюрер выдвинул Ставку в Польшу, затем сюда в Россию. Фюрер лично бывает в войсках...

МАЙОР СПИРИИН. Двойники.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР. Что же вы полком командуете, а все в чине майора?

МАЙОР СПИРИИН (*усмехнувшись*). Когда мы познакомились с вами... тогда в музее... я, господин полковник, был рядовым. А вы?

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*подняв гордо голову*). О! Я был тогда лейтенант, обер-лейтенант.

МАЙОР СПИРИН. Ну вот. У меня продвижения больше... Ну что, господин профессор, установили вы тогда местонахождение клада нибелунгов? Кажется, в Бургундии, но в каком именно месте? Или к нам сюда припожаловали с той же исторической миссией? Как к этническим родственникам короля гуннов Этцеля? Неужто тут у нас, в недрах России, ищите вы все тот же клад нибелунгов, который бы с превеликим удовольствием “вы на Рейн перевезли”?

– Где клад – про это знаем
Лишь я да царь небес.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*оживляясь*). О, у вас память! Вы еще помните, что на свете существует “Песня о нибелунгах”?

МАЙОР СПИРИН (*с ехидцей*). Да, но и вы, очевидно, не забыли, что это земля Льва Толстого, Тургенева, Фета, Тютчева? Вы, господин профессор, препожаловали снова сюда на экскурсию?

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*нараспев*). А вы... вы...

– Собрали всех способных мечом владеть людей,
И двадцать тысяч воинов напали на гостей.

МАЙОР СПИРИН (*с укоризной*). Вы – гости? Нет, Эрих Мария, кажется, так вас зовут... вы бы могли быть моим личным гостем... или будете им после войны... если, конечно, мы с вами останемся живы...

– ... я не помощник той,
кто смелым нибелунгам
желает смерти злой.

И далее.

Все мнили, что храбрец погиб,
Но он остался цел.
Покуда ночь над миром не распростерла тень.

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Там же. Те же. Вдвоем у ствола огромного дуба.

МАЙОР СПИРИН. Помните у Тургенева? “Дубу – Родине поклонитесь”... А как гудит ветер вверху там! Валькирии слетаются на свой шабаш, праздновать эту ночь, да?

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*вдохновясь*).

– Совпал с солнцеворотом тот долгий страшный бой.
Свела Кримхильда счеты с ближайшею родней.

МАЙОР СПИРИН. Отчего, господин профессор, так сумрачен, так кроваваден ваш эпос?

– Не видел мир поныне второй такой резни.
Трещали, разрываясь, подшитые ремни.
И со щитов камня летели в кровь и грязь.
И дико лязгали мечи, о панцыри шербясь.

И вот еще, смотрите!

– ... И голова ребенка, слетев со слабых плеч,
Кримхильде на колени упала тяжело.

Или.

– ... взметнул мечом стальным
И руку музыканту по локоть отрубил.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (с гордо поднятой седой головой).

Нет, это не так, мой дорогой оппонент! Это рыцарство, рыцарское мужество, воинская доблесть. Вот как далее эпос гласит про музыканта – шпильмана, этого скрипача:

– “Иду”, – ответил шпильман.
Играл он ту же песню по пути врагам
На шлемах, а не струнах, мечом, а не смычком.
Остались рейнцы смелые довольны скрипачом.

МАЙОР СПИРИН (подхватывая и продолжая):

*Как дикий вепрь, он грозен, как суций дьявол, зол.
Его напев смертелен его смычок багров.*

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР. Вон ваш человек, ваш СМЕРШе-вец
делает вам какие-то знаки!

Того, кто поднял, Данкварт, на вас свой дерзкий меч,
Сам сатана от рук моих не может уберечь.
Я мокр от крови красной, но это кровь врагов.

МАЙОР СПИРИН. А вон машет рукой ваш человек – офицер из гестапо.

– Стал поминальной тризной веселый пышный пир.
За радость испокон веков страданьем платит мир.
Слышите, гудит! Это, кажется, летит ваш самолет?

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР. Нет, кажется, ваш. Майор, в самом деле, ваш! Его называют у вас “кукурузник”, а мы – “рус фанера”. На них у вас летают почти исключительно женщины. И вы называете их героями, этих женщин, а мы – “ночными ведьмами”. Они снижаются так, что цепляют окопы и бросают гранаты в спины солдат.

МАЙОР СПИРИН. Это наши Кримхильды, они подняли меч Зигфрида – Бальмунг... Но мы увлеклись, мой профессор! Итак, вернемся к нашим баранам.

СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ

Те же. Там же в лесу, под вековым дубом.

МАЙОР СПИРИН (*по-деловому, всерьез*). Эрих! Как понимаешь, мы с тобой попали в исключительную ситуацию. Дело не в компетенции командиров полков. Надо выкручиваться, нужны согласованные действия... К нам в руки попала эта птица... как его там, важная, в общем, персона... Я без риска не могу переправить его командованию. Мы у вас в окружении, как говорится, “в кольце нибелунгов”... Персона направлялась к вам, в распоряжение вашего полка. И она имеет теперь возможность все же добраться до места назначения. Что будем делать, ваши предложения, Эрих? Чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР. Как это? И волки, и овцы сразу?

МАЙОР СПИРИН. Ну да, и СМЕРШ, и гестапо. И вождь, и фюрер... У меня предложение. Мы не организуем побега фюреру, нет. Мы просто оставляем его в этой лесной избушке на пару деньков. Вроде как на курорте, в маленьком “замке”. В русском лесу, среди русской природы, он же сюда стремился, может, даже мечтал. Организуем отдых ему, прогулки, маленькую охоту, какого-нибудь кабанчика привяжем к дереву...

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР. А гестапо?

МАЙОР СПИРИН. А гестапо пусть его охраняет. Офицер при вашем полку. Для верности я и своего парня прикомандирую. Это чтобы вам плохо о нас не думалось. И чтобы наши разведчики, бедовый народ, снова его не уташили.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР. И что далее?

МАЙОР СПИРИН. Пусть этот ... ну, Гитлер... пьет, гуляет, отдыхает целых двое суток. Все условия создадим. Отдохнул, оклемался – забирайте себе как новенького. Как нигде он и якобы не бывал. Вроде все ему как бы приснилось... Кошмарный сон забыт. Мы с тобой в стороне. А уж все остальное от него зависит. Может, тебе, Эрих, еще и Железный крест, понимаешь, обломится?

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*передернув плечами*). Как это?

МАЙОР СПИРИН. Как у вас... у нибелунгов... это не знаю. Может, отпуск дадут. А может, направят в элитную дивизию... Для подстраховки можете... эсэсовцами, что ли, поляну обложить. Но чтоб незаметно только. Надежно, но ему незаметно. Фюрер все же, персона... А чтобы наши стихийно не сунулись, не отбили его назад, вторым колечком – из войск уже – обнесите полянку-то. Не стесняйтесь.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*оглядываясь*). Лес подслушивает.

МАЙОР СПИРИН (*воодушевляясь*). Да глухой, глухой лес!.. С самим бы (*кивает на сторожку*) посоветоваться. Как сам-то он!

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР. Будет согласен.

МАЙОР СПИРИН. Да уж куда деваться.

СЦЕНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Кордон. Лесникова сторожка. Жарко горит русская печь. "Важная птица" лежит на топчане, под полушубком. Гриша Пушкин сидит на корточках у двери. На столе – батарея бутылок, открытые банки консервов, еда.

Входят майор Спирин и полковник фон Зальцер. Гриша Пушкин вскакивает, вытягивается перед майором.

МАЙОР СПИРИН (*оглядывая стол*). Ну и как?

ГРИША ПУШКИН (*улыбаясь и опадая телом*). Кур... кур... курортничаем.

МАЙОР СПИРИН. А чего у тебя язык заплетается?

ГРИША ПУШКИН. Перестарался. Вот его (*показывая на топчан*) обучаю отдыхать по-нашему.

МАЙОР СПИРИН. Ну и как?

ГРИША ПУШКИН. Сейчас разбуджу... Эй, ефрейтор, вставай! Начальство пожаловало.

"Важная птица" приподнимается на топчане, приходит в себя, трясет всклокоченной головой.

Гриша Пушкин хлопчет у стола. Разливает из бутылки по алюминиевым кружкам. Протягивает кружки майору Спирину, полковнику фон Зальцеру и своему подопечному. Тот отрицательно мотает головой.

МАЙОР СПИРИН. А себе, Григорий Григорьевич?

ГРИША ПУШКИН (*облизывая ложку*). Я на работе, бать.

МАЙОР СПИРИН. Ну и что? За встречу в небывалых условиях?

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР. За Пушкина! О! Это большой человек!

ГРИША ПУШКИН. Нам маленькими быть нельзя! Какие просторы охраняем – сладкий кусок! Гляньте, какие рыцари к нам пожаловали.

Крякают по-мужски, закусывают.

ГРИША ПУШКИН (*приходя в себя*). А то это... значит, так... история, значит, такая... вот куры с петухом, спасаясь от лисы, взобрались на дерево. Лиса круть-верть хвостом перед ними: "Что ж вы там сидите-то? Свеженьких новостей не слыхали?" – "Нет, не слыхали. А в чем они заключаются?" – "А они ни в чем не заключаются. Просто большой совет в лесу состоялся, теперь у животных такой договор. Спускайтесь с дерева и наслаждайтесь

миром и согласием”. “Нет, – думает петух, – знаю я тебя”. – И сам вытягивает шею, вроде высматривает что-то сверху. “Что это ты? – интересуется крайне лисица. – Чего углядел-то?” – “Да это, как ее, вон собаки по дороге гонят сюда кого-то с разинутой пастью”. “Да? – спохватывается лисица. – Ну, я побежала”. – “Чего это ты? Испугалась? А как же насчет договора, ведь мир же”. “Да, конечно, – завилыла она хвостом. – Я-то про договор знаю, а вот они как, может, они-то не знают?”

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*смеясь*). Молодец, Гриша! Весь в Пушкина! Как это говорят у вас, язык, небось, не просыхает? Из “Песни о нибелунгах” что-нибудь знаешь?

САМОЗВАНЕЦ на топчане (*стараясь обратить на себя внимание*).

– Вот и сейчас без дела они торчат окрест,

А не спешат на помощь владыке своему.

ГРИША ПУШКИН. Во бля память! А еще говорят, у фюрера образование среднее. Вот кто у меня не просыхает, теперь и не просохнет! (*обращаясь к полковнику*). Двое суток будет чуть тепленький...

Как у нас, у разведчиков, говорят, будем раскачивать нервы...

САМОЗВАНЕЦ (*продолжая свое*).

– Где гунны? – молвил Фолклер. – Что не идут сюда?

Хлеб государя даром вся их орава ест.

ГРИША ПУШКИН (*о самозванце*). Не зря говорили, он у них это... маляр... художник изящных искусств...

МАЙОР СПИРИН. Ладно, пусть спит, отсыпается, прежде чем мы его кокнем.

Самозванец мигом взлетает на своем топчане, смотрит на Спирина дико.

МАЙОР СПИРИН (*Грише Пушкину*). Вишь, все понимает. Ладно, я пошутил, гляди тут, ты у меня головой за него отвечаешь!

СЦЕНА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Та же лесная дорога. Тот же вековой дуб. Двое у дуба – майор Спиринов и полковник фон Зальцер.

МАЙОР СПИРИН. Ну, вот и договорились! Встретимся ли когда-либо снова после войны?

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*улыбаясь устало*).

– Да, много славных витязей

Унес раздор двух дам!

МАЙОР СПИРИН. А сколько еще унесет... Слушай сюда, Эрих Мария! “Фон” – это что у тебя, родовое? Из остзейских баронов, что ли?

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР. Корни мои из Прибалтики. А “фона” –

бароновский титул – получили предки мои в Пруссии сравнительно недавно, в девятнадцатом веке. Кстати, за успехи в области литературы.

МАЙОР СПИРИН. Во Франции поэты были охочи до этого дворянского “де”: Альфред де Мюссе, Жерар де Нерваль, Альфред де Виньи...
ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР. Оноре де Бальзак. Хотя, нет, это уже проза. Проза жизни! Как эта война...
МАЙОР СПИРИН. ...как эта война. Шумят, гудят над нашими головами верхушки деревьев. Валькирии слетаются на свой шабаш.

Над лесом на бреющем пролетает самолет. Звук его затухает. Как эхо то ли от шума леса, то ли от пролетавшего самолета возникают слова из “Песни о нибелунгах”, звучащие голосом майора Спирина:

Там, где не зная страха, стоит за друга друг,
Оружье выпадает у недруга из рук.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Все та же крестьянская изба. Сама хозяйка за прялкой в углу. У стола майор Спирин с Зеленцовым. Зеленцов в полном боевом снаряжении, майор Спирин сидит перед ним с замотанным горлом.

МАЙОР СПИРИН (хрипло, инструктируя разведчика). Вишь, Маша никак до штаба не достучится, что-то с рацией... В общем, вот тут, в этой точке, и проскользнешь. На горку не лезь, жмись к реке, сам знаешь, тут у них “мертвое пространство”, пулеметы не достают... Обрисуешь там обстановку. По схеме: ничего не прибавляй, но и не смягчай. Реально, как оно есть. А как есть – сам знаешь... Пусть присылают кого-нибудь вместо убитого капитана Бокатина. Или тебя назначают вместо него. Только тогда пусть присылают и кого-нибудь на твоё место, в полковую разведку. Скажешь, не могу же, мол, я быть сразу на двух должностях – и в разведке, и в СМЕРШе.

ЗЕЛЕНЦОВ. Ну а как насчет этого? Так и докладывать, мол, “Гитлер” тут у нас? На смех подымут.

МАЙОР СПИРИН. Ничего смешного, война! Может, у них там в связи с этим какие-либо планы возникнут. Так ты им донеси до сознания наш планчик... ворваться в окопы на плечах отступающего противника... Вот, смотри сюда, повторяю.

Расстилает топографическую карту.

Вот тут Онегинский лес. Вот тут в избушке Гриша Пушкин со

своим Гитлером. "Нибелунги", естественно, берут их в кольцо. Войска подтягивают, может, даже снимают с других участков... Конечно, снимают, людей у них тут не густо... А мы им отсюда и сюда, хоп под горлышко!.. Объясни там нашим, мол, уникальный момент, возможность прорвать наконец линию фронта. Только пусть "огоньку" нам подбросят. Вот сюда и сюда из дальнбойной артиллерии или с помощью авиации...

ЗЕЛЕНЦОВ. И по домику лесника?

МАЙОР СПИРИН (*хрипло, с трудом сглатывая слюну*). Нет, Гришу не трогать, Гриша с Гитлером пускай пьют. Как мы и договорились...

ЗЕЛЕНЦОВ. Дарья Ивановна! Вскипяти бате чайку, ноги попарь. На ноги Николаича надо срочно поставить.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА (*суетясь*). А что ж не сказали-то, да мы сейчас, сейчас... Нюра! Беги по воду. Нина! А ты по дрова...

МАЙОР СПИРИН. Да ладно уж.

ЗЕЛЕНЦОВ. Да не ладно. Часы решают все.

МАЙОР СПИРИН. И ты шевелись. Всего двое суток на операцию. Одна нога тут, другая там. Если смогут, мол, пару рот из резерва сюда на подмогу... больше не надо... а то засекут передвижение... кхе, кхе... понял? Ну, валяй. Нет, погоди. Чайку давай попьем на дорожку, может, в последний разок.

ЗЕЛЕНЦОВ. Но надо верить, верить.

МАЙОР СПИРИН. Во что?

ЗЕЛЕНЦОВ. А ни во что, ни во что.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Та же изба. Майор Спирин и Зеленцов за чаепитием.

ЗЕЛЕНЦОВ (*подзывая детей*). Это тебе, Нинок! А это тебе, Нюра. Из резерва.

ДЕВОЧКИ (*принимая сахар*). Ой, какой белый! Ой, какой сладкий!

ЗЕЛЕНЦОВ. Вот он, батя наш (*показывая на майора Спирина*), разведчиков любит, устраивает нам сладкую жизнь.

ДЕВОЧКИ. Большие такие и сахар кусками едят.

МАЙОР СПИРИН (*объясняя детям*). Специально разведке даем. Чтобы ночью лучше видели, зорко.

ДЕВОЧКИ. И нас – зорко видели? Спасибо... спасибо...

Шушукаясь, забиваются снова в угол, к прялке.

ЗЕЛЕНЦОВ. Бать, а бать!.. А об чем это вы толковали с оберстом ихним, с бароном?

МАЙОР СПИРИН (*живо реагируя*). Это кто в тебе говорит – капитан Бокатин или ты сам, полковая разведка?

ЗЕЛЕНЦОВ. Да нет. Как человек просто спрашиваю.

МАЙОР СПИРИН (*закашливаясь до синевы, постепенно приходя в себя*). Да все больше по литературным вопросам. По ихнему эпосу, по "Песне о нибелунгах".

ЗЕЛЕНЦОВ. Эко вас куда занесло.

МАЙОР СПИРИН. Так мы вроде одной профессии. Оба филологи. Только я до войны был директором литературного музея, а фон Зальцер – профессором университета.

ЗЕЛЕНЦОВ. А-а, а я-то думал, он из кадровых. Из военных. А вы оба литераторы.

МАЙОР СПИРИН. А у них и эпос такой – военный. Все воюют, воюют, все кровь льют и льют. А с чего началось?

ЗЕЛЕНЦОВ. Да, с чего, бать, все начинается?

МАЙОР СПИРИН. А во-первых, с клада нибелунгов. Где-то спрятанного тайно. А главное – с женщин. С соперничества, со ссоры двух королев. Вот вцепились друг в друга, прямо тебе свара кухонная.

ЗЕЛЕНЦОВ. Да ну? Ну-ну, интересно! Как же, вцепились друг в друга?

ДАРЬЯ ИВАНОВНА (*подходя поближе*). Ну-ну, Николаич, расскажи, расскажи ему.

МАЙОР СПИРИН (*наливая и ей в стаканчик из чайника*). Вот женился ихний король Гунтер на Брунхильде – женщине мощной, неукротимой. Не справляется с королевой Гунтер в одну и другую брачную ночь. Она свяжет его и на стенку, на крюк. Позор какой! Вызывается помочь Гунтеру рыцарь Зигфрид – муж сестры короля. Темной ночью входит он к Брунхильде и укрощает ее. А на память берет тайно пояс и перстень – кольцо королевы...

ДАРЬЯ ИВАНОВНА. Обручальное, да?

МАЙОР СПИРИН. Может, и обручальное. И отдал он то колечко кому, естественно? Два колечка с пальцем посередине.

НЮРА И НИНА. Жене своей, естественно.

МАЙОР СПИРИН. Во молодцы! Правильно, жене своей Кримхильде. А та сестра короля Гунтера – тоже ведь королевского рода. Вот и заспорили они с женой Гунтера Брунхильдой – кому первой ступить в божий храм? В подкрепление своих притязаний каждая из жен стала возвеличивать своего супруга. И тут Крумхильда возьми и скажи, что это ее Зигфрид первым вошел в опочивальню королевы. И в знак правды предъявила кольцо. Вот так!.. С этого все и пошло. Зигфрид был убит. Его мечом – знаменитым Бальмунгом – завладел другой рыцарь. А Брунхильде из своей страны нибелунгов пришлось отправиться на Дунай – в страну гуннов, где она вышла замуж за Этцеля, короля гуннов.

И все вроде забылось со временем. Но вот из добрососедских чувств король гуннов Этцель пригласил к себе короля нибелунгов Гунтера. Однако, любовь к Зигфриду и жажда мести пылали в груди Брунхильды. И что?..

ЗЕЛЕНЦОВ. А что же меч Зигфрида – Бальмунг? Что палец среди двух колец?

ДАРЬЯ ИВАНОВНА. Они убили гостей?

МАЙОР СПИРИН. Да, убили. С половины эпоса кровь льется рекой.

Античная тема: любовь, брак, семья. Брунхильда убила брата, она потеряла все, даже собственного ребенка. Зато, отомстив, обрела себя, меч Зигфрида – Бальмунг свой знаменитый. И надежду когда-нибудь этим Бальмунгом отвоевать земли, где зарыт клад нибелунгов.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА. Вот и рыщут, и рыщут, бродят по белому свету с мечом.

ЗЕЛЕНЦОВ (*живо*). Кто, Дарья Ивановна?

ДАРЬЯ ИВАНОВНА. Да кто ж, они – нибелунги. Два кольца с пальцем посередине.

ЗЕЛЕНЦОВ. Какая женщина...

МАЙОР СПИРИН. Кто?

ЗЕЛЕНЦОВ. Эта наша Дарья Ивановна.

МАЙОР СПИРИН. Да уж, муж тоже где-то на фронте, бредит по мужику.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Та же крестьянская изба. Майор Спиринов с замантым горлом, полулежит, под полушубком. Маша-радистка в наушниках, за столом.

МАЙОР СПИРИН (*по-отечески*). Машенька, передохни. С ног сбилась, третьи сутки за рацией.

МАША-РАДИСТКА (*не обращая внимания*). Руслан – один... Руслан – один... Руслан – один... Я – Русалка! Я – Русалка! Я – Русалка! ... Я тоже одна. Как меня слышите? Перехожу на прием... прием, прием...

МАЙОР СПИРИН. Какая упрямец! Ну, хорошо, хорошо! Тогда вот что. Походи-ка по эфиру – что у них там творится? Что говорят по микроволновым?..

Маша-радистка крутит ручку настройки. Слышен треск, радиоголоса. Русская, немецкая речь. Врывается знакомая мелодия песни "Широка страна моя родная".

МАЙОР СПИРИН. Оставь, Маша, пусть так побудет – поглубже, поглубже.

Сквозь радиометель в избу вливаются привычные звуки, привычные слова:

*Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек...*

*С охапкой дров входит Дарья Ивановна да так
и застывает в дверях, отворачивается к стене.*

ДАРЬЯ ИВАНОВНА. Доченька! Да ты поищи, поищи там хоть вот такоичко, махонечкий голосок, чтоб про мужа мово сказали... Где он, что с ним, может, еще живой?

МАША-РАДИСТКА. Сообщение Информбюро, мамаша, в девятнадцать ноль-ноль. Тогда и включу... А пока, а пока...

Снова крутит ручку настройки. Женский голос по-немецки, мужской голос по-немецки. Взволнованный, то вздох, то с паузами.

МАЙОР СПИРИН. Ну-ка, ну-ка, послушай его, этот голос, чего она там, Кримхильда?

МАША-РАДИСТКА (*медленно, с расстановкой*). Доблестные войска фюрера... под Сталинградом... час победы близок... великая русская река Волга... наши кони пьют из нее воду...

МАЙОР СПИРИН. Дальше давай... А этот? Ну-ка, этот пусть, что этот?

МАША-РАДИСТКА. Под Москвой сбито десять самолетов русских, выведено из строя... И два кольца, посредине палец...

МАЙОР СПИРИН. Дальше, глубже, ты это серьезно?

МАША-РАДИСТКА (*быстро, под нос себе*). Курт, Курт, ты меня слышишь? Тут все сбились с ног... скоро сутки, как ... исчезают великие тени... это партизаны... фюрер нам не простит...

МАЙОР СПИРИН. И что он ей?

МАША-РАДИСТКА. Да-да, выехал... в заданный квадрат... но не доехал... может, у вас? может, у вас?... Да то же самое: два кольца, посредине палец...

МАЙОР СПИРИН (*оживляясь*). Во что надо! Уж не Адольфа ли нашего ищут?

МАША-РАДИСТКА (*продолжая монотонно*). Объявляется трехдневный траур... В авиакатастрофе погиб лучший ас великой Германии... в небе Испании, Бельгии сбил двести вражеских самолетов... Курт, Курт, он не доехал, он не доехал... ждите неприятностей... от этого пальца посредине, от этого пальца...

МАЙОР СПИРИН (*прерывая Машу*). Ладно, передохни! Ясно, беспокоены.

Пауза. Рация на столе продолжает трещать.

МАЙОР СПИРИН (*поднимаясь с постели и выключая рацию*).

Надо питание экономить... Молодец, Маша! Хорошо реагируешь... Можете быть свободны, товарищ радистка (*уже другим тоном*). И где это ты так наловчилась, что заканчивала? Что по-нашему, то и по-немецки.

МАША-РАДИСТКА. Иняз. На Урале. У нас, товарищ майор, была в институте военная кафедра.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Та же крестьянская изба. Майор Спири́н и хозяйка Дарья Ивановна. В уголочке хозяйкины дети.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА (*подавая таз с горячей водой*). Давай, Николаич, обмойся, после ноги сюда. А над этим вот (*ставя перед ним чугунок с только что сваренной, густо парующей картошкой*) наклоняйся, да пониже, пониже... Так, накрываем полушубком... парься, парься... Терпение нужно иметь, терпение, Николаич. Вон сколькими людьми командуешь, а как ребенок нетерпелив, баб любишь... У меня Нюра и Нина послушнее, этим толечко их и спасаю... Вот попарю тебя, попарю – мигом подымешься, встанешь на ноги. Будешь как новенький...

Майор Спири́н кряхтит, бормочет что-то, вздыхает под полушубком.

МАЙОР СПИРИ́Н (*приоткрывая полушубок*). Что ты сказала? Что сказала-то, мать? Баб люблю? А на фронте мы, инстинкт самосохранения – каждый миг чую, смерть всегда рядом.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА (*запихивая его голову обратно под полушубок*). Парься, парься! Только пар, говорю, не выпускай! Попарю, говорю, станешь как новенький! Тогда и вой, живи. А то как жить-то с плохим горлом, с такой температурой... Ишь, какие “лыцари” сюда заявились с мечом этим “бальмугом”. Нам надо крепче стоять на ногах, – стопчут.

Вскоре майор Спири́н, распаренный, красный весь, сидит за столом и опять чаевничает с хозяйкой.

МАЙОР СПИРИ́Н (*пыхтя от удовольствия*). А ты бы это... Дарья Ивановна, смогла бы так вот, как королева Кримхильда? Я бы тебе старшину первой роты прислал, он в твоих годах.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА (*отставляя кружку*). Своо мужика-то помню, Колю. Он у меня, Николай Николаевич, вроде тебя, тоже мужик смирный был. В колхозе все последнему ему доставалось. Я за него всюду ходила, двери лбом отворяла. Сосед пуд меду из

колхоза, а мой – ложку. А как Родину защищать, так Колю в первые ряды, на погранзаставу. А Фиеныча, соседа, куда подальше от фронта, – в шахту...

МАЙОР СПИРИН. Так в шахте-то тоже фронт. Небось, раньше Фиеныч в шахте работал, вот его и туда же – уголек добывать... Хата у тебя, Дарья Ивановна, знаменита теперь: сам Гитлер бывал, Пушкин тоже – родная кровь национального гения. После войны мемориальную доску повесят, за деньги избу людям будешь показывать.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА (*запальчиво*). Да я бы ее вот этими, собственными руками спалила!

МАЙОР СПИРИН. Чего это?!

ДАРЬЯ ИВАНОВНА, Да хату свою, говорю, спалила бы, не пожалела... вместе с этим, как его... с фюрером! Кабы знала, что он настоящий.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Там же. Майор Спириин один за столом. Сидит, опершись на локти.

МАЙОР СПИРИН (*про себя*). Да, труба нам тут! Надо что-то придумать. Целую зиму в кольце у них, в этом “кольце нибелунгов”. Совсем дошли! Забывать стали, что такое настоящая баня, хлеб свежий. Большая Земля. Почту раз в две недели сбрасывают с самолета... Пока не поздно, надо разрубать этот гордиев узел... Да и эти, нибелунги, тоже в снег ушли, как сурки. Подумать только, на что рассчитывали – забраться в такие просторы! Каждому, небось, самому взглянуть хочется, ознакомиться с обстановкой, свой глаз – ватерпас...

Майор Спириин встает, начинает расхаживать по избе.

МАЙОР СПИРИН. Поставить под ружье почти всю Европу, всколыхнуть миллионы. Завести идеей полупустых, свободных земель на Востоке, малоценные народы не способны освоить пространства, частью их следует перебить, частью заставить служить... И вот все это трещит, крах приближается. У перебежчиков уже пароль перехода возник такой: “Гитлер капут!” Не по Сеньке шапка, кусок слишком велик оказался... Иной раз задумываешься: Ницше, Заратустра вроде как сверхчеловеки, а что же нам тогда, простым смертным?..

Фон Зальцер напомнил “Песню о нибелунгах”. Ну и куда в конце “Песни” отправляются нибелунги во главе с королем Гунтером – к сестре своей Крумхильде, на Восток, на Средний Дунай, к гуннам. А куда уже в нашем эпосе летит кукушкой – зигзицей

оплакать мужа любимого – ладу жена князя Игоря Ярославна? Все туда же. на тот же Дунай...

Может, мне и жаль кого. так это погибшего от интриг рыцаря с мечом Бальмунгом фон Зигфрида. Два кольца с пальцем по середине...

И жаль Гриши Пушкина, конечно. Как он там сейчас? Сидеть в компании с этим Шикльгрубером, слышать чужие голоса за окошком, знать, что вокруг только они, – нет, какво? Пожалуй, даже в буйную голову его прадеда не пришла бы идея посадить своего правнука в одну клетку со зверем таким... Прости нас, сынок... ДАРЬЯ ИВАНОВНА (*входя в избу*). Что-то за Гришу, Николаич, душа болит. За нашего Гришу. Не отправили бы мы туда его на гибель.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Та же дорога в лесу. Кордон. В отдалении – лесника сторожка. По краю леса переключка немецких часовых. Под могучим дубом в одиночестве полковник фон Зальцер.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*размышляя*). Как это у русских: “он” свалился, как снег на голову! Ехал в распоряжение полка и не доехал.

А с меня как с командира этого полка просто шкуру могут содрать. Знаю я этих штабных... У этого русского майора совсем неплохая память, целые куски помнит из нашей “Песни о нибелунгах”... Как странно гудят вершины деревьев – русский лес. Действительно, полет валькирий, духа в небытие.

Война и мир, лед и пламень, наконец, свет и тень. Свет – это все, что по эту сторону: государство, канцлеры, армии, тюрьмы, поэты. А тень – все, что по ту: преступления, иной мир – уголовный, его герои, приоритеты. И свет переходит в тень, как день сменяется ночью, но тени пытаются растворить себя в свете. И все эти тени и полутени, как призраки, новый мир, новая жизнь светотени... Железный Бисмарк, не стесняясь, шел на нарушения законов, создавая новые законы нового рейха. А один мой знакомый, отсидевший в тюрьме, все выходил из себя, создавая свою легальную партию...

Вот она, лесникова сторожка. В игре судьбы они там сейчас одни: наш фюрер и этот их пресловутый Пушкин. И от них обоих зависит сейчас твоя, профессор фон Зальцер, участь. Полет валькирий – осуществление высшего плана, сам дух завершения много-трудного исследования этого эпоса – “Песни о нибелунгах”...

Ты, полковник, должен быть собран предельно, на предельном подъеме. ты не можешь уйти в небытие просто так, как все, в этих совершенно невероятных русских снегах... И все это находится сейчас в связке с жизнью двоих в лесниковой сторожке...

Да, ты, фон Зальцер, дал русскому Спирину слово рыцаря! И вот по периметру этой поляны – охрана, вокруг этой сторожки – все твои мысли. А все вокруг того, чтобы эти двое имели возможность двое суток, целых двое суток пить, жрать, гулять, бродить по этой поляне без всякого контакта с военными.

Да! Это опасно, однако не напрасна тревога. Твоя, фон Зальцер, судьба в такой резкой зависимости от судьбы всего одного человека. Однако дух требует своего, этого требуют валькирии – белокурые бестии, таинственный клад нибелунгов, к которому ты, может, близок сейчас, как никогда. Все остальное – блеф! Из этого “большого котла” ты сделаешь свой “маленький” – условно “Кольцо нибелунгов”. Хоть вести из-под Сталинграда и неутешительны, но у тебя, фон Зальцер, с войной свои счеты. Тело твое должно жить, здравствовать, а дух – побеждать! Иначе зачем тогда ты в этих нелепых, совершенно бессмысленных русских снегах?..

Полковник достает из кармана белый платок и делает им в сторону леса отмашку.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*вслух, резко*). Ахтунг, ахтунг! Приступаем к осуществлению операции “Кольцо нибелунгов”!

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Лесникова сторожка. В углу, нахохлясь, сидит все тот же, кого все тут называют Гитлером. У входа на табуретке с автоматом в руках Гриша Пушкин. На столе – бутылки, всякая снедь.

ГРИША ПУШКИН (*разговаривая вроде бы сам с собой*). Ешь, приятель, пей, негодяй, все, что есть на столе! Вкушай, бери от жизни все, пока мы живы.

Гриша замечает, что один глаз у Адольфа вроде бы приоткрыт, смотрит сквозь пальцы осмысленно.

ГРИША ПУШКИН. А, проснулся? Как опочивали, ваша светло... ваше фюрерское величество? Ах, не хотите со мной разговаривать, отворачиваетесь? Вы – канцлер, однако высоко берете. С высокосидящих по-иному и спрашивается... Все злишься, что я тебя в плен взял? Что это сделал я – простой офицер? Да уж не генерал.

Но ты, пожалуй, родом попроще. Мой прадед царями был принят, стихи писал – царь лично был цензором. Про Александра Сергеевича, небось, не слыхал, нет? Где ж тебе слышать-то за пьянкой в своих баварских пивных да за такой огромной войной. Небось, и читать-то разучился, дельные книжки пожег, как несоответствующие?

А ты не сверкай, не сверкай зенками, я же тебя не боюсь. Я ничего не боюсь, даже смерти, мы – Пушкины, нам бессмертие обеспечено. ЧЕЛОВЕК в углу (*наконец подавая голос*). Гитлеру тоже будущее обеспечено.

ГРИША ПУШКИН (*посмеиваясь*).

*Хорошо быть кисою,
Хорошо собакою,
Где хочу пописаю,
Где хочу покакаю.*

Ну что, давай еще хряпнем за скорейшее выздоровление общества, за окончанье войны? Ах, не желаешь? Понимаю, тебе охота еще повоевать. Вам, сверхчеловекам, так сказать, весь мир хочется перекроить на свой аршин, по законам собственного эгоизма. Значит, брезгаешь пить с потомком национального гения? Ну и хрен с тобой. Значит, пью за мое собственное здоровье, а тебе, значит, на закуску такая история... Н-да, ну это в церкви рассказывали, как Спаситель накормил пятью хлебами сразу пять тысяч... Ну навроде тебя, Адольф, одним “хером” отравил сразу всю атмосферу... Так вот, объясняя людям, священник оговорился, сказав не “пять тысяч”, а “пятьсот”. Дьякон испугался, заметил ему, мол, взял ты ниже планки. А священник ему: “Молчи, дурак! Так скорее поверят...”

Гриша Пушкин наливает еще себе, чокается с пустой кружкой напротив.

АДОЛЬФ ГИТЛЕР (*оживляясь*). Значит, это ты меня в плен взял?

ГРИША ПУШКИН. Ну а кто ж?.. Или вот такая, понимаешь, история.

Соседка у нас была одна, золотухой болела, голова в струпьях. Побрили ей голову – повязала она платок. А дома снимает платок да так и ходит. Вот кричат во дворе: “Пожар! Пожар!” Вылетела она во двор – народу тьма, все ей: “Что ж ты с головою такую, бесстыжая?!” Она хоп юбку себе на голову, а зад и обнажись. Все так со смеху и повалились...

АДОЛЬФ ГИТЛЕР (*сверкнув глазами*). Пушкин! Другого такого у русских нет!

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Та же лесникова сторожка. Те же двое – Пушкин и Гитлер. За окном – голоса, команды, немецкая речь. Гитлер незаметно подвигается к окну.

ГРИША ПУШКИН (*вскидывая автомат*). Хальт! На месте! (*толкает раму прикладом, кричит в распахнутое окошко*). Мы же договорились пить, гулять двое суток! А потом забирайте его, он – к вам, а я – к нам! Ахтунг, ахтунг! Вот противотанковая граната, вся сторожка взлетит к чертовой матери!

Голоса мигом смолкают.

ГРИША ПУШКИН (*улыбаясь сидящему напротив*). Ну вот и поговорили. Лучше давай отдыхать – дешевле обойдется.

Берет бутыль, подливает себе и ему – в другую кружку.

ГРИША ПУШКИН. У нас так: Бог любит троицу. Или взялся за гуж – не говори, что не дюж.

Пленник отрицательно мотает головой.

ГРИША ПУШКИН (*увещевая*). Гитлер, называется! Прежде чем сюда собираться, надо было нашим обычаям обучиться.

В окне опять слышна немецкая речь.

ГОЛОСА (*по-русски*). Эй, Пушкин! Принимай хозяина! Лесника!

Стук в дверь. Через порог кубарем влетает человек, встает на ноги.

ГРИША ПУШКИН (*отступая на шаг*). Кто ты?!

ЧЕЛОВЕК. Тетерев я, Алексей Архипыч, лесник онегинский, хозяин сторожки.

ГРИША ПУШКИН. Ишь, как морду они тебе испохабили. Ну и чем подтвердишь?

ТЕТЕРЕВ. А вот.

Идет к русской печке. Вытаскивает из печурки чугунок с кашей.

ТЕТЕРЕВ. Гречневая! Еще теплая! Берег для хорошего человека.

ГРИША ПУШКИН (*весело, показывая глазами на пленника*). Для него?

ТЕТЕРЕВ (*простодушно*). Ну да!

ГРИША ПУШКИН. А знаешь, кто это?!

ТЕТЕРЕВ. Кто?

ГРИША ПУШКИН (*после некоторой паузы*). Гитлер!!

Чугунок так и валится у Тетерева из рук. Гриша Пушкин, подхватывая его, осторожно ставит на стол.

ГРИША ПУШКИН. Нервы какие! Че нам с тобой нервничать-то? Чай, на своей земле, это они вот (*кивает за окно*) пусть понервничают, им тут все боком выйдет.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Там же. Те же. За столом Пушкин и Тетерев. Фюрер сидит, нахоясь, все в том же углу.

ГРИША ПУШКИН (*энергично*). Знаю, для чего они тебя сюда ко мне.

ТЕТЕРЕВ. Для чего?

ГРИША ПУШКИН. Ну, не печку же топить?

ТЕТЕРЕВ. А для чего же?

Пленник сидит, прислушиваясь к их разговору.

ГРИША ПУШКИН (*кивая на третьего*). Вот, видишь, сидит принохивается к нюансам.

ТЕТЕРЕВ. Ну и что? Так для чего меня сюда к тебе; а?

ГРИША ПУШКИН. А хитрость такая у них – чтобы мы с тобой, приятель, накулюкались тут и под стол свалились, понял? А мы его давай накачаем, так вернее.

ТЕТЕРЕВ (*решительно подступая к военнопленному*). Пей, гад! Кому говорю! Ишь, как морду вы мне испохабили.

ГРИША ПУШКИН. Нет, так нельзя. Международная конвенция не позволяет, он же военнопленный... Эй, друг ситный! Ты в Россию попал, а в России пьют так: на троих – железный закон! Иначе обижусь (*поднимая автомат*). Крепко обижусь. Так не пойдет! От хлеба-соли у нас не отказываются.

За окном опять слышатся голоса. Раздаются команды, звучит немецкая речь. Голос в окно.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР. Гриша, Пушкин, где ты? Еще не накулюкались? Нам с тобой надо поговорить. Выйди, Гриша, за дверь.

ТЕТЕРЕВ (*Грише*). Не выходи! Снайпера снимут.

ГРИША ПУШКИН (*в окно*). Не уполномочен! Вы же с начальством нашим договорились. Двое суток – и забирайте своего “фюрера”. Пусть он вам там после головы крутит.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*построже уже, свысока*). Григорий! Ты же умный человек. Ты – потомок великого поэта, ты же ответствен за продолжение рода, на тебе он не должен прерваться. Мы тебе сохраняем жизнь, создаем человеческие условия.

Замок где-нибудь в Баварии, у лесного озера... Тени великих предков взывают...

ГРИША ПУШКИН. Про Полтавскую битву читал у Пушкина? Я тебе не Мазепа.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*строго, уже тоном приказа*). Возьмем штурмом! И я для тебя уже сделать ничего не смогу! Не смогу!

ГРИША ПУШКИН. Видал? Противотанковая граната! Все взлетит к чертовой бабушке вместе с вашим, как его... фюрером... Какой же вам смысл затевать всю эту канитель? А через двое суток – пожалуйста. Как сказал Николай Николаевич. И вы с ним, господин полковник, вроде согласны. Слово рыцаря, да? А я на работе.

Бормоча ругательства, немецкий полковник отходит от окна.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ.

Крестьянская изба. Майор Спиринов с замотанным горлом пытается хлебать из солдатского котелка. *Входит Зеленцов.*

ДАРЬЯ ИВАНОВНА. Жиденькое черпайте, жиденькое.

МАЙОР СПИРИН (*солидно теперь*). Так, ну докладывай. Садись.

ЗЕЛЕНЦОВ (*присаживаясь рядом*). В общем, в штабе дивизии имел дело с самим “хозяином”. “Хозяин” сообщил по команде, и уже при мне звоночек был из Москвы... Хранить, говорят, его – ну, птицу нашу – как зеницу ока! Вылетает человек из Москвы, думаю так, из генштаба... А заявочки наши удовлетворены: две роты лыжников будут к утру, обеспечена поддержка авиацией и артиллерией. Генерал лично просил вас, Николай Николаич. Будет держать все под личным контролем...

МАЙОР СПИРИН (*тяжело опускаясь на стул*). Ну, слава богу!

ЗЕЛЕНЦОВ. Да! Со мной был связист, по дороге убило. Катушку телефонную пришлось тянуть одному. Так что у нас, Николаич, теперь связь с Большой Землей понадежнее.

МАЙОР СПИРИН. Ладно, перекуси маленько (*приоткрывая дверь и подзывая часового*). Эй, парень! Крикни хозяйку, мол, батя зовет!

Появляется Дарья Ивановна.

МАЙОР СПИРИН (*потирая ладони*). А ну, хозяйка! Корми молодца, корми героя! Чего он совершил? Да на небо по лестнице слазал. Так, да? Ну, ладно... Там у нас, хозяйка, запасец был. Ему можно, горло у него не болит. У него сердце, мать, болит – за Родину!

Пауза. Зеленцов ест торопливо.

МАЙОР СПИРИН. Слушай сюда! А как же насчет капитана Бокати-на? Кем ты у меня останешься – вместо капитана или у себя в полковой разведке? Пришлют кого или как?

ЗЕЛЕНЦОВ. Упустили из виду, потом.

МАЙОР СПИРИН. Этого-то они никогда не упустят.

ЗЕЛЕНЦОВ. Да, Николаич. А это тебе письма из Ленинграда, навер-ное, от родни – живы. выходит, живы!

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Там же. Майор Спирин сидит какое-то время непод-вижно. Затем начинает читать письмо, принесенное Зе-ленцовым. Застывает. Принимается суетливо рыться в вещмешке. Достает чистое белье, полотенце, мыло.

Входит хозяйка.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА. Чего это ты, Николаич? Ай в баньку собрался? Вон при Зеленцове есть солдат, есть кому приглядеть за ним.

А ты все как перст.

МАЙОР СПИРИН (*отводя глаза*). Ты вот что, сама, что ли, баньку мне организуй. Вон чугуны горячие у тебя в печи, лохань в сенях.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА (*обеспокоено*). А что случилось?

МАЙОР СПИРИН (*уклончиво*). Да так, перед штормом матросики одеваются в чистое.

ДАРЬЯ И ГНА (*приглядываясь к нему*). Да нет, что-то случи-лось. Но, я тебе баньку тут в сенях организую.

Майор Спирин выходит на какое-то время. Появ-ляется в вязевой исподней рубахе, причесывая мок-рые волосы.

МАЙОР СПИРИН (*вздыхая*). Ну, что, Дарья Ивановна! Давай-ка в последний разок чайку с тобой попьем.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА (*теперь уже откровенно*). Да чего хоть ты каркаешь, чего говоришь?

МАЙОР СПИРИН. Да нет, Дарья Ивановна, хозяйка ты моя дорогая... Вещует мне это вот... вещунье мое, в последний разок... Вот (*остаёт из кармана кителя письмо*). Из родного Питера – все мои погибли в блокаду. Нет на свете теперь у меня никого...

Майор Спирин вынимает пистолет из кобуры, кла-дет прямо перед собой. Валится головой на стол, пле-чиего дергаются в сухих рыданиях, сотрясается тело.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА (*пугаясь*). Да ты что, Николаич?! Да ты воин, солдат, защитник наш. Да грех-то какой, да и кто же нас тогда защитит-то: детей моих – Нюру и Ниночку, если Коля мой, муж

мой, погиб на войне? Не бери. Николаич, грех на себя, не бери... пусть лучше пулей сразит, миной, бомбой пусть лучше убьет, но руку сам на себя не подымай, это не по-нашему, не по-божески.

МАЙОР СПИРИН (*медленно затихая*). Так ведь не к кому, мать, притулиться. Кому нужен? Как перст теперь.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА. Ко мне приедешь. Мне писать будешь. Мне детишек сможешь ставить на ноги. Ты человек справедливый, таких поискать.

МАЙОР СПИРИН (*беря себя в руки*). Ладно, мать. Аттестат свой тебе вышлю, будешь получать на детей.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА. Ты – батя, хозяин, командир! Нам с тобой распускаться нельзя... Отдыхай, Николаич. Завтра – тяжелый день.

Подзывает детей – Нюру и Нину. Покорные, они стоят перед матерью, с состраданьем смотрят на Спирина. Она уводит детей на другую половину избы, майор Спирина остается один.

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Та же изба. Майор Спирина сидит в прострациях. Ему нехорошо, он едва держится за столом, упершись локтями.

МАЙОР СПИРИН (*задыхаясь*). Кажется, все-таки жар, высокая температура. А ведь с утра в бой! Полк приступает к операции по разблокированию, ее кодовое название “Кольцо нибелунгов”. Да что со мной? И все-таки бред. Тени неясны, как призраки. Из древности, из времен короля Гунтера и королевы Брунхильды... Вот они, нибелунги. Он, Спирина, каждого видит в лицо. Средневековые замки, обоюдоострые двуручные мечи, латы рыцарские, доспехи, похожие на танковую броню...

МАЙОР СПИРИН (*отшатнувшись от призрака*). Господи, что такое?! Ты – Этцель, король гуннов? И я переселился в тебя, в твою душу? Это я теперь Этцель? И королева Брунхильда – моя супруга? И славный меч Зигфрида – Бальмунг теперь в моих руках? Моя Брунхильда не погибла в блокаде вместе с моими детьми?.. В моей руке этот меч, этот Бальмунг... Он еще теплый от рук рыцаря Хагена, убившего Зигфрида. И это ты, Этцель, обращаешься к этому Хагену:

– Кто оскорбил тебя?

И Хаген отвечает мне, Этцелю:

– А мы блюдем обычай своей родной страны –

На пир являться с доспехом и мечом.

Боже, сейчас разразится битва! И кровь хлынет рекой. Нибелунги

Гунтера схлестнутся с гуннами Этцеля. И шпильман, этот скрипач, играет перед всеми на скрипке, смягчая сердца.

– У гуннов Этцель вырвал меч:

“Меня вы опозорите, напав на скрипача!”

Но рыцари жаждут битвы.

Совпал с солнцеворотом тот долгий страшный бой.

Разведка Зеленцова отмечает в окопах противника оживление. Ребята забрались в траншеи и обнаружили чучела – “соломенных солдат”, одетых в зеленые шинели. Кого они дурить собираются? А настоящие солдаты между тем в районе Онегинского леса, вокруг поляны, лесниковой сторожки.

– Вот нибелунги едут к гуннам...

В последний раз герои прижали к сердцу жен.

Взять эти траншеи достаточно собственных сил. Свежими рогатами свалиться на спину противника – вот сюда, правее, за Онегинский лес. Ударную группу лыжников бросить на поляну, к лесниковой сторожке, зайти с тылу.

– Зачем нам после смерти богатство, власть и честь?

Надо, чтобы было все в кулаке, согласовано, разыграно, как по нотам. Действительно, заболел – бред, высокая температура. Надо же... И вот как про это в эпосе нибелунгов:

“И клад бы нибелунгов на Рейн перевезли”.

Какой “клад”, какие “нибелунги”? Прошлой осенью эшелоны повезли чернозем с Украины... Какие-то белые, серые, черно-серые, черновато-мрачные клубы дыма перед глазами, все окрашивается в кроваво-пурпурный цвет, в багровые тона – цвета пролитой крови... Земля – всего шарик в небесных пространствах, и с шарика, как с топора, стекают, в этом бездушные дымясь, теплые капли крови...

Бррр! Что такое? Всего трясет – от озноба, ледяного холода, от жуткости близкого боя? Так где же она, та потайная пещера, где хранится бесценный клад? Где-то там и “кистень золотой с семью шипами”. На Бальмунге черная кровь, на кистене – волосы. Они подвиваются – Гришины волосы, волосы Гриши Пушкина... Неужели, неужто, сынок?.. А этот, как его... жив?...

– Да, много славных витязей унес раздор двух дам.

Майор Спиринов встает и опрокидывает лавку. Она падает с грохотом. Вбегает хозяйка – Дарья Ивановна. Хлопочет возле Спирина.

ДАРЬЯ ИВАНОВНА (кладя ладонь ему на лоб). Ого, какая температура высокая! Ложись, Николаич, полежи!

Поит его из кружки. Поправляет огонек лампадки в святом углу. Укладывает Спирина в постель. Отступив к двери, быстро-быстро крестит его, кладет знамение и на лампадку, шепчет что-то под нос себе сухими губами.

СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ

Там же. Майор Спирина на постели в исподней рубахе. Обессилен, видения все еще не покинули его.

МАЙОР СПИРИН (*обливаясь потом*). Гриша, прости, дорогой! Послать тебя на такое... вряд ли выйдешь живым. И кого ведь послал – тебя, любимца своего, Пушкина! Как хоть в глаза-то буду смотреть поколениям, русскому человеку?

Идет к русской печи, выдвигает из нее чайник. Наливает в алюминиевую кружку. Пьет жадно, глотками.

МАЙОР СПИРИН. В прошлом месяце разведчики притащили оберлейтенанта. Фанатик какой-то, говорит: имя Адольфа будет набирать силу, национальная идея живуча. Вот именно, национальная идея! Пушкин, Гете – национальная идея, а Гитлер, Геббельс?..

Гриша! Бог меня наказал за то, что, послав тебя, не подумал о главном. И вот я теперь тут, а ты там... Надо же создать такое сочетание: Пушкин – символ, светоч свободы и Гитлер – улица с односторонним движением...

Прости меня, Гриша! Я вот, Гриша, живой, а в душе – бездна, “мальчики кровавые к глазам”. Сколько ушли на тот свет, сколько во мне вопиют!.. Не всегда же я был командиром полка. Обыкновенного пехотного на заурядном, забытом всеми участке фронта. Я ведь был еще и комбатом – командиром батальона. Но какого! Ударного, специального назначения, единственного в своем роде. Каждый фронт имеет только один такой батальон. Нас бросали туда, где надо было прорвать, протаранить, зубами выгрызть... Первые ложились на колючку проволоку, вторые бежали по первым... При мне в батальоне сменилось семь составов. Это же сотни молодых, сильных, красивых ребят, лучшие, гордость народа, цвет нации!.. После атаки нас оставалось два-три десятка. А после, а после в резерве я набирал новый состав. Иду вдоль шеренги, смотрю в глаза: осмысленные, умные, рост не ниже ста девяноста, красавцы... Простите, ребята!..

И сам хоть в заштопках, заклепках, с костями разбитыми, но жив ведь, а тех уже нет...

С рассветом я сам поведу роту лыжников. На поляну, к лесниковой сторожке, на Онегинский лес. И “фюрер” опять будет здесь,

в этой избе. Иначе – труба мне, конец! За “фюрером” уже выехали из Москвы, из Генштаба. Видать, действительно важная птица, которую ты, Спирин, с риском для собственной жизни отправил в лесникову сторожку. Я знаю, какое обвинение бросят в лицо мне: “Во имя мелкого, тактического успеха на локальном участке... пренебречь крупными, стратегическими интересами”... И когда на тебе висит столько “собак”, это, конечно, очень серьезно...

И черт с ними, с этими фюрерами, фраерами, штабниками! Мы, окопники, льем ведрами тут кровь, а они, тыловые крысы, содят стаканами там коньяки и если об чем и жалеют, так это о том, что хотя коньяк и грузинского разливу, да ведь без “лимончика”... Простите, ребята, простите! И я пивал коньяки”...

МАЙОР СПИРИН (*наливая еще из чайника*). Слава богу, кажется, температура спадает. С рассветом в бой!.. И что после войны, что останется с нацией после таких помрачительных “чисток”?

Хорош собой был витязь – осанист, длинноног.

В плечах косяя сажень, да и в груди широк.

Майор Спирин начинает собираться в атаку, обувает сапоги, надевает китель.

МАЙОР СПИРИН (*трогая полоски на кителе*). Две красные и одна желтая – два ранения и контузия (*приоткрыв дверь в сенцы*). Эй, хозяйка! Дарья Ивановна! Иди прощаться, иди, голубушка!

ДАРЬЯ ИВАНОВНА (*возникая в дверях*). А Гриша Пушкин?

МАЙОР СПИРИН. Вот-вот, мать, видишь – идем выручать нашего Пушкина... Прощай!

СЦЕНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Штабная изба с закрытым плащ-палаткой углом.

В штабе майор Спирин и Маша-радистка.

МАША-РАДИСТКА (*продолжая вызывать по рации*). Руслан – один, Руслан – один, Руслан – один! Я – Русалка, я – Русалка, я – Русалка!..

Телефонный звонок.

МАША-РАДИСТКА (*обрадованно*). Связь, товарищ майор (*передавая трубку Спирину*). Штаб армии. Да-да, сам хозяин, командующий...

МАЙОР СПИРИН (*слившись с телефонной трубкой*). Да-да-да! Руслан – один, Руслан – один... Да что ему, этому стеклоглазому, с усиками? Жив-здоров, здоровехонек... Хорошо, говорю, слушаюсь! Ждем вашего человека... А у нас-то? Все на мази... Огурцы обещали, не забудьте про огурцы и насчет голубей. Да-да, слушаюсь, слушаюсь...

Кладет трубку. Стоит какое-то время неподвижно.

МАЙОР СПИРИН (*вздыхая*). Он у меня прямо как отпечатался!

Прямо на стенке передо мной!

МАША-РАДИСТКА. Кто хоть?

МАЙОР СПИРИН. Да этот, с усиками! Антихрист ихний!.. Чтоб ему пусто было! Лучше бы уж сидел там у себя в логове, в цитадели. Свалился на мою голову. Это Гриша Пушкин у нас добытной, “фрукта” какого добыл.

МАША-РАДИСТКА (*продолжая работать с рацией, машинально*).
А какого?

МАЙОР СПИРИН. Как какого? Самого фюрера!

МАША-РАДИСТКА (*смеясь откровенно*). Вы скажете! Тоже мне, самого фюрера!

МАЙОР СПИРИН. Никто не верит. Да я и сам себе же не верю... Если бы знал, что это Гитлер – фюрер ихний самый настоящий, разве бы с Гришей Пушкиным его к ним туда бы послал? Да ни за что на свете! Да сам бы лично, на пузе, на собственном хрипу, на загровке, под любым огнем, через любое “кольцо нибелунгов”... протасил бы на Большую Землю к своим! Для суда последующего народов.

Появляется Зеленцов. С автоматом на шее, в белом маскхалате.

МАЙОР СПИРИН. Лыжи готовы?.. А мне?.. Ты вот что, лучше бы пару лишних гранат сунул за пазуху да пистолет. В лесу ведь, как в городе, тактика уличного боя.

ЗЕЛЕНЦОВ. Вы как хотите, а я как знаю. Я к своему “ППШ” – дружку своему – привык (*похлопывая по прикладу*). Он меня ни разу не подводил... Знаешь, бать, какая у меня сегодня мечта?

МАЙОР СПИРИН. Ну, какая?

ЗЕЛЕНЦОВ. Да фон Зальцера, полковника ихнего, в плен взять. К нам сюда притащить. Сделать тебе, бать, ценный подарок. Все равно они его расстреляют.

МАЙОР СПИРИН. Кто?

ЗЕЛЕНЦОВ. Гестапо.

Майор Спирип перезаряжает пистолет, сует в карманы гранаты.

МАЙОР СПИРИН. Ну, что там у нас? Все готовы? Две красные ракеты, одна желтая... С ротой лыжников лично иду на Онегинский лес. Выручать Гришу Пушкина.

СЦЕНА ПЯТНАДЦАТАЯ

Онегинский лес. Лесникова сторожка. В углу, нахохлясь, все та же фигура в плащ-палатке. Лесник Тетерев напротив с гранатой в руке. Гриша Пушкин с автоматом наизготовку.

Вдали слышна стрельба. Крики "Урррааа!"

ГРИША ПУШКИН (*замечая*). Ну, ты, фюрер! Ни с места! Видал? (*стреляя одиночным выстрелом в пол*). Изррррешечу, один дырки оставлю, падла! Все на воздух взлетим!.. Архипыч, он думает, что если он "канцлер", то на нем "панцирь".

ЛЕСНИК ТЕТЕРЕВ. И ведь брезгает! Пить с нами отказался, разговаривать тоже. Сидит, молчит. Давай кокнем его на всякий случай, а после зароем в лесу где-нибудь, в безымянной могилке.

Плащ-палатка дергается, бормочет что-то ругательное.

ГРИША ПУШКИН. Реагирует! Не ндравится ему про могилку-то... Живи-живи пока! Ты нам живехонький нужен. В Москву не в цинковом гробу – в этой твоей плащ-палатке отправим.

Стрельба приближается. Совсем близко слышна немецкая речь.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*голос в окно*). Эй, Гриша! Давай выводим гостя! Гарантируем жизнь всем троим.

ГРИША ПУШКИН. Проваливай, пока цел.

ПОЛКОВНИК ФОН ЗАЛЬЦЕР (*настойчиво, свысока уже*). Взамен гарантируем жизнь. Или погибнешь. Штурмовая группа наготове.

ГРИША ПУШКИН (*иронично*). Эй, рыцарь! Спрячь-ка свой Бальмунг! И вообще без славы не вынимай, без нужды не вкладывай. Фюрера вашего так я вам и отдал! Сколько из-за него пролито крови... Мне своей жизни не жалко...

Дверь в сенях вышибают разом, дверь распахивается.

ГРИША ПУШКИН (*крича Тетереву*). Швыряй гранату! Противотанковую!!

Взрыв. Звон битого стекла. Дым рассеивается – ни двери, ни окна. Клоки плащ-палатки, человеческих органов.

Крики "Урр-а!" вовсе рядом. На пороге голос Зеленцова.

– Мужики! Гриша Пушкин! Живой?

Вбегают Зеленцов с автоматом, за ним – майор Спирин.

– Гриша Пушкин! Григорий!

Слышится кряхтение, пыхтение. Из-под русской печи вылезает кто-то в лохмотьях, весь прокопченный.

МАЙОР СПИРИН (бросается к нему). Гриша! Родной, дорогой ты мой человек!!

ЗЕЛЕНЦОВ (окидывая быстрым взглядом сторожку). А фюрер где?

ГРИША ПУШКИН (сначала). Испарился! (затем, замечая клоки плащ-палатки). И Тетерев тут, и фюрер, наверно.

ЗЕЛЕНЦОВ (приглядываясь к тряпью в углу). Тетерев-то вот!

А фюрер где? Может, в окно успел сигануть? Или они унесли его?

ГРИША ПУШКИН (слегка пошатываясь). Да, у них похоронные команды лихо работают. Уж фюрера-то из-под носа упрут.

МАЙОР СПИРИН. Объявится, если живой! Война скоро, просто так, не за здорово живешь, не закончится... Ну, я пошел! Братцы, кажется, все же прорвали мы наконец это чертово “кольцо нибелунгов”! Родная земля помогает. И этот вот... Бальмунг!

Майор Спирин берет у Зеленцова автомат, целует приклад автомата.

ЗАНАВЕС.

Перед занавесом, на авансцене, – невысокий, живой такой, пожилой уже человек с орденскими планками на груди.

– Я – Гриша Пушкин. Живой вот. Дожил до наших дней. Так просто Пушкины не уходят... Да, а дальше что? А дальше вот что. Развивая наступление, мы нашли полковника фон Зальцера на опушке повешенным. А дня через три погиб от случайной пули в спину майор Спирин...

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Ну а Гитлер-то что, что с их фюрером было дальше?

ГРИША ПУШКИН (смеясь). А что – сами не знаете, что ли? Что было в Берлине с “наци номер один”?

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Ну, Гитлер то был или нет на Орловщине?

ГРИША ПУШКИН. А черт его знает! Сталин был в Орле на вокзале, а вот Гитлер – не знаю... Может, со страху тогда друг тот ситный назвался, когда я брал его в качестве “языка”, чтобы его тут же не кокнули, чего тащить через линию фронта с риском для собственной жизни. А может, то был двойник Гитлера? Кстати, по некоторым данным, их у него было двенадцать. После войны

знающие ребята жукнули мне, что это был матерый разведчик – двойник. И ихний – вермахта, и в то же время английский... Альбер Крикус... Говорили, мол, выпрыгнул после взрыва в окно... Версий-то было несколько, да все сводилось к одному: сверхчеловек, астральный человек. “Заратустра”, который смотрит на мир с высокой своей колокольни, а именно с точки зрения вечной войны гуннов и нибелунгов. А мы, откровенно сказать, видали его в гробу. Как бы там ни было, “Адольфа” того давно уже нет и в помине. А я вот живу, как видите, не поддаюсь.

Занавес.

ГОЛОС ИЗ-ЗА СЦЕНЫ. От автора. А еще скажете, может, все это – насчет Гитлера-то – выдумка, историческая трепатня? Но по чем купил, по столько и продаю. Пушкин же мне рассказал – бывшая полковая разведка, после рабочий типографии “Правда”! Нам с ним, дорогие мои, а че – для возбуждения нервов можно и притрепнуть.

Вот такая, братцы, одна из забытых, не очень-то гласных, но вполне героических, бытовых страничек далекой теперь уж прошедшей войны.

А время идет, и Пушкина Григория Григорьевича уже тоже нет. А памятник прапрадеду его в Малоархангельске жив, и дом мой жив материнский, где Гриша бывал. И что-то горит, тлеет во мне, когда, проходя мимо нашей улицей, смотрю я в глаза обелиску из белого мрамора, не поддающемуся тлену и времени. Как все воссоединилось с Гоголем и “Ревизором” самым неожиданным образом.

Ай да Пушкин, ай да молодец!

10.05.94

ПЫШКА

(Драматические сцены по одноименной новелле Мопассана)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

АВТОР.

ЛУАЗО – бывший приказчик, оптовый виноторговец.

Его ЖЕНА, без слов.

КАРРЕ-ЛАМАДОН – фабрикант, владелец бумагопрядилен.

Его ЖЕНА, без слов.

ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ – граф, пожилой дворянин.

Его ЖЕНА.

МОНАХИНЯ ОРДЕНА СВЯТОГО НИКИФОРА.

КОРНЮДЕ – демократ.

ЭЛИЗАБЕТ РУССЕ – женщина легкого поведения.

ПРУССКИЙ ОФИЦЕР.

ГОСПОДИН ФОЛАНВИ – хозяин “Торговой гостиницы”.

* * *

АВТОР. Шла война 1870 года между Францией и Пруссией. Несколько дней через город проходили остатки разбитой французской армии. Шли, похожие на разбойников, отряды вольных стрелков с героическими наименованиями “Мстители за поражение”, “Граждане могилы”, “Причастники смерти”. Позади всех держался с двумя адъютантами генерал.

Над городом нависла мертвая тишина. Лавки были закрыты, улицы опустели. Многие буржуа, разжиревшие на поставках, со страхом ждали победителей. И вот по улицам Руана двинулись германские батальоны, гулко печатая шаг.

Жители сидели по домам, объятые ужасом. У побежденных появилась новая обязанность – проявлять любезность по отношению к победителям.

Мало-помалу город принимал обычный вид. И тяга к коммерции ожила в сердцах местных негоциантов. Некоторые были связаны денежными интересами с Гавром, где стояли французские войска, и они надумали ехать сушей до Дьеппа, там сесть на пароход и как-нибудь добраться до Гавра. Было пущено в ход влияние знакомых немецких офицеров, и комендант города дал разрешение на выезд. Пассажиры, наняв большой дилижанс, решили выехать во вторник утром, до рассвета.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Итак, дилижанс тронулся в путь. На полу его была постелена солома. При свете унылой зари пассажиры с любопытством разглядывали друг друга.

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. А вот и господин Луазо – бывший приказчик, ныне оптовый виноторговец. Нажил состояние, продавая дрянное вино. Отъявленный плут, истый нормандец – хитрый и жизнерадостный. И остер же на язычок, просто неподражаем!

ЛУАЗО. А это господин Карре-Ламадон – фабрикант, владелец трех бумагопрядилен, офицер Почетного легиона и член Генерального совета. Во время Империи возглавлял благонамеренную оппозицию с единственной целью получить впоследствии побольше за присоединение к тому лагерю, с которым он прежде боролся, по его выражению, благородным оружием.

КАРРЕ-ЛАМАДОН. А это граф Юбер де Бревиль – пожилой дворянин с величественной осанкой, он старается подчеркнуть свое природное сходство с королем Генрихом IV, от которого, согласно семейному преданию, забеременела одна из его прабабок и муж ее по сему поводу получил графский титул и губернаторство.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Видите в углу, это монахиня. Перебирает четки и шепчет “Отче наш”, “Богородицу”, истомлена всепоглощающей верой, которая создает мучеников и фанатиков.

МОНАХИНЯ. А-а, вот он какой – небезызвестный демократ Корнюде! Пугало всех почтенных людей. Добрых двадцать лет окунает он свою рыжую бороду в пивные кружки всех демократических кофеен города. Прокутил состояние, доставшееся ему от отца, и потому с нетерпением ждал установления республики, дабы получить теплое местечко. С приближением врага вместе с разбитой армией отступил к городу, но теперь вот полагает, что гораздо больше пользы он принесет в Гавре.

Внимание всех пассажиров дилижанса привлекала женщина из числа так называемых особ легкого поведения.

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. Какая полненькая, кругленькая, пальцы наподобие сосисок, кожа так и лоснится. А грудь необъятна, распирает платье. Пышка! Лицо как румяное яблоко, глаза черные великолепны, влажный рот точно ждет поцелуя. У-ухх!

ЛУАЗО, КАРРЕ-ЛАМАДОН, ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ (между собой). Как держится!.. Распутница!.. Гулящая девка!..

ПЫШКА (*окинув всех вызывающе дерзким взглядом, в сторону*).

Три толстяка! Герои нашего времени!

АВТОР. Дилижанс двигался так медленно, что к десяти часам утра не сделал и четырех миль. Все выглядывали в окна, надеясь увидеть хоть какой-нибудь придорожный трактирчик. Голод усилился, мутил рассудок. А на пути ни единой харчевни, ни единого кабачка.

ЛУАЗО. Нестерпимо сосет под ложечкой!

КАРРЕ-ЛАМАДОН (*зевая*). Господи! Съел бы, наверно, быка.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ (*зевая и прикрывая ладошкой рот*).

Ах, трюфели, трюфели... хоть супчику бы, супчику...

ЛУАЗО. Тысячу франков за маленький окорок.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. В самом деле, как же это я не позаботился о провизии?

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ (*доставая фляжку*). Ром! Прекрасная вещь. Прошу, господа!..

Все сдержанно отказываются.

ЛУАЗО (*отхлебнув*). А ведь хорошо! Греет и заглушает голод... Хе-хе, предлагаю, как это поется в песенке, съесть самого жирного из путешественников (*глядя теперь уже откровенно на Пышку*).

Все благовоспитанно морщатся и отворачиваются.

ПЫШКА (*вытаскивая из-под скамьи большую корзину, прикрывшую белой салфеткой*). А вот и фаянсовая тарелочка. Ставим в нее серебряный стаканчик. А вот и миска, в желе пара цыплят, разрезанных на куски. А вот и мои любимые лакомства, пироги, фрукты и прочее, прочее, прочее... Да-да, вы не ошиблись, из корзинки выглядывают четыре бутылочных горлышка... А это хлебец, в Нормандии его называет "регентским"... Отведаем...

Все, кроме Луазо, с яростью смотрят на Пышку, готовы просто растерзать ее.

ЛУАЗО (*с улыбочкой*). Вот это умно. Мадам оказалась предусмотрительнее нас.

ПЫШКА. Не хотите ли, сударь?

ЛУАЗО. По совести, не откажусь от этой куриной ножки. На войне, как на войне, не так ли, мадам?

ПЫШКА (*монахине*). А вы? (*обращаясь Корнюде*). А вы?

Теперь рты пассажиров неустанно открываются и закрываются, яростно жуют, уплетают, поглощают.

ПЫШКА (*откупоривая первую бутылку бордоского*). Ах, у меня только один стаканчик!

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. Ничего-ничего, как-нибудь справимся.

АВТОР. Все передают стаканчик друг другу, а граф Юбер де Бревиль,

Карре-Ламадон, сидя в бездействии, испытывают "танталовы муки".

КАРРЕ-ЛАМАДОН. Ах!.. Ох!..

ПЫШКА (*ему*). Вам плохо? Вот вам стаканчик бордоского, и все пройдет. Это не иначе, как от голода... (*графу Юберу де Бревилью*). Ах, боже мой, если бы я только смела предложить вам...

ЛУАЗО. Право, в таких случаях все люди – братья. При такой езде еще хорошо, если доберемся до Тота завтра к полудню.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ (*после некоторых колебаний, величественно*). Мы с благодарностью принимаем ваше предложение, мадам, присоединяясь ко всем остальным.

АВТОР. Корзина вмиг была опустошена. Однако невозможно принимать угощения от этой женщины и не разговаривать с ней. Мало-помалу завязывается беседа.

КОРРЕ-ЛАМАДОН. Ах, эта война! Я бы остался дома, у меня полон дом всяких припасов. Я предпочел бы кормить нескольких солдат, чем уезжать неведомо куда. Но я увидел этих пруссаков, и все во мне перевернулось от злости... Я бы им показал, как только бы подвернулся случай...

КАРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ (*свысока, назидательно*). Да, господа, да!.. Патриотизм и еще раз патриотизм! Отечество в опасности, а тут этот подлец Баденге, роялист! В первую очередь надо беспощадно расправиться с ним!..

ПЫШКА (*покраснев, как вишня, заикаясь от негодования*). А я бонапартистка! Хороши вы сами, нечего сказать! Ведь вы-то его и предали! Если бы Францией управляли озорники вроде вас, только бы и осталось бежать без оглядки!

Шум и недовольство присутствующих.

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. Да-да, да-да. Это факт.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Любое искреннее убеждение надо уважать. Монархия есть монархия, монархи – столпы нации.

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ (*придвигаясь к Пышке*). Уж сумерки. Медленно едем, ноги ооченели от холода... Кучер, погоняй лошадей!..

ПЫШКА (*хлопнув его по руке*). Но-но, господин демократ! Сидите смирно. Что я вам, грелка, что ли?

АВТОР. Дилижанс останавливается. Пассажиры какое-то время сидят без движения. Появляется прусский офицер.

ПРУССКИЙ ОФИЦЕР (*с эльзасским выговором*). Выходите, коспода! Прошу документы.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Все сидят в общей комнате "Торговой гостиницы" в таком же порядке, как и в дилижансе, ожидают ужин, а также решения офицера, забравшего документы.

ХОЗЯИН ЗАВЕДЕНИЯ (*появляясь перед ними*). Я – Фоланви.

А кто здесь мадемуазель Элизабет Руссе?

ПЫШКА (*вздвигнув*). Это я.

ФОЛАНВИ. Мадемуазель! Прусский офицер желает немедленно переговорить с вами.

ПЫШКА (*вспыхивая еще ярче*). Вот еще! Не пойду!

АВТОР. Все взволнованы. Говорят как-то разом, строя различные догадки о причине вызова.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Вы не правы, мадам. Ваш отказ может привести к серьезным осложнениям не только для вас, но и для всех ваших спутников. Это приглашение, несомненно, не представляет никакой опасности. Вероятно, надо выполнить какую-нибудь пустяковую формальность.

ЛУАЗО. Милочка, надо идти.

КАРРЕ-ЛАМАДОН. Ну, конечно, безусловно, идти.

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. Действительно, надо идти на жертвы.

МОНАХИНЯ. Да-да, да-да. Идти, так идти.

ПЫШКА (*поднимаясь решительно*). Хорошо, но делаю я это только ради вас!

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ (*пожимая ей руку*). И мы вам благодарны.

Пышка уходит. Следует пауза, банальные фразы о погоде, здоровье и жизни.

ПЫШКА (*вылетая из комнаты*). Ах, мерзавец! Какой мерзавец!

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. В чем дело? В чем, собственно, дело, мадемуазель?

ПЫШКА (*с достоинством*). Этого еще не хватало!! А вас это не касается. Я ничего не могу сказать.

АВТОР. И снова пауза, Все переглядываются, вздыхают.

ФОЛАНВИ (*Пышке*). Да, сударыня, да! Эти люди только и делают, что едят картошку со свининой, да-да, свинину свою с картошкой!

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. Война – это варварство, когда нападают на мирного соседа. Но это священный долг, когда защищают родину!

ЛУАЗО. А все-таки лучше перебить всех королей, которые затевают войны.

КОРНЮДЕ-ЛАМАДОН. Сколько рабочих рук праздны во время войны, заняты не созиданием.

МОНАХИНЯ. Да-да, да-да. Не созиданием, нет.

ФОЛАНВИ (*на ухо Луазо*). Покупаю у вас, покупаю... шесть бочек бордоского. Весной, когда пруссаков уже, наверно, не будет, и вино непременно поднимется в цене.

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ (*отведя Пышку в сторону и опуская руку на талию*). Ну вот мы и поняли друг друга, мы поняли, милочка, да?

ПЫШКА (*отбиваясь*). Нет, не поняли.

ЛУАЗО (*подойдя сзади на цыпочках*). Ах, мадемуазель! Как вы решительно защищаете доступ в свои апартаменты... Послушайте, но отказывать офицеру глупо: милочка, ну что вам стоит?

ПЫШКА (*возмущенно*). Нет и нет, бывают случаи, когда это недопустимо, а тут это просто срам.

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. Почему?

ПЫШКА. Как почему? Вы что – не понимаете? И это когда пруссаки в доме. Родина в опасности!

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

На другой день прусский офицер не выходит из своей комнаты. Документы не возвращаются, разрешение на отъезд не получено. Все пассажиры дилижанса сидят за тем же столом – хмурые, унылые, злые.

ФОЛАНВИ. Да-да, они едят свинину с картошкой! И у них на родине остались жены и дети, поверьте, им-то война не в забаву! Наверняка плачут там по отцам своим, по-мужьям.

ЛУАЗО (*иронично*). А эти возмещают тут убыль населения.

КАРРЕ-ЛАМАДОН. А кто возместит нам убытки?

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Позвольте, но где же все-таки кучер?

ФОЛАНВИ. Сам видел его с утра в кабаке, сидел там с денщиком прусского офицера. Ну и что я сказал ему? Что вы, господа, приказывали ему быть готовым к восьми утра. А он в ответ: “А мне приказали другое...” – “Кто именно?” – “Прусский офицер приказал, комендант. Говорит, не велено запрягать, я и не запрягаю”.

Фоланви уходит.

АВТОР. Все сидят молча, кипят от негодования. Однако решают ждать выхода офицера.

Наконец, опять появляется Фоланви. Все кидаются к нему: ну как?

ФОЛАНВИ. Офицер сказал мне так: “Господин Фоланви! Не велите запрягать карету этих пассажиров. Я не хочу, чтобы они уезжали без моего особого разрешения”. Поняли? Вот и все.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Надо поговорить с офицером! Послать свою визитную карточку, я все-таки граф... Вот вам моя карточка, господин Фоланви! Отнесите.

АВТОР. Фоланви уходит. Вскоре он появляется снова.

ФОЛАНВИ. Господин офицер ответил, что примет вас после завтрака, около часу.

ПЫШКА. О господи! Я просто разбита, больна.

ЛУАЗО. Надо придать встрече с пруссаком больше торжественности. Да, господин Карре-Ламадон?

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. А я возмущен! Я не намерен вступать с врагом в какие-либо сношения!... Фоланви, мне пива... два пива... нет, три..

АВТОР. Наконец появляется прусский офицер. Он в халате огненного цвета, курит длинную фарфоровую трубку, разглядывая всех свысока.

ПРУССКИЙ ОФИЦЕР (*грубовато*). Што фи хотите?

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ (*склонив голову*). Мы бы хотели уехать, сударь.

ПРУССКИЙ ОФИЦЕР. Нет.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Осмелюсь узнать причину отказа?

ПРУССКИЙ ОФИЦЕР. Потому што мне не угодно.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Позвольте, сударь, почтительнейше заметить, что ваш генерал дал нам разрешение на проезд.

ПРУССКИЙ ОФИЦЕР. А мне не угодно. Это фсе.

АВТОР. И офицер уходит обратно к себе, в свою комнату. Пассажиры дилижанса остаются одни. Сидят, как оплеванные.

ЛУАЗО. Может быть, нас оставили в качестве заложников? Но с какой стати? Или задержали как военнопленных, чтобы потребовать крупный выкуп?

КАРРЕ-ЛАМАДОН (*в ужасе*). Что вы, что вы?! Этому грубияну в мундире отдать за нас целые мешки золота? Ни за что.

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. Мы бедные люди.

КАРРЕ-ЛАМАДОН. Да, бедные, очень бедные. И надо ему прямо так и заявить...

ЛУАЗО. Ну что, сыграем в картишки, в тридцать одно?

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Пожалуй. Мадемуазель, просим в нашу компанию (*сдавая карты*). О, мадемуазель! Вы выиграли, вам повезло... Луазо, карты не передергивайте...

АВТОР. Появляется Фоланви.

ФОЛАНВИ (*хриплым голосом*). Прусский офицер велел спросить у мадемуазель Элизабет Руссе, не изменила ли она своего решения.

ПЫШКА (*взорвавшись*). Скажите этой гадине, этому пакостнику, этой прусской сволочи, что я никогда ни за что не соглашусь! Слышите? Ни за что, ни за что на свете, никогда!

АВТОР. Фоланви выходит, все окружают Пышку.

ЛУАЗО. И что хоть сказал он вам, мадемуазель?

КАРРЕ-ЛАМАДОН. Вот именно, интересно.

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. Да, что, ну что, скажите?

ПЫШКА (*яростно*). Скотина! Он хочет спать со мной, вот что!!

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ (*ударив пивной кружкой о стол*). Вот сволочь!

ЛУАЗО. Подлый солдафон! Надо нам как-то объединиться, надо же, в конце концов, сопротивляться!

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Это же дикость! Варварство! Мадам, вы – молодчина. Вы вызываете у мужчин уважение, сочувствие, солидарность.

МОНАХИНЯ (*кивая, как заведенная*). Да, мадам, да-да, солидарность.

ФОЛАНВИ. Ну что, продолжим в тридцать одно?.. Господа, может быть, когда-нибудь и мне повезет.

АВТОР. Граф опять тасует карты, все, кажется, поглощены игрой.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Действительно, здесь каждый час стоит суток. Мы устали ждать, психически истомлены... Офицер спит, скоро проснется (*обращаясь к Пышке*). Право же, мадемуазель, я рискую быть непоследовательным. Однако не могли бы вы, мадемуазель, хоть бы ради нас, приготовить приятный сюрприз к пробуждению офицера?

ФОЛАНВИ. В самом деле, чего проще?

ЛУАЗО. Лошади стоят на конюшне, а кучера нет.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Ну кто бы об этом узнал, мадам? Приличия ради можно сказать, что вы это делаете из жалости к своим несчастным попутчикам. Ведь это для вас такой, извините, пустяк!

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. Мадам, вы опять выиграли, вам везет.

КАРРЕ-ЛАМАДОН. Если французы перейдут в контрнаступление через Дьепп, то столкновение с пруссаками произойдет не иначе, как в Тотте, как раз где мы сейчас пребываем.

ЛУАЗО (*встревожась*). А если уйти отсюда пешком?

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Да вы что! За нами тотчас пошлют погоню, поймают через десять минут и уже как пленников отдадут в руки солдат.

АВТОР. Из комнаты наконец выходит прусский офицер. Шагает мимо особой походкой военного, выворачивая колени, словно стараясь не запачкать тщательно начищенных сапог.

ПЫШКА (*в сторону, покраснев до самых ушей*). Солдафон несчастный, а еще офицер!

КАРРЕ-ЛАМАДОН. А что, он вовсе не так уж и плох. Моя жена даже пожалела, что он не француз. Из него вышел бы красивый гусар, который, несомненно, сводил бы с ума женщин.

АВТОР. Начинает звонить колокол. В церкви готовятся к крестинам. У Пышки, оказывается, тоже есть ребенок, который воспитывается у крестьян где-то в Ивето. Церковные звоны вызывают у нее прилив нежности.

ПЫШКА (*даже всплакнув*). О, мой маленький! О, мой малыш!

АВТОР. Пышка отходит подальше от мужчин, к самому к окну, чтобы взглянуть на улицу.

ЛУАЗО (*заговорщицки всем остальным*). А что если предложить офицеру задержать одну Пышку – вот ее, а нас всех отпустить?

ВСЕ РАЗОМ. Блестяще, это идея! Фоланви, вам поручение сходить и сказать офицеру.

АВТОР. Фоланви выходит, вскоре пробкой вылетает от офицера обратно сюда, в общую комнату. И все это происходит в отсутствие Пышки.

ФОЛАНВИ. Прусский офицер намерен держать всех путешественников, пока его желание не будет удовлетворено.

ЛУАЗО (*заорав*). Да не сидеть же нам здесь до старости! Раз эта пакостница занимается таким ремеслом и проделывает это со всеми мужчинами, какое право она имеет отказывать кому бы то ни было? В Руане она пугалась даже с кучером префектуры. А теперь, когда нужно вызволить нас из беды, эта девка разыгрывает из себя недотрогу!.. Связать ее по рукам и ногам и выдать, дрянь такую, прусскому офицеру!..

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Нет, зачем же так, надо ее переубедить. Мои предложения для мадемуазель: раскрыть над господином офицером крылья амура, соединяющего молодых людей по любви.

ЛУАЗО. Это ее ремесло. Какая ей разница, кому – шипы, кому – розы?

КАРРЕ-ЛАМАДОН. Моя жена на месте этой Пышки скорее отказала бы кому-нибудь другому, чем этому офицеру... Надо брать ее измором, мощью осады, как фортификационное сооружение, крепость... Вот вы, господин Луазо, должны возбудить ее сексуально, настроить на определенное желание. А вы, граф, держите ее в напряжении, в рамках этикета, пусть она ждет внезапного нападения, чтобы неожиданно сдаться на милость победителя.

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. Ну-ну, коварные заговорщики. Посмотрим, что у вас выйдет.

АВТОР. Появляется Пышка.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Тссс! (*несколько замешкавшись*). Мадам, интересно, где вы были?

ПЫШКА (*угнувшись*). Хорошо иногда помолиться.

АВТОР. Снова все садятся за стол.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Самопожертвование и еще раз самопожертвование! вспомните героев древнейших времен Юдифь и Олоферна. А Клеопатра? Она принимала на своем ложе всех вражеских военачальников и приводила их к рабской покорности.

КАРРЕ-ЛАМАДОН. А римлянки, я где-то читал, отправлялись, кажется, в Капую убаюкивать в своих объятьях Ганнибала, его полководцев, несметные фаланги наемников.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. О женщины, женщины! Вы своим телом вершили судьбы народов, преграждали путь завоевателям, выигрывали битвы лаской и покорностью, свергали отвратительных тиранов, жертвуя своим целомудрием ради... ради...

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ (*подав, наконец, голос*). А одна англичанка, говорят, специально привила себе дурную болезнь, чтобы заразить, представьте себе, Наполеона! Которого чудесным образом спасла внезапная слабость в минуту рокового свидания.

МОНАХИНЯ. Ха-ха-ха, да уж, да! Неужто внезапная слабость Наполеона?

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Мадемуазель, граф прав. Мы целиком поддерживаем его сиятельство.

АВТОР. Появляется Фоланви.

ФОЛАНВИ (*обращаясь к Пышке*). Прусский офицер спрашивает, не изменила ли мадемуазель Элизабет Руссе своего решения.

ПЫШКА (*сухо*). Нет.

ЛУАЗО (*в сердцах*). Вот так, твою мать!

КАРРЕ-ЛАМАДОН. И мать твою так же!

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Господа, господа! Я обращаюсь к женщине, связанной с Богом самыми крепкими узами, к Монахине. С вопросом о великих подвигах из житий святых. Ведь многие святые совершали деяния, которые в наших глазах были бы преступны, но Церковь отпускает им их прегрешения, если они содеяны во славу божию или на благо ближнему,

АВТОР. Пауза. Слышится тяжелое дыхание всех и каждого.

МОНАХИНЯ (*прерывая молчание*). Как можно в этом сомневаться, сударь? Господь все видит, Господь все простит. Нередко поступок, сам по себе достойный осуждения, похвален благодаря намерению, которое его вдохновляет... О, монастырь нашего

ордена! О, наша возлюбленная сестра – настоятельница общины Святого Никифора! Меня вызвали в Гавр, чтобы ухаживать в госпиталях за солдатами, больными оспой. И вот в то время, когда по прихоти этого пруссака меня задерживают в пути, умрет сколько французов, которых я, быть может, спасла бы! Ухаживая за ранеными, я побывала в Крыму, в Италии, в Австрии. Мы, сестры, словно для того и созданы, чтобы следовать за войском, подбирать раненых в разгар сражения, лучше любого начальника укрощать некоторых вояк.

АВТОР. И снова пауза. Снова тишина за столом. Все ждут, что посеянные семена дадут всходы.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ (*взяв Пышку под локоток, слегка фамильярно, свысока*). Дитя мое! Итак, вы готовы держать нас здесь и подвергать, как и самое себя, опасности всевозможных насилий, неизбежных в случае поражения прусской армии, только бы не оказать любезность, которую вы оказывали в своей жизни столько раз? Вы – нежная, разумная, вы – само обаяние, женское очарование. Ну чего вам стоит не упрячиться, а оказать всем нам, нашему обществу эту услугу? Ну пустячок ведь, ну самая малость, ну зачем вы так упрямы? Это не красит вас, а мы были бы признательны вам.

И знаешь, дорогая, откровенно скажу, он вправе будет хвастаться потом, что полакомился такой хорошенькой девушкой, каких не много найдется у него на родине.

АВТОР. Однако Пышка решительно выходит из комнаты. Беспокойство присутствующих нарастает. Что будет дальше? И что будет с ними, если она будет упорствовать? Какой ужас! Появляется Фонлави – хозяин гостиницы.

ФОЛАНВИ. Мадмуазель не совсем здорова. Можно приступать к трапезе без нее.

АВТОР. Граф подходит к хозяину.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ (*шепотом*). Ну что, согласилась?

ФОЛАНВИ. Да.

АВТОР. У всех вырывается глубокий вздох облегчения.

ЛУАЗО. Черт меня побери! Плачу за шампанское, если таковое имеется в этом заведении!

АВТОР. Фоланви выходит и приносит шампанское. Все оживлены, игривы, многоречивы.

ЛУАЗО (*иронично воздев руки к небу, подняв глаза к потолку*).

О, господи! Да тише вы, успокойтесь же, все в порядке. Улыбайтесь!

Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! (*пауза*). Бедная девушка... (*пауза*). Ну и негодник же этот пруссак!! Довольно, довольно! Только бы увидеть ее живой, только бы этот негодяй не уморил ее и там не замучил!

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ (*важно так*). Господа, вот и закончена наша вынужденная зимовка на Полюсе. Поздравляю! Наша радость сравнима разве что с радостью людей, потерпевших кораблекрушение, которым открылся наконец путь на юг, появилась надежда на спасение.

АВТОР. Аплодисменты, восторженные крики присутствующих.

ЛУАЗО (*с бокалом в руке*). Пью за наше освобождение!

АВТОР. Все хором подхватывают тост.

МОНАХИНЯ (*пробуя вино*). Вкусно! Похоже на шипучий лимонад, только гораздо вкуснее.

ЛУАЗО. Какая досада, что нет фортепиано, хорошо бы кадриль сплясать! (*хлопнув Корнюде по животу*). А что это вы невеселы? Почему молчите, гражданин, когда ликует народ?..

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ (*резко, горделиво*). Общество, граждане, люди, знайте! Вы совершили подлость.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

На другое утро в дилижанс наконец-то впрягли лошадей. Пассажиры укладывают вещи, провизию на весь остаток пути. Только что-то не видно Пышки. Но вот и она. Все, точно по уговору, отворачиваются от нее, словно не замечая.

ПЫШКА (*подходя к Карре-Ламадону*). Здравствуйте, сударь!

КАРРЕ-ЛАМАДОН (*незамедлительно кивнув головой*). М-м-мда.

АВТОР. Все бросаются в дилижанс и усаживаются на те же места, что и занимали в начале пути.

ЛУАЗО (*вполголоса*). Какое счастье, что я сию далеко от нее.

АВТОР. Карета трогается. Пышка не решается поднять глаза, она негодует молча, чувствуя себя глубоко униженной, даже презираемой своими соседями.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ (*Карре-Ламадону*). Вы, кажется, знакомы с госпожой д'Этрель?

КАРРЕ-ЛАМАДОН. Да, это моя приятельница.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. Какая прелестная женщина!

КАРРЕ-ЛАМАДОН. Очаровательная! Натура незаурядная! Образованная, талантливая! Она восхитительно поет, превосходно рисует.

АВТОР. Луазо раскладывает пасьянс. Монахиня перебирает четки, что-то про себя бормоча. Корнюде сидит не шевелясь.

ЛУАЗО (*собирая карты*). Не худо бы закусить. Вот и перевязанный бечевкой сверток. А ну-ка что там у нас? Ага, тонкие, плотные ломтики холодной телятины.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ. А не последовать ли и нам вашему примеру? Берем фаянсовую мисочку, на крышке которой изображен заяц, что и говорит о том, что здесь покоится зайчик, заячий паштет. Лежит сочная коричневая мякоть дичи. Видите, эта дичь смешана с другими мелко изрубленными сортами мяса, по которым бегут белые ручейки сала. И объемист же кусок сыра! Завернут в газету. А что на ней? – Ага, виднеется слово “Происшествия”, отпечатанное на маслянистой поверхности.

МОНАХИНЯ. А мы достаем из сумки целую коляску колбасы, пахнущую чесноком. А вы, Корнюде?

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ (*веселя*). А мы засунем поглубже руки в карманы и достанем оттуда аж четыре крутых яйца.

МОНАХИНЯ. Аж четыре? Но почему?

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. Дважды два – четыре, мадам. Господин Луазо! Облупим же яйца, бросим скорлупу себе под ноги, на солому.

АВТОР. Пышка, не успев позаботиться о себе, с досадой, почти с яростью смотрит на этих жующих, пьющих, едящих людей.

ПЫШКА (*в сторону*). Негодяи! Сперва мое поели, принесли меня в жертву, а потом отшвырнули меня, как ненужную тряпку.

АВТОР. И слезы, крупные слезы безудержно катятся по ее горящему, покрасневшему лицу.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ (*пожимая плечами, в сторону*). Что поделаешь, я тут ни при чем.

ЛУАЗО (*в сторону*). Она сожалеет о своем позоре, раскаивается.

МОНАХИНЯ (*завернув аккуратно в бумажку остатки колбасы*).

Отче наш, иже еси на небесех...

КОРНЮДЕ -ДЕМОКРАТ (*напевая “Марсельезу”*). Жить все-таки хорошо. Съеденные яйца перевариваются в желудке, длинные ноги протягиваем под скамейку.

ГРАФ ЮБЕР ДЕ БРЕВИЛЬ (*нахмурясь*). Отвратительно поет этот Корнюде! Ни голоса, ни музыкального слуха!

КАРРЕ-ЛАМАДОН. Действительно, какое самодовольство!

КОРНЮДЕ-ДЕМОКРАТ. Подумаешь! А вы не слушайте, я пою для себя. А сами-то, сами, слышав шарманку, готовы завывать, как собаки. Вот, слушайте, однако.

*Любовь к Отечеству святая!
Дай мести властвовать душой,
Веди, свобода дорогая,
Твоих защитников на бой!**

ЛУАЗО. А кони-то все медленнее идут, все быстрее падает снег.

И так будет, пожалуй, до самого Дьеппа.

АВТОР. И Пышка под однообразное, монотонное пение Корнюде уже не сдерживает рыданий. Слезы катятся, катятся у нее по мокрым щекам, льются целым потоком. Она не в силах сдержать себя, не в силах поднять глаза на соседей.

АВТОР. Не надо, мадам, они недостойны ни этих слез, ни вашей души.

О, небо! Они недостойны твоей любви.

25 января 2001 г.

*Перевод Г. Шенгели

ЖИЖИ

(Драматические сцены
по мотивам одноименной новеллы Колетт)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ЖИЖИ – девица 16-ти лет.

АНДРЕ АЛЬВАР – ее мать, артистка театра “Опера-комик”.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС – ее бабушка, не из богатых.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ – сестра Альварес, из любовниц, вращающихся в полусвете.

ДЯДЮШКА ГАСТОН ЛАШАЙ – друг семьи, сахарный король, светский лев.

Действие происходит в небогатой французской семье. ЖижИ является внебрачной дочерью артистки, все заботы по воспитанию ЖижИ лежат на плечах ее бабушки – госпожи Альварес.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. ЖижИ, не забудь, ты должна навестить сегодня тетюшку Алисию. Ты меня слышишь? Иди сюда, я накручу тебе волосы на папильотки. Жильберта, ты меня слышишь?!

ЖИЖИ. А нельзя ли мне пойти без папильоток, бабушка?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Боюсь, что нет... Так, подносим к голубому пламени спиртовые щипцы. Воцеленная бумага уже сложена в стопку.

ЖИЖИ. Бабушка, а может, для разнообразия ты завьешь мне волосы и по бокам?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Об этом и речи быть не может. Подвитые концы – это максимум, что можно позволить себе в твоём возрасте. Садись на табурет...

Смотрите на нее, уселась, подогнув под себя свои журавлиные ноги! Ишь, как выглядывают из-под клетчатой юбки простые чулки в резинку и голые коленки. Действительно, как безукоризненна у тебя их овальная форма, стройны икры, высок подъем ноги. Сожалею, что ты не занялась когда-то балетом... Итак, раскаленными щипцами зажимаем накрученные на бигуди пряди твои пепельного цвета. Укладываем твою роскошную шевелюру в упругие, летящие локоны... А запах-то, запах от раскаленного железа! Сидишь, зажмурив глаза, не усни!.. Конечно, ты хорошенько знаешь,

что всякое сопротивление бесполезно, и потому почти не нарушаешь семейные обычаи...

ЖИЖИ. Мама поет сегодня “Фраскиту”?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Да, днем, а вечером “Если бы я был королем”. Сколько раз тебе повторять: когда сидишь на низкой табуретке, соедини колени вместе и наклони их вправо или влево, иначе это выглядит неприлично.

ЖИЖИ. Бабушка, но я же в панталонах и нижнем белье.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Панталоны – это одно, а приличие – совсем другое. Все дело в позе.

ЖИЖИ. Да знаю я, мне уже говорила тетушка Алисия... Фу, волосы лезут в рот.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Я уж как-нибудь сама, без помощи Алисии сумею вдолбить в твою головушку элементарные правила приличия. В этом я, слава богу, разбираюсь получше ее.

ЖИЖИ. Бабушка, нельзя ли мне дома остаться сегодня, а к тетушке Алисии пойти в следующее воскресенье?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*высокомерно*). Еще какие пожелания?

ЖИЖИ. Еще? Мне бы хотелось хоть немного удлинить мои юбки, тогда бы не приходилось садиться враскорячку. Я так мучаюсь из-за этих коротких юбок, ни на минуту нельзя забыть о своих невыразимых...

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Перестань! Как тебе не стыдно!

ЖИЖИ. Я бы с удовольствием употребила другое слово, но не знаю – какое.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Так, гасим спиртовку. Посмотри-ка теперь на себя в это зеркало, что над камином. О, какое тяжелое испанское лицо! Жижи, пожалуй, ты права, другого слова не подберешь. Смотри же, как из-под пепельных завитушек выглядывают твои невыразимые глаза удивительной, почти аспидной синевы.

ЖИЖИ. И все-таки, бабушка, давай хоть чуть удлиним мои короткие юбки, хотя бы на ладошку. Или пришьем небольшую оборочку.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Представляю, в каком восторге будет моя дочь Андре, оказавшись матерью эдакой шестнадцатилетней кобылицы. А ее карьера? Ты об этом подумала?

ЖИЖИ. Подумала! Но ведь я редко хожу куда-нибудь с мамой (*одергивая юбку*). Что мне надевать, бабушка, – как обычно?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Сегодня воскресенье, ты что, забыла? Надень светлое пальто и синюю шляпку. Когда ты наконец поймешь, что значит прилично одеваться? Люди даже из простых

семей, когда становятся состоятельными. должны усвоить новые правила жизни, в которой, увы, не последнее место отведено этикету, одежде, умению вести себя за столом...

Видишь? Мы с тобой одного роста. Твоя бабушка не всегда была бабушкой, когда-то твоя бабушка была молодой. С этой испанской фамилией Альварес, унаследованной от покойного любовника, прекрасно сочетались кремового цвета бледность, пышная фигура и густо напомаженные волосы.

Пудрилась я очень белой пудрой. А теперь вот... Глядите-ка!.. Нижние веки набрякли, словно под тяжестью щек, как под тяжестью моих лет. Все на мне, все на мне в этом доме! На твоей бабушке, Жиж, держится все это безалаберное семейство. Дочь моя, брошенная твоим отцом, твоя мать, Жильберта, треволнениям шумного успеха предпочитает спокойную жизнь и вторые роли на сцене государственного театра. А тетушка Алисия, у которой, кстати сказать, претендентов на ее руку так и не нашлось, живет теперь, видите ли, отдельно на ренту, по ее утверждению, довольно скромную. И наше семейство питает большое почтение как к ее мнению, так и к ее драгоценностям.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*придирчиво оглядывая внучку с головы до ног – от фетровой шляпки с острым пером до туфелек, изготовленных на заказ*). Как ты стоишь, голубушка? Ноги расставила прямо как слон. У тебя даже намек нет на живот, а ты умудряешься еще и выпячивать его. И, пожалуйста, не забудь про перчатки.

ЖИЖИ. Ах, бабушка! Да на хрена мне ваши перчатки! Я, бабушка, если что, руки оботру и о коленки.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Господи! Ну что ты говоришь? Куда тебе носить длинные платья, у тебя же ума не больше, чем у восьмилетнего ребенка. Свою мать ты приводишь в отчаяние.

ЖИЖИ. Не будь меня, вы, бабушка, все равно находили бы повод для отчаяния.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Ну, конечно, ты наше чадо. Правда, у тебя спокойный характер, большую часть времени ты просиживаешь дома, и это тебя не тяготит. Однако судить тебе о твоей внешности пока рано. Посмотри на себя: большой рот, разверзающийся при улыбке, крепкие белоснежные зубы, короткий подбородок, высокие скулы, а нос-то... Недаром Андре вздыхает: "Боже мой, ну откуда у нее такой носишко?" А я ей говорю: "Дочь твоя, дорогая, кому это знать лучше, как не тебе?". И Андре, слишком рано уставшая от жизни, слишком

поздно полюбившая добродетель, молчит на это, только трогает по привычке свои вечно воспаленные железки. А вот тетушка Алисия так говорит про тебя: “Жижи пока только сырье, из нее, может, что-то выйдет, а возможно, ничего и не выйдет”.

ЖИЖИ (*нетерпеливо*). Бабушка, звонят! Я сейчас открою... Бабушка, это дядюшка Гастон.

Входит высокий пожилой человек. Жижи идет от двери с ним под руку, чинно беседуя, как это принято у школьниц на перемене.

ЖИЖИ. Мне очень жаль, дядюшка, но я вынуждена вас покинуть. Бабушка хочет, чтобы я провела тетю Алисию. У вас новый автомобиль? О, открытый четырехместный, марки “Дион-Бутон”? Ах, водить его, наверно, одно удовольствие! Надеюсь, у вас есть подходящие перчатки? Так, значит, вы поссорились с Лианой?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Жильберта! Это бестактно, совершенно тебя не касается.

ЖИЖИ. Но кто же этого не знает, бабушка? Я читала статью в “Жиль Блаз”, она называется так: “Парижский сахар начинает горчить”. Мне девчонки на курсах все уши прожужжали, они знают, что я знакома с вами. Никто не сомневается, что во всем виновата Лиана. Девочки говорят, что она поступила очень некрасиво...

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Жильберта, попрощайся с господином Лашаем, тебе пора. Мы должны побыть наедине, ты меня понимаешь?

ДЯДЮШКА ГАСТОН. Не ругайте малышку. По крайней мере, ее не заподозришь в неискренности. А с Лианой, моя дорогая, действительно покончено. Жижи, так ты идешь к тете Алисии?

ЖИЖИ. О, дядюшка! Я бы хотела поехать в вашем автомобиле.

ДЯДЮШКА ГАСТОН. Да, да, поезжай, Жильберта. Только потом отошли его сюда обратно.

ЖИЖИ (*радостно взвизгнув, чмокая дядюшку в щеку*). Спасибо, спасибо! Вы представляете, какое лицо будет у тетушки Алисии? А консьержка, та просто обалдеет.

Жильберта топает по-детски к двери.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*беря под руку Гастона*). Вы балуете ее, дорогой.

ГАСТОН ЛАШАЙ (*игриво*). Ошибаетесь. Вы знаете, вся жизнь Гастона Лашая состоит из подобного рода причуд: женщины, автомобили, а в итоге одиночество в угрюмом особняке возле парка Монсо. Последняя из моих пассий — это Лиана, и, как вы предполагаете, на мне лежат заботы о ее содержании, дарить драгоценности

на ее день рождения, шампанское, а также бывать летом в Довиле, зимой – в Монте-Карло. Время от времени ваш покорный слуга жертвует крупную сумму по подписке или покупает яхту, которую вскоре перепродает какому-нибудь монарху из Центральной Европы. Я также финансирую газету, но все это не прибавляет мне радости. Глядя на себя в зеркало, я не прочь сказать себе: “Грех такого не обобрать”. А поскольку нос у меня длинноват, а глаза большие и черные, многие и впрямь считают меня простаком, не так ли, Инес?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Да, Гастон. Насколько я помню тебя молодым, в тебе всегда был инстинкт прирожденного коммерсанта. Не потому ли ты оставляешь любовниц самым решительным образом в свой опасный момент? В тебе всегда было чувство опасности, присущее всякому богатому человеку, оно надежно оберегало тебя, и еще никому не удавалось украсть у тебя ни твои жемчужные запонки, ни тяжелый металлический портсигар, украшенный драгоценными камнями, ни твою шубу на темном собольем меху...

ГАСТОН ЛАШАЙ (*глядя в окно*). Вон Жижич отъехала в автомобиле.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Модная машина, однако. Кузов высок, расширяется кверху. В нем, пожалуй, спокойно разместятся необъятные дамские шляпы, подобные тем, в которых щеголяли твои последние пассии – Кармина Отеро, Лиана Пужи и другие. Но автомобили эти часто опрокидываются на крутых поворотах, не так ли, Гастон?

ГАСТОН ЛАШАЙ. Инес, вы наконец заварите мне ромашку?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Конечно, конечно, какой разговор! Садись, мой бедный Гастон.

Госпожа Альварес снимает с продавленного кресла кипу иллюстрированных журналов, используемых в качестве диванной подушки, чулок со спущенной петлей, коробочку лакричных леденцов. Гастон с видимым удовольствием погружается в кресло, хозяйка вносит поднос, как в былые времена, с двумя чашками.

ГАСТОН ЛАШАЙ. Я хорошо помню это кресло... И почему это ромашка, которую готовят у меня дома, всегда отдает увядшими хризантемами, а у тебя чай с ней так приятен?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Ромашку надо уметь собирать, мой милый. Ты не поверишь, Гастон, но часто самую лучшую ромашку я нахожу прямо в Париже, на пустырях. Это совсем маленький

невзрачный цветочек. Ну вроде нашей Жижи. Зато вкус у цветка отменный. Боже мой, до чего же хорош ваш костюм, что может быть изысканнее. С той поры, как в последний раз вы побывали здесь, вкус у вас стал еще утонченнее. Ваш бедный отец, насколько я помню, с детства обожал такие костюмы. Но, должна признаться, не выглядел в них так элегантно, как вы, Гастон.

Вы преуспеваете, значит, вы еще молоды, а кресло это, как видите, стало старо, скрипит. Да, мой милый, под этим черным от копоти потолком Гастона Лашая всегда встречали, не требуя ни жемчужных ожерелий, ни солитеров, ни шиншилл. Здесь умели придать respectable тон беседе на самые скандальные и запретные темы. Когда Андре была уже девушкой, здесь знали, что бусы госпожи Отеро из огромного черного жемчуга “подмочены”, то есть они крашены, но ее ожерелье из трех нитей стоит “полкоролевства”. Здесь знали также, что знаменитое болеро с брильянтами Эжени Фужер – вещь совершенно никчемная. Что ожерелье из семи нитей госпожи Пужи тускловатое и что никакая уважающая себя женщина не отправится, как госпожа Антопольски, на прогулку в двухместной карете, обтянутой сиреневым атласом... Да, Гастон, Жижи покорно прервала всякие отношения со своей подружкой по курсам Лидией Поре после того, как та продемонстрировала ей кольцо с солитером, подарок барона Эфраима. Солитер! Девочке всего чуть больше пятнадцати лет! По-моему, ее мать сошла с ума. Не так ли, мой дорогой? .

ГАСТОН ЛАШАЙ. О да, да, Инес! Это так, это все так.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. “Но, бабушка, – говорила мне Жижи, пытаюсь защитить подругу, – ведь Лидия не виновата, что барон сделал ей подарок”. “Замолчи! – останавливала я Жижи. – Не барона осуждаю. Барон знает, что делает. Но элементарный здравый смысл требует, чтобы мать Лидии до поры до времени положила кольцо на хранение в банк”. “До какой поры, бабушка?” – спросила меня Жижи. – “Пока барон не предпримет дальнейших шагов”. – “А почему его держать дома в шкатулке?” “Надо быть предусмотрительной, – сказала я Жижи. – Барон может передумать. Но если он выскажет что-то определенное, госпоже Лидии следует забрать свою дочь с курсов. Ты меня весьма обяжешь, если не станешь ходить на занятия с этой малюткой, пока все не прояснится”. Жижи спрашивает меня: “А если она выйдет замуж, бабушка?” – “За кого?” “Ну, за барона”, – ответила мне Жижи.

И мы с моей дочерью переглянулись. “Эта девочка приводит меня в отчаяние, – пробормотала Андре. – Она словно с Луны свалилась”...

Бедный Гастон слушает ее, прихлебывая горячий настой ромашки.

ГАСТОН ЛАШАЙ (*в сторону*). Этот настой действует умиротворяюще, как и этот плафон, и старый абажур зеленого стекла. Помнится, над ним висела газовая лампа. А с обеденного стола так еще и не убрано содержимое корзинки для рукоделия, тут же лежат забытые Жильбертой тетради. Глядите-ка, над пианино красуется увеличенная фотография восьмимесячной Жильберты, а на стене напротив – портрет ее матери. Насколько помнится, это костюм Андре для спектакля “Если бы я был королем”. И всегда здесь было так: уютный беспорядок, луч весеннего солнца, запутавшийся в гипюровых занавесках, тепло от маленькой печурки, в которой постоянно поддерживается небольшой огонь, и все это проливается целительным бальзамом на мои больные нервы – на нервы богатого, но, в сущности, одинокого человека. Вся жизнь у нас с Инес прошла на виду у друг друга. Сначала она, затем и Андре... И что потом, господи, что потом?..

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Так вы, в самом деле, страдаете, мой бедный Гастон?

ГАСТОН ЛАШАЙ. Честно говоря, не так уж я и страдаю, я просто чувствую себя по уши в... Одним словом, мне все это омерзительно.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Не будет ли с моей стороны бестактностью, если я спрошу вас, как все это случилось? Я, конечно, читала газеты, но можно ли им верить?

ГАСТОН ЛАШАЙ (*дернув себя за ус и тут же проведя рукой по своей красивой седой шевелюре*). О! Все это старо, как мир. Она дождалась подарка к дню рождению, а потом сбежала. И не нашла ничего лучшего, как спрятаться в маленькой деревеньке в Нормандии. Когда в трактире всего две комнаты, выяснить, что одну занимает Лиана, а другую – некий Сандомир, балетмейстер из Ледового дворца, дело нехитрое.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Это ведь он ставил вальс для Полэр five o'clock, не так ли? Да, современные женщины не умеют держать мужчин на расстоянии.

И сразу же после дня рождения... Ах, как это некрасиво, я бы даже сказала, неприлично.

Госпожа Альварес задумчиво мешает ложечкой ромашку, отставив в сторону мизинец.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Видите, у Андре на портрете, да и у Жильберты теперь такое же сходство глаз с моими, оно разительно. А у меня, как вы помните, все говорили, что в молодости, когда я опускала взгляд, веки полностью не прикрывали глаз, и это делало меня похожей на Жорж Санд...

ГАСТОН ЛАШАЙ. Я подарил ей ожерелье. Да еще какое. Тридцать семь жемчужин. Средняя была с мой большой палец. Вот такой.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. О! Какой ухоженный, белый – этот ваш палец! Вы умеете жить. Вашу роль вы сыграли прекрасно.

ГАСТОН ЛАШАЙ (*словно не понимая ее*). Ну да, роль рога носца.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. На вашем месте, Гастон, я бы постаралась ей отомстить, завела бы себе любовницу из высшего света.

ГАСТОН ЛАШАЙ (*рассеянно сося леденцы*). Сомнительное лекарство.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*осторожно*). Впрочем, лекарство может оказаться опасней самой болезни. Может, и не стоит менять кукушку на ястреба.

Молчание. Сверху доносится приглушенный звук пианино. Гость молча протягивает пустую чашку, госпожа Альварес вновь наполняет ее.

ГАСТОН ЛАШАЙ. У вас все в порядке? Как поживает Алисия?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Знаете, сестра совершенно не меняется. Она замкнута, вся в себе. Говорит, что предпочитает жить прекрасным прошлым. Все вспоминает испанского короля, Милан, своего Хедива и полдюжину раджей. Как вам это нравится? Но с Жижой она очень мила. Алисия, и тут она права, находит ее немного заторможенной и заставляет над собой работать. На прошлой неделе учила ее есть омара по-американски.

ГАСТОН ЛАШАЙ. Зачем?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Алисия утверждает, что это очень важно. Говорит, что омар по-американски, яйца всмятку и спаржа – это три пробных камня в воспитании, неумение обращаться с этими блюдами разбило многие семьи, так она считает.

ГАСТОН ЛАШАЙ (*задумчиво*). Возможно, возможно.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. О! Алисия далеко не глупа. А Жижой ведь так любит поесть, только подавай. Вот если бы голова у нас работала так же, как челюсти... Но она ведет себя как десятилетний ребенок. Скоро Праздник Цветов, вы помните? Вы опять собираетесь нас поразить?

ГАСТОН ЛАШАЙ (*ворча*). А вот и нет. Я собираюсь сэкономить на этот раз, ведь у меня есть предлог.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. О, Гастон, вы этого не сделаете! Без вас все это шествие будет похоже на трудный кортеж.

ГАСТОН ЛАШАЙ. А мне-то что?.. Боже мой, я съел все ее леденцы.

В прихожей раздается твердый, по-солдатски чеканный шаг Жильберты.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Ты уже, так быстро? Что это значит?

ЖИЖИ. Это значит, что тетушка Алисия неважно себя чувствует, но я все-таки прокатилась в дядюшкином драндулете, и это главное... О, я отлично провела время.

СЦЕНА ВТОРАЯ

ЖижИ швыряет в угол свою шляпку, рассыпавшиеся волосы закрывают ей виски и щеки. Взобравшись на табурет, она подтягивает колени к подбородку.

ЖИЖИ. Как дела, дядюшка? Вид у вас неважный. Хотите, перебросимся в картишки – в пикет? Сегодня воскресенье, и мама весь день в театре. Кто съел все мои леденцы? Вы, дядюшка? Дело так не пойдет, надеюсь, вы хоть купите мне новые?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Жильберта, веди себя поприличнее. Не волочи ноги. Ты думаешь, у Гастона есть время заниматься твоими леденцами? Одерни юбку. Хотите, Гастон, я отправлю ЖижИ в ее комнату?

Гастон Лашай, как замороженный, смотрит на истрепанную колоду карт, которую тасует Жильберта. В его душе проносятся воспоминания.

ГАСТОН ЛАШАЙ (*вздыхая*). Мне почему-то, как ребенку, хочется расплакаться, рассказать о всех своих несчастьях, подремать в старом кресле и сыграть в пикет... О, не ругайте малышку! Мне так хорошо у вас. Дышится как-то свободнее. ЖижИ, давай сыграем на десять кило сахару?

ЖИЖИ. Сами ешьте ваш сахар. Я предпочитаю конфеты.

ГАСТОН. Конфеты и сахар – это одно и то же. Только сахар здоровее.

ЖИЖИ. Вы говорите так потому, что сами его делаете.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Жильберта, ты забываешься!

ГАСТОН ЛАШАЙ. Пусть, пусть говорит, мадам. На что же ты хочешь играть, ЖижИ? Может, на шелковые чулки?

ЖИЖИ (*по-детски кривя свой большой и подвижный рот*). Брр, от этих шелковых чулок я вся чешусь. Знаете, чего мне хочется? (*тряхнув волосами, перебросив их с одной щеки на другую*).

Мне хочется корсет “Персефона” зеленого цвета с подвязками рококо, расшитыми розами... А лучше всего нотную папку.

ГАСТОН. Разве ты занимаешься музыкой?

ЖИЖИ. Нет, но мои подружки по курсам носят в нотных папках тетради, а все думают, что они учатся в консерватории.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Жильберта, ты ведешь себя бестактно.

ГАСТОН. Жижи, ты получишь папку и леденцы. Сдавайся. Жижи.

Молоко оближи с губ, прежде чем козырять.

ЖИЖИ. Сейчас мы хлопнем, хлопнем по чьему-то вороньему клюву...

Незаметно спускаются мартовские сумерки.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Не считите за намек, Гастон, но уже половина восьмого. Я ненадолго отлучусь, чтобы позаботиться об ужине.

ГАСТОН ЛАШАЙ. Половина восьмого! Да ведь я должен ужинать у Ларю вместе с Дионом, Фейдо и младшим Барту. Сдавай последний раз, Жижи!

ЖИЖИ. А сколько их всего, этих Барту?

ГАСТОН ЛАШАЙ. Двое. Старший – красавец, младший – похуже, но он-то как раз из них самый известный.

ЖИЖИ. Это несправедливо. А кто такой Фейдо?

ГАСТОН ЛАШАЙ (*роняя карты*). Вот это да! Ты что, не знаешь Фейдо? Ты когда-нибудь ходишь в театр?

ЖИЖИ. Очень редко.

ГАСТОН. Ты что, не любишь театр?

ЖИЖИ. Не особенно, бабушка и тетя Алисия считают, что театр отвлекает от серьезных проблем. Только не говорите бабушке, что я вам об этом рассказывала.

ЖИЖИ (*приподняв рукой и бросая на плечи копну волос*). Уф! Как же мне жарко от этой гривы.

ГАСТОН. А что они называют серьезными проблемами?

ЖИЖИ. О! Их очень много, всех я не припомню. К тому же они не всегда согласны друг с другом. Бабушка все твердит мне: не читай романы, от них портится настроение. Не пудрись, от пудры портится цвет лица. Не носи корсет, он портит фигуру. Не глазей на витрины. Не знакомься с родителями своих подруг, особенно с отцами, когда они забирают дочерей после занятий...

ГАСТОН. Не говори так быстро, Жижи, слегка задыхаясь, точно набегавшийся до упаду ребенок.

ЖИЖИ. А тетушка Алисия заводит другую песню. Я, мол, вышла из возраста, когда носят корсеты с ляпочками, и почему я не беру уроки танцев и хороших манер, и как это я до сих пор не знаю, что

такое карат. Но уж если мне понравится, как одета какая-нибудь актриса, то... Это же мишура! – возмущается она. Все эти наряды на самом деле просто смешотворны. У меня просто голова от всего этого пухнет... И чем вас будут угощать сегодня у Ларю, дядюшка?

ГАСТОН. Ты думаешь, я знаю? Скорее всего, морскими языками с мидиями. Ну и, конечно, седлом барашка с трюфелями... Шевелись, Жижи. У меня на руках пять червей.

ЖИЖИ. Все равно останетесь с носом. Уж об этом я позабочусь...

А мы на ужин будем доедать вчерашнее рагу. Обожаю рагу.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*входя и слыша ее*). Рагу, к сожалению, со свиной. Я так и не смогла купить гуся.

ГАСТОН. Я распорядюсь, чтобы вам прислали гуся из Бон-Абри.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Большое спасибо, Гастон. Жижи, помоги господину Лашаю надеть пальто. Подай ему трость и шляпу.

Гастон Лашай уходит.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*повернувшись к Жижи*). А теперь скажи мне, почему ты так быстро вернулась от тети Алисии? Я не стала спрашивать тебя при Гастоне. При посторонних семейные дела, запомни, не обсуждаются.

ЖИЖИ. Все очень просто, бабушка. Тетушка Алисия была в кружевном чепчике, она его всегда надевает, когда у нее мигрень. “Я сегодня неважно себя чувствую”, – сказала она мне. – “О, тогда, тетушка, я не буду тебе надоедать”. – “Отдохни хоть пять минут”. “Да что ты, – сказала я, – я не устала, я приехала к тебе на автомобиле”. – “На автомобиле?” От удивления она даже всплеснула руками, вот так. “Понимаешь, тетя, мне так хотелось показать тебе дядюшкин автомобиль, и я попросила шофера задержаться на пару минут. Это “Дион-Бутон”, четырехместный, открытый, мне одолжил его дядюшка. Он сейчас у нас. Он поссорился с Лианой”. “За кого, Жижи, ты меня принимаешь? – рассердилась тетушка. – Я пока еще в своем уме и газеты читаю. И не хуже тебя знаю, что он поссорился с этой дылдой. Ну что ж, возвращайся домой, нечего скучать с бедной больной старухой”...

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Бедная больная старуха! Да у нее и насморка-то никогда в жизни не было.

ЖИЖИ. Бабушка, как ты думаешь, дядюшка не забудет о моих леденцах?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*уставясь в потолок*). Возможно, дитя мое, возможно.

ЖИЖИ. Бабушка, а что он тебе рассказывал о Лиане? Это правда, что она драпанула с Сандомиром и прихватила ожерелье? Об этом все говорят и даже пишут в “Жиль Блазе”.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Прекрати, тебе достаточно знать, что поведение госпожи Лианы д'Экзельманс противоречит здравому смыслу... Тут ветчина для твоей матери, я накрыла ее тарелкой, поставь на холод.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Входит Андре Альвар – артистка, ее имя можно прочитать на афишах театра “Опера-комик” мелким шрифтом, в самом низу.

АНДРЕ. Жиж спит уже? А ты почему не спишь?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Устала, доченька? Ты знаешь, я никогда не засыпаю, жду, когда ты вернешься со спектакля, поешь, дорогая, ветчины, рагу в кастрюльке, оно еще теплое. Ешь печеные сливы. Пиво на окне.

Андре ужинает.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*разглядывая её*). А ты все еще хороша собой. Но без грима видно, как глаза твои покраснели и бледны губы, недаром тетушка Алисия говорит, что твои успехи кончаются за порогом театра... Ты хорошо пела, дочь моя?

АНДРЕ (*пожав плечами*). А что толку? За Тифэн мне все равно не угнаться. О Господи, что за жизнь?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Такую жизнь ты выбрала себе сама. Полагаю, тебе было бы легче, если бы у тебя кто-то был. Не может молодая женщина жить одна, это противоестественно. Неудивительно, что ты видишь все в черном цвете.

АНДРЕ. О, мама! Не начинай, пожалуйста, все сначала. Какие новости?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Все говорят лишь о разрыве Гастона с Лианой.

АНДРЕ. Да, это наделало шуму. Даже в нашей дыре, в “Опера-комик”, ни о чем другом не болтают.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Что ж, такое случается не каждый день.

АНДРЕ. А что он собирается делать? Есть уже кто-нибудь на примете?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. О чем ты говоришь? Гастон в отчаянии. Ты не поверишь, но еще без четверти восемь он сидел за этим столом и играл с Жильбертой в пикет.

АНДРЕ. В театре говорят, будто теперь есть шансы у одной девицы из “Олимпии”. Она выступает под именем Кобра, у нее какой-то акробатический номер, она вылезает из корзинки, извиваясь, как змея.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*презрительно*). Гастон Лашай все же не опустится до артистки мюзик-холла. Прежние его связи только среди дам полусвета.

АНДРЕ. Смазливые коровы.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Выбирай слова, дочь моя. Это пошло – называть все своими именами. Связь Гастона с известной особой полусвета – это единственно достойный для него образ жизни в ожидании блестящей женитьбы, при условии, что он вообще когда-нибудь женится. Гастон так доверяет мне! Видела бы ты, как он просил меня заварить ему ромашку. И если есть ноша у него на плечах, так это его богатство.

АНДРЕ (*насмешливо щурясь*). Жалей, жалей его, мама, раз тебе это нравится. Мне от него ничего не надо... с тех пор, как мы знакомы...

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Разве нам он ничего не дарит? Время от времени посылает сахар для варенья, живность со своей фермы, разную мелочь для Жижи.

АНДРЕ. Тебя это удовлетворяет?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*величественно*). Вот именно, удовлетворяет. К тому же наше мнение для него мало что значит.

АНДРЕ. Короче, толку-то нам от его богатства. Интересно, если мы окажемся на мели, придет ему в голову помочь нам?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Не сомневаюсь. Но я бы предпочла об этом его не просить.

АНДРЕ (*рассматривая фотографию*). Лиана, очередная бывшая любовница Гастона... Ничего особенного, тоже вроде коровы...

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Неправда, такие победы не случайны. А ты рассуждаешь как какая-нибудь беловшвейка: “Будь у меня ожерелье в семь ниток, и я была бы хороша, как Пужи...” Андре, там осталась ромашка, промой глаза.

АНДРЕ. Спасибо мама, Жижи была у тетушки Алисии?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Была и ездила туда в автомобиле Гастона. Он сам ей предложил, Жижи была в восторге.

АНДРЕ. Глупышка! Я все думаю, что с ней дальше будет. Она вполне способна кончить манекенщицей или продавщицей. Слишком уж инфантильна, я в ее годы...

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*глядя на дочь с укором*). По-моему, тут хвастаться нечем. Если память мне не изменяет, ты в ее годы послала к черту Меннесона, несмотря на его мукомольный завод, и сбежала с преподавателем сольфеджио.

АНДРЕ (*чмокнув мать*). Мамочка, не ругай меня, я так хочу спать...

Спокойной ночи. Завтра у меня репетиция без четверти час.

Андре уходит.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (в сторону, вслед). В спальню зашла, где спит ее дочь, чтобы взглянуть на нее и пожелать приятных снов... Прошла в туалетную комнатку, зажгла газ под маленьким чайником. Среди правил и обязанностей я вбила в голову своему потомству такое правило: "В крайнем случае, например в дороге, ты можешь на ночь не вымыть лицо. Но позаботиться о том, что ниже пояса, обязана каждая уважающая себя женщина".

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Утро. Госпожа Альварес ставит на стол чашку с горячим кофе и чашку с молоком, разворачивает газету. Жижі входит в столовую, умытая, пахнувшая лавандой, немного заспанная.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Жижі! Зови мать. Лиана д'Экзельманс пыталась покончить с собой.

ЖИЖИ. О-о-о! Она умерла?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Конечно, нет. Она знает свое дело.

ЖИЖИ. А что, у нее был револьвер, бабушка?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Какой револьвер? Опиум, как всегда. Возьму на себя смелость утверждать, что, если госпожа Экзельманс будет продолжать эти игры, она испортит себе желудок.

ЖИЖИ. В прошлый раз она кончала с собой из-за князя Георгиевича, да, бабушка?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Что у тебя с головой? Из-за графа Берту де Совтер.

ЖИЖИ. Ах да, правда. А дядюшка, что он теперь будет делать?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. А вот это сказать пока никто не может, дитя мое. Но мы-то вскоре узнаем. Скажи консьержке, чтобы она купила вечерние газеты. Ты сыта? Молока выпила? А бутерброды? Не забудь надеть перчатки. По дороге нигде не задерживайся. Пойду будить твою маму... Андре, ты спишь? Ты встала? Андре, Лиана пыталась покончить с собой.

АНДРЕ (ворча). Опять двадцать пять. Ни на что другое она, по-моему, просто уже не способна.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Ты до сих пор не сняла бигуди, Андре?

АНДРЕ. Ты что, хочешь, чтобы я пришла на репетицию растрепанной? Спасибо!

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*придирчиво оглядывая дочь*). Нелепые бигуди в волосах, ноги в войлочных тапочках. Сразу видно, что ты отвыкла от мужского взгляда, дочь моя. Женщина не позволит себе в присутствии мужчины ходить в халате и в тапочках... Ну и история с этим самоубийством. Само собой, оно оказалось неудачным.

АНДРЕ (*презрительно*). Опиум как средство для промывания желудка – это начинает надоедать.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Да бог с ней, главное тут – Лашай. С ним такое случается впервые. Дай-ка припомнить историю его жизни... Была Жантиан, она выкрала у него какие-то документы, потом эта иностранка хотела женить его на себе силой... Но Лиана – первая, которая из-за него кончает с собой...

АНДРЕ. Держу пари, он лопается от гордости.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Что ж, есть от чего. Я чувствую, что-то должно произойти, и в самое ближайшее время. Что скажет Алисия?

АНДРЕ. Уж она-то найдет что сказать.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Конечно, Алисия не ангел. Но чутье у нее есть, я вынуждена это признать. Она тебе все разложит по полочкам, даже не выходя из дому.

АНДРЕ. А зачем ей выходить, если у нее есть телефон? Мама, а может, нам все же поставить телефон?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Это большой расход. Мы и так еле сводим концы с концами. Телефон нужен мужчинам, которые заправляют делами, и женщинам, которым есть что скрывать. Если бы, скажем, твои обстоятельства переменялись или Жижи нашла бы свою дорогу в жизни...

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*натягивая резиновые перчатки, ворча специально для Андре*). Все на мне тут, все на мне. Благодаря моим заботам это скромное жилище хоть не приходит в упадок. Все, что осталось у меня от прошлого, так это строгие правила женщины, которая была к мужчинам не столь уж строга. Вдалбливаю в тебя, моя дочь, и в Жижи, как вести себя, как держаться в этом мире, но, видимо, бесполезно. Смотри, постельное белое меняется каждые десять дней. В любую минуту Жижи может получить приказ: “Покажи ноги”, – и ей надлежит сейчас же разуться, снять чулки и продемонстрировать свои ноги – чистые, с остриженными ногтями, а также сообщить, если появится хоть малейший намек на мозоль...

АНДРЕ. Мама, прекрати свою воркотню.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Гастон дважды за эту неделю нашел возможность отведать у нас настоя ромашки. Он принес Жижю эту смешную нотную папку из русской кожи с ярко-красной защелкой и двадцать коробок лакричных леденцов. А лично я получила от Гастона печеночный паштет и шесть бутылок шампанского – щедрые, но не совсем бескорыстные дары. Гастон Лашай спросился к нам на обед, представляешь?

АНДРЕ. Что ему наш скромный обед? На днях он давал бал в своем знаменитом особняке, куда были приглашены все звезды национальной музыкальной академии. Затем устроил ужин в ресторане “Пре-Кателан”, где Рита дель Эридо гарцевала на лошади между столиками в юбке-штанах, украшенных белыми кружевными оборками. Черные волосы выбивались у нее из-под белоснежной шляпки, страусовые перья касались безупречно красивого лица – весь Париж поверил, что она, не слезая с седла, взойдет на сахарный трон Гастона Лашая. Но сутки спустя Париж понял свою ошибку, “Жиль Блаз” за неверный прогноз едва не лишился субсидии, выплачиваемой Лашаем. Ежедневник “Пари ан амур” пошел по другому пути, напечатав статью под заголовком “Молодая, сказочно богатая американка не скрывает своей слабости к французскому сахару...” Ха-ха-ха, но мы-то знаем, что обедать Лашай будет у нас...

Входит Гастон Лашай.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. А-а, вот и господин Лашай! Проходите, садитесь, дорогой Гастон, у нас все готово... Жижю! Андре! К столу...

Все усаживаются за стол. Гастон Лашай открывает шампанское, разливает по бокалам. Жижю выпивает свой бокал и принимается рассказывать всякие истории, принесенные с курсов. В конце концов, захмелев, она скатывается на плечо Гастона Лашая. Взглянув недоуменно на свою дочь, Андре выпивает подряд второй бокал, третий.

АНДРЕ (*заплетающимся языком*). Для Гастона. Для Гастона, специально!.. Ария колокольчиков из “Лакме”...

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*уводя ее*). Баиньки, спать пора, спать. Жижю приходит в себя. И втроем усаживаются за картежную игру в пикет – госпожа Альварес, Жижю и дядюшка Гастон.

ЖИЖЮ (*щебеча*). Дядюшка, дядюшка, я опять выиграла, на этот раз золотой автоматический карандаш.

ГАСТОН. Молодец, Жижю! Ты мой лучший друг, и я готов тебе проигрывать с удовольствием.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Ах, Жижи! Как же ты раскраснелась, как сверкают твои белые, жемчужные зубки.

ГАСТОН (*слегка дергая Жижи за волосы*). Плутовка! Ты засунула четвертого короля себе в рукав! Госпожа Альварес, вы только посмотрите, как плутует эта Жижи!

ЖИЖИ. Бабушка, бабушка, а карандаш из настоящего золота! Дядюшка, дядюшка, в самом деле он из настоящего золота?

ГАСТОН (*поднимаясь из-за стола*). Ну что ж, мне пора. Мне тут у вас хорошо, но, пардон, дела призывают. (*Жижи*) А тебе надо баиньки... Оревуар...

Гастон уходит, Жижи исчезает в спальне... Появляется растрепанная Андре.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Дочь моя, ты в порядке? Гастон ушел... Вот что сообщают в светских новостях: "Господин Лашай собирается отбыть в Монте-Карло. Мы не дерзаем проникнуть за завесу тайны, скрывающую отъезд Гастона Лашая, однако ясно, что его причиной являются сердечные дела". Боже, чего только не напишут!

АНДРЕ. Лиана едет в том же поезде, только в другом купе.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Откуда тебе известно?

АНДРЕ. Лидия Поре слышала разговор в гримерной ее тети в "Комеди-Франсез".

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. В гримерной? Тогда все ясно. Ох уж эти ваши артисты! До чего докатились! Госпожа Эмильена д'Алансон дебютировала в роли дрессировщицы, в то время как эта робкая госпожа де Пужи показала на публике в черном тюлевом, усеянном блестками, костюме Коломбины.

ЖИЖИ (*высовываясь из двери своей спальни*). Бабушка, ты знакома с князем Радзивиллом?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Жижи! Почему ты не спишь? Какая муха тебя укусила? И вообще, о каком князе Радзивилле ты говоришь? Их много.

ЖИЖИ. Не знаю о каком. Я только читала, что один из них женится. Там был список свадебных подарков: три письменных прибора из малахита и всякое другое. А что такое малахит?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Андре, видишь, какая дочь у тебя, чем она интересуется?

АНДРЕ. Да уж вижу.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Жижи! Раз он, этот князь Радзивилл, женится, он нам уже неинтересен.

ЖИЖИ. Значит, если женится дядюшка Гастон, он тоже нам будет неинтересен?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Смотря на ком женится. Если на своей любовнице, то это будет очень даже нам интересно. Например, когда князь Шенягин женился на Валентине д'Эгревилль, с которой прожил до того пятнадцать лет, все поняли, что именно такая жизнь его и устраивает. Бесконечные скандалы, тарелки, летящие в стену, примирения на виду у всех в ресторане Дюран. А еще все поняли, что эта женщина знает себе цену... Но вообще-то это не для твоей бедной головушки, моя дорогая Жижи.

ЖИЖИ. А как ты думаешь, дядюшка едет вместе с Лианой, потому что собирается на ней жениться?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*прижимаясь лбом к оконному стеклу*). Нет, я так не думаю. Или я совсем перестала что-либо понимать? Хорошо бы посоветоваться с Алисией. Знаешь что, Жижи, проводи-ка меня до ее дома, я у нее останусь ненадолго, а ты вернешься домой. Подышишь воздухом на набережной, теперь это принято. Что касается меня, то я когда-то дышала воздухом два раза в году – в Кабурге и в Монте-Карло. И чувствую себя неплохо.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Жильберта стоит перед дверью квартиры тетушки Алисии.

ЖИЖИ (*дергая за шнур от звонка*). Вот как, шнуром служит жемчужный басон в форме виноградной ветки – зеленые листья и фиолетовые гроздья... Бабушка всегда говорит мне: обращай внимание на хорошие вещи, на окружающую обстановку... Дверь покрыта лаком, блестит, как влажный темный леденец.

Лакей открывает дверь, Жильберта переступает порог и погружается в атмосферу ублаживающей роскоши.

ЖИЖИ. Смотрите! Пол в гостиной устлан сукном, поверх которого лежат персидские ковры. Бабушка вернулась отсюда в последний раз поздно, и потому на обед семья ела вчерашний суп, холодное мясо и пирожные, присланные тетушкой Алисией. Бабушка еще и причитала: "Тетя Алисия говорит, что научит тебя есть дроздов". Когда я спросила ее насчет обещанного тетушкой платья, бабушка ответила мне, что она помнит о платье и просит Жильберту к себе в четверг к двенадцати, на завтрак. "С тобой, бабушка?" – "Нет, без меня". "Как-то странно ты это сказала, бабушка, – ответила я. – А ты не отправишь меня к тетушки Алисии насовсем?" "Бог мой, какая ты глупенькая! – рассмеялась

бабушка. — Ох, бедная моя Жижи, что-то ты никак не взрослеешь”.

И еще, как всегда, бабушка так отозвалась об этой маленькой тетушкиной гостиной в стиле Людовика XV: “Скука смертная”.

ЖИЖИ (*оглядывая гостиную тетушки Алисии и повторяя*). Очень красивая, но ужасно скучная. А вот столовая обставлена мебелью времен Директории из светлого лимонного дерева, без всяких инкрустаций, с прожилками на дереве, прозрачном, как воск. Когда-нибудь и я куплю себе точно такую же!

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*входя и улыбаясь, слышит последнюю фразу Жижи*). Как же, как же, поселишься в Антуанском предместье.

Жижи чмокает тетушку Алисию.

ЖИЖИ. Тетушка, я знаю, тебе семьдесят, и вкусы у тебя устарелые. Спальня у тебя серебристо-серого цвета, и в ней стоят красные китайские розы. А в ванной комнате, узкой и белой, тепло, как в оранжерее. И здоровье у тебя богатырское, а ты все считаешь себя хрупкой, болезненной. Бабушка говорит, что мужчины, знававшие тебя в молодости, выражали свои восторги по поводу твоей красоты вздохами и восклицаниями: “Это что-то неопишное! Слова тут бессильны!” А я так не считаю.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Глупенькая! Но ты ведь не мужчина, ты еще и не женщина.

ЖИЖИ. Да, тетушка. Сама ты все же красива по-прежнему. В седых волосах твоих черная шпилька, а слегка сутулящуюся фигуру облегает платье из переливчатой тафты.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*морщась*). Какая же это тафта?

ЖИЖИ. Что, у тебя опять мигрень, что ли, тетя алисия?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Еще не знаю, все зависит от завтрака. Что это на тебе надето?

ЖИЖИ. Перешитое мамино платье. А что, у тебя яйца всмятку и мне опять мучиться?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Не волнуйся, всего лишь яичница с гренками. И с дроздами легко справишься. А еще получишь шоколадный крем. Я от него тоже не откажусь.

Жильберта садится за стол напротив своей тетки.

ЖИЖИ (*одергивая юбку*). Бабушка говорит, соединяй вместе колени и локти не расставляй, иначе выпятятся лопатки.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Да, и осторожно отламывай хлеб, жуй с закрытым ртом и, разрезая мясо, не забывай, что указательный палец нельзя выставлять вперед. И правильно, волосы стянуты у тебя на затылке, чтобы уши и нежная кожа на висках оставались

свободными. Крепкая шея твоя словно рвется из узкого воротника, который, правда, не слишком удачно приспособлен к твоему старенькому, блекло-синему платьицу. Чтобы его оживить, надо было на подоле юбки пустить рядочка в три басоны из ангорской шерсти. И чтобы такие же трехрядные басоны красовались на рукавах.... Сколько тебе лет, Жильберта?

ЖИЖИ. Да столько же, сколько было в прошлый раз, тетушка. Если точно, то пятнадцать с половиной. Тетя, а что ты думаешь об этой истории с дядюшкой Гастоном?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. А что? Тебя это интересует?

ЖИЖИ. Конечно, тетя. И мне все это очень не нравится. Если у дядюшки появится другая дама, он долго не будет приходить к нам играть в пикет и пить ромашку.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Ничего себе, своеобразная точка зрения (*прищурясь*). Как ты учишься, Жижиг? У тебя есть подруги? Дроздов надо разрезать пополам одним движением ножа и чтобы нож не лязгал по тарелке. Каждая половинка съедается сразу. Кости не обгладывай. Отвечай на мои вопросы, не переставая есть, но и не говори с набитым ртом. Попробуй приспособиться. Раз у меня получается, должно получиться и у тебя... Так с кем ты дружишь, Жижиг?

ЖИЖИ. Ни с кем, тетя. Бабушка не пускает меня в гости к моим подругам.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Она права. Кстати, не завела ли ты себе ухажера? Какого-нибудь бухгалтера с портфелем под мышкой? Или, может быть, ты предпочитаешь молокососов? Если совершь – все равно узнаю.

ЖИЖИ. Да нет, тетушка, что ты. Нет-нет, я ни с кем не общаюсь. Только не понимаю, почему бабушка не пускает меня в гости?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Родители твоих подруг – самые заурядные люди, а значит, для нас бесполезные.

ЖИЖИ. А мы что, разве не заурядные?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Нет.

ЖИЖИ. И чем же они отличаются от нас, эти заурядные люди?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. У них куриные мозги и дурные наклонности. К тому же все они люди семейные. Боюсь, тебе все равно этого не понять.

ЖИЖИ. Да нет, тетя, я понимаю, в нашей семье замуж не выходят.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Никто нам не запрещает вступать в брак. Просто мы не стремимся выскочить замуж за кого попало и во что бы то ни стало.

ЖИЖИ. И потому мне нельзя ходить в гости к подругам?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Да, потому. А тебе что, скучно дома? Ну что ж, поскучай немножко. Это не так уж и плохо. Может, поумнеешь. Что я вижу? Слезы? Ах, ты глупышка, какая ты еще маленькая! Возьми-ка еще одного дрозда.

Тетушка Алисия берет за ножку бокала.

ЖИЖИ (*утирая слезы*). Как блеск хрустала смешивается с сиянием ваших колец, тетя.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Выпьем за наше с тобой здоровье, Жижи! К кофе ты получишь египетскую сигарету. Только чтобы я не видела облюбованного кончика, и табаком не смей плевать. Да, вот еще что, я дам тебе записку к старшей продавщице у Бешор-Давида, подберешь себе что-нибудь новенькое. Кто не рискует, тот не выигрывает...

ЖИЖИ (*заикаясь от неожиданности*). Тетя! Тетушка! От... от Бе...

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. От Бешоф-Давида. Ты покраснела, кокетка? Тогда как бы ты хотела быть одетой?

ЖИЖИ. О! Я-то знаю, что мне идет. Я видела....

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Когда говоришь, не размахивай руками. Это вульгарно.

ЖИЖИ. Я видела одно платье... О! Платье, сшитое для Люси Жерар. Шелковое, жемчужно-серового цвета и все в складочках сверху донизу. А еще черное бархатное платье, а по нему узор из шелка голубовато-лавандового цвета, а сзади шлейф, как павлиний хвост...

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Ну, хватит, хватит! Да, у тебя вкусы как у настоящей примы из "Камеди-Франсез". Считаю это за комплимент... Налей-ка нам кофе.

Тетушка Алисия встает и проходит к стене со встроенным сейфом.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Достаем шкатулку с драгоценностями. Сейчас я тебе их покажу... Что это такое, Жижи?

ЖИЖИ. Алмаз.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Говори лучше: бриллиант. А это?

ЖИЖИ. Это топаз.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*всплеснув руками*). Топаз! Не ожидала от тебя. Топаз среди моих украшений? Но почему тогда не аквамарин или не малахит? Дуреха, это светло-желтый бриллиант, и вряд ли ты еще где-нибудь увидишь такой же. А это?

ЖИЖИ (*мечтательно глядя на перстень*). О! Это изумруд... Как красиво!

Тетушка надевает перстень на палец, смотрит на него с благоговением.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Видишь, в самой глубине зеленого камня светится синий огонек. Это большая редкость, такие изумруды, с синей искоркой, считаются самыми красивыми.

ЖИЖИ. И дорогими?.. А кто подарил его тебе, тетя?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Король.

ЖИЖИ. Какой король – великий?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Нет, не великий. Великие короли не дарят таких красивых камней.

ЖИЖИ. Тогда кто же дарит самые красивые камни?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Кто? Да самые робкие! Впрочем, гордецы тоже. Один русский писатель, кажется, Горький, сказал: самый сильный протест раздается из груди слабых. Имея в виду поэтов, художников, людей с интуицией, связанных с Небом... как сам Иисус... И еще дарят такие камни, как ни странно, невежи. Они думают, что, подарив дорогую вещь, можно скрыть свою дурную натуру. Случается, женщины дарят драгоценности мужчинам, чтобы их унижить... Никогда не носи дешевых украшений, подожди, когда у тебя появятся настоящие.

ЖИЖИ. А если они вообще не появятся?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Тогда вместо того, чтобы носить какой-нибудь дешевый камень, надень просто кольцо за сто су. По крайней мере, ты всегда можешь сказать: “Это сувенир, он мне дорог как память, и я не расстанусь с ним ни днем, ни ночью”. А еще, Жижи, никогда не носи мещанских украшений, это позор для женщины. И берегись фамильных драгоценностей.

ЖИЖИ. А у бабушки есть такая красивая камелия-медальон.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*резко*). Красивых камней не бывает. Есть драгоценные камни и жемчуг. Есть бриллианты – белый, желтый, розовый и голубоватый. Не будем говорить о черных бриллиантах, они того не стоят. Есть рубин, когда он настоящий. Сапфир, если он из Кашмира, изумруд, если он, бог знает отчего, не отдает желтизной.

ЖИЖИ. Тетушка, а мне нравятся опалы.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Сожалею, но ты их носить не будешь. Я категорически против.

ЖИЖИ (*в крайнем удивлении*). О! Так ты тоже считаешь, что они приносят несчастье?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Глупышка, надо обязательно делать вид, что ты в это веришь. Бойся, бойся опалов. Так, а еще чего? Бирюза – от дурного глаза...

ЖИЖИ (*неуверенно*). Но, тетя, это же суеверие.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Конечно, девочка. Но это можно назвать и просто слабостями. У каждой женщины должны быть слабости. чтобы иметь успех у мужчин.

ЖИЖИ. А почему, тетушка?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Девять мужчин из десяти суеверны, девятнадцать из двадцати верят в дурной глаз, а девяносто из ста боятся пауков. Мужчины прощают нам очень многое, но никогда не простят, если окажется, что в чем-то мы сильнее их... Что ты вздыхаешь, Жиж?

ЖИЖИ. Никак не запомню.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Главное – все это мне слишком известно.

ЖИЖИ. Тетушка, а что такое письменный прибор из малахита?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Господи, откуда хоть ты всего этого нахваталась?

ЖИЖИ. Читала в газетах списки подарков.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Хорошее чтение... А ну-ка приоткрой верхнюю губку. Прекрасные зубы, крошка! Если бы у меня были такие же, я бы съела весь Париж... Что у тебя здесь? Прыщик? У тебя не должно быть прыщиков возле носа. А здесь? Маленький угорь? У тебя не должно быть угрей, и ты не должна их выдавливать. Я дам тебе мой лосьон. Не ешь колбасных изделий, кроме вареной ветчины. Ты еще не пудришься?

ЖИЖИ. Бабушка не разрешает.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Надеюсь, желудок работает хорошо? А ну, дыхни. Впрочем, сейчас это бесполезно, ты только что позавтракала (*положив руки на плечи Жиж*). Запомни, дорогая, что я сейчас тебе скажу: ты можешь нравиться. Правда, носик твой невозможен, рот тоже оставляет желать лучшего, скулы несколько мужиковаты...

ЖИЖИ (*простонав*). О, тетя!

ТЕТУШКА АЛИСИЯ...зато у тебя есть глаза, ресницы, зубы и волосы. И если ты не полная дура. Что касается фигуры...

Тетушка складывает ладони углом и прикрывает ими грудь Жиж.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Да, пока это только набросок. Но набросок многообещающий. Не ешь слишком много миндаля, от него тяжелеет грудь. Так, теперь давай подумаем, как научить тебя выбирать сигареты.

ЖИЖИ (*широко раскрыв глаза*). Сигареты?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*шлепнув ее по щеке*). Если уж я занимаюсь тобой, должно подумать обо всем, милочка. Когда женщина знает пристрастия мужчин, в том числе и к сигаретам, а мужчина знает, что нравится женщине... они хорошо вооружены друг против друга.

ЖИЖИ (*с лукавинкой, грубовато*). Тут-то они и начинают драться.
ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*недоуменно*). То есть как это драться? Ничего не скажешь, богатая мысль... Давай-ка я напишу тебе записку для Генриетты от Бишоф.

ЖИЖИ (*оглядывая комнату*). На камине Амур-стрелец, указывающий время, две фривольные картины на стене, кровать в форме раковины, покрытая мехом шиншиллы, четки из маленьких хрупких жемчужин, Библия на ночном столике, две красные китайские вазы (*в сторону*). У меня будет все по-другому...

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Поди, малыш. Скоро я опять приглашу тебя. Возьми пирог для мамы и бабушки. Осторожно, не испорти мне прическу. Я обязательно буду смотреть на тебя из окна. Не смей шагать, как гренадер, и не волочи ноги.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

В комнату входит Гастон Лашай. Он, как всегда, весел и энергичен.

ТЕТУШКА АЛЬВАРЕС. Кто там?

ГАСТОН ЛАШАЙ. Это я, сахарный король. Я только что из Ниццы и сразу к вам. О, кого я вижу! (*реагируя на выбежавшую из своей спальни Жильберту*). Это ты, Жижж?

ЖИЖИ. Вот, смотрите, дядюшка. У меня теперь два новых платья, легкое пальтецо, а также модненькие шляпка и туфли. Видите, дядюшка, как я изменила прическу, а это на лоб спущены завитки, их раньше не было.

ГАСТОН ЛАШАЙ. Не узнаю тебя. И что это за девица в новеньком бело-голубом платье почти до пят?

ЖИЖИ. Знаете, дядюшка, какая ширина у моей юбки? Целых четыре метра двадцать пять сантиметров. А это пояс, глядите, он из плотной шелковой ткани с серебряной пряжкой. Говорят, он подчеркивает мою осиную талию, которой я, как говорит бабушка, должна гордиться не без основания...

ТЕТУШКА АЛЬВАРЕС (*останавливая ее*). Но, Жижж, Жильберта!

ЖИЖИ. А это моя красивая, крепкая, мускулистая шея, которой тесно в воротнике на китовом усе – на “венетский манер”. Глядите, как слегка шуршат рукава, да и юбка, они пышны, прямо парусом стоят, видите, из бело-голубого полосатого шелка.

ГАСТОН ЛАШАЙ (*улыбаясь и щелкая ее по носу*). Ученая обезьянка – вот кто ты! С этим воротником, который жмет тебе, право, на кого ты похожа?.. Это тебе леденцы, прибыли вместе со мной из Ниццы.

ЖИЖИ (*тут же затолкав в рот леденец*). Чего только не говорят о вас, дядюшка. Но я никогда не слышала, чтобы у вас был хороший вкус... особенно по части туалетов...

ГАСТОН ЛАШАЙ (*смерив ее гневным взглядом*). Ничего себе воспитание! (*госпоже Альварес*). Нет, ромашки не надо. Я тороплюсь, оревуар.

Гастон Лишай покидает комнату.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*подлетая к Жиж*). Что ты наделала, бедная моя Жиж!

ЖИЖИ (*решительно*). Да он сам нарывается на неприятности, бабушка.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*встряхнув ее*). Да когда хоть ты повзрослеешь? Мы из сил выбиваемся, чего только не делаем, чтобы...

ЖИЖИ. А для чего, бабушка?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Чтобы ты выглядела, дуреха этакая, чтобы подчеркнуть твои достоинства.

ЖИЖИ (*тряхнув новой прической*). Подчеркивайте лучше вы с мамой свои достоинства перед дядюшкой. И вообще, кому это надо, бабушка? Зачем лезть из кожи вон для вашего старого друга семьи, кем является для нас дядюшка?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Несчастливая! Ты думаешь, что хоть ты говоришь?

ЖИЖИ (*услышав шаги*). А вот и снова дядюшка Гастон! Он вернулся.

Входит Гастон Лашай, он опять жизнерадостен, в светлом костюме.

ЖИЖИ. Где же это вы, дядюшка, успели переодеться?

ГАСТОН ЛАШАЙ. В машине. Надевай шляпку, Жиж! Я повезу тебя ужинать.

ЖИЖИ. И куда?

ГАСТОН ЛАШАЙ. Да хоть в "Резервуар" или в Версаль.

ЖИЖИ (*подпрыгнув*). Ура! Бабушка, я ужинаю в Версале, дядюшка берет меня.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*врываясь в комнату прямо в фартуке*). Нет, Гастон!

ГАСТОН ЛАШАЙ. Как это нет?

ЖИЖИ (*захныкав*). О, бабушка!

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*непреклонно*). Жиж, побудь у себя в комнате. Мне надо поговорить с господином Лашаем наедине.

Жильберта уходит.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*выдерживая свирепый взгляд Гастона Лашая*). Присядьте, Гастон, сделайте одолжение... О, бедные мои ноги, они так устали за жизнь. А когда-то ведь (помните?) были

не менее энергичны, чем ваши. Да и руки Андре, как мне кажется, все еще помнят вас... О Гастон, надеюсь, вы не сомневаетесь, что в этой семье к вам относятся с большой долей симпатии?

ГАСТОН ЛАШАЙ (*дергая себя за ус и слегка усмехаясь*). Ну, конечно, конечно, мадам, что за вопрос?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Очень признательна вам. Но я не имею права забывать о том, что вся ответственность за судьбу Жижи лежит только на мне. У Андре, как вы знаете, нет ни времени, ни желания заниматься девочкой. Наша Жильберта не слишком расторопная девица. Она еще совсем ведь ребенок...

ГАСТОН ЛАШАЙ. Которому уже шестнадцать.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. С самого детства вы дарите ей конфеты и безделушки. На каких правах? Ну, допустим, на правах друга семьи, доброго дядюшки. И она к вам очень привязана. Но настал час, и вот вы приглашаете ее в ресторан на ужин и собираетесь везти ее туда в своем автомобиле... Как в этом мире все повторимо... (*прижимая руку к груди*). Клянусь, Гастон, если бы речь шла только о нас с вами, я бы сказала, как прежде: "Везите, куда хотите, я доверяюсь вам". Но ведь это внучка моя Жильберта, и мы с вами не одни... А вы человек известный. На всех, с кем вы появляетесь, обращают внимание...

ГАСТОН ЛАШАЙ (*теряя терпение*). Хорошо, хорошо, я вас понял, мадам! Вы хотите убедить, что, если Жижи поужинает со мной, она будет скомпрометирована. Вот эдакая пигалица, у которой молоко еще на губах, да кому она интересна, кто на нее посмотрит...

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. (*прерывая его*). Скажем так, с этого момента Жижи окажется у всех на виду, Гастон. Про девушку, которая ужинает с вами наедине, уже нельзя сказать, что эта девушка как все прочие. Для вас, конечно, разница невелика: одной сплетней больше, другой меньше, но, уверяю, мне будет не легче, когда я увижу имя Жильберты на страницах "Жиль Блаза".

Гастон Лашай встает и принимается ходить от стола к двери, от двери к окну.

ГАСТОН ЛАШАЙ. Ну что ж, мадам, я не хочу огорчать вас. Берите вашу внучку. Вот только интересно, для кого вы ее бережете? Для какой-нибудь конторской крысы: законный брак, четверо детей за три года и прочие прелести?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Постараюсь отдать Жижи такому мужчине, для которого она будет что-то значить и который скажет мне: "Я беру все заботы о ней на себя и обеспечу ей будущее". И тогда

я смогу сказать сама себе: “Все, дорогуша, твоя миссия в жизни закончена, ты сделала для нее все, что смогла”... Вы позволите предложить вам ромашку, Гастон?

ГАСТОН ЛАШАЙ. Нет, спасибо. Я опаздываю.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Вы хотите, чтобы Жижы вышла попрощаться с вами?

ГАСТОН ЛАШАЙ. Не стоит.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Ну что ж, Гастон, не беспокойтесь. Приятного вечера.

Гастон Лашай уходит, госпожа Альварес остается одна.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*приоткрыв дверь спальни*). Жижы, ты подслушивала?

ЖИЖИ (*выходя*). Да.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. И напрасно. Когда подслушиваешь в замочную скважину, толком все равно ничего не разберешь.

Гастон Лашай ушел.

ЖИЖИ. Вижу.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Будь добра, вымой, как следует, молодую картошку. Я вернусь и поджарю ее.

ЖИЖИ. Ты уходишь, бабушка?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Я иду к тетушке Алисии.

ЖИЖИ. Опять?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Лучше умойся, ты ведь плакала.

ЖИЖИ. Бабушка...

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Что?

ЖИЖИ. А что, тебе жалко, если бы я поужинала с дядюшкой Гастоном в моем новом платье?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Прекрати! Если ты совсем глупая, пусть уж лучше за тебя подумает тот, кто на это способен. И надень мои резиновые перчатки, прежде чем братья за картошку.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

В комнату входит Жижы.

ЖИЖИ. Бабушка, кто это отъехал в двухместной карете? Тетушка Алисия?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Да, она.

ЖИЖИ. Вся в матовых шелках и черных кружевах, с розочкой на плече. Зачем приезжала эта старая львица?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Да просто так. Ей нужен был адрес врача, который лечил Бюфферу, когда у той болело сердце.

ЖИЖИ (*задумавшись*). До чего же он длинный.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Кто длинный?

ЖИЖИ. Да адрес врача. Бабушка, дай мне порошок, у меня мигрень.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Да у тебя вчера уже была мигрень. Обычно мигрень двое суток не продолжается.

ЖИЖИ. А у меня мигрень необычная.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Жижи, ты что-то стала резковата. И о курсах сама же говоришь: "Учитель злится на меня". Жалуешься на бессонницу, проявляешь безумную склонность к лени... Жижи, почисть мелом свои белые полотняные ботинки...

Слышится звонок в двери. Входит Гастон Лашай.

ЖИЖИ (*держит ботинок в руке*). О, дядюшка! Какой же вы загорелый, и костюм на вас в переливающуюся клеточку... Бабушка оставила ключ в дверях, да? Это на нее похоже.

ГАСТОН ЛАШАЙ (*вожделенно глядя на нее*).

ЖИЖИ (*краснея*). Значит, вы проникли к нам, как грабитель? Надо же, как похудели. А что же ваш знаменитый повар, который служил у принца Уэльского, он что – вас больше не кормит? Теперь, когда вы похудели, ваши глаза кажутся больше. Правда, и нос тоже, дядюшка.

ГАСТОН ЛАШАЙ. Мне надо поговорить с твоей бабушкой. Иди к себе в комнату, Жижи.

ЖИЖИ (*спрыгнув с табуретки и вне себя от гнева*). Иди к себе! Иди к себе! А если бы я вам такое сказала? Да кто вы такой, чтобы запирать меня в моей комнате? Хорошо, я уйду. И обещаю вам, пока вы здесь, я оттуда не выйду.

Хлопнув за собой дверь, она демонстративно выходит. Вбегает госпожа Альварес.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*растерянно*). Гастон, я потребую, чтобы Жижи извинилась... я потребую, если придется...

Гастон Лашай не слышит ее, глядя, как завороченный, на захлопнувшуюся дверь.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

В комнате двое, это сестры – госпожа Альварес и тетюшка Алисия.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*лежа в постели*). Какое солнечное утро!

А теперь подведем итоги. Значит, вначале он сказал: “Я буду баловать ее, как...”

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Да, “...как не баловал ни одну другую женщину!”

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Однако все это как-то туманно, типично по-мужски.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Уточнения были, Алисия. Он сказал, что дает Жижі состояние, чтобы она была независима, в том числе и от него самого, а сам будет при ней вроде опекуна.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*машинально завязывая и развязывая ленточку на своей ночной рубашке*). Неплохо, неплохо. И все-таки туманно, очень туманно.

Тетушка Алисия бледна и печальна, как луна выглядывает обычно из облаков. Госпожа Альварес опирается об изголовье ее кровати.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. А еще он сказал: “О, не хочу ускорять события. Прежде всего, я друг Жижі, ее лучший друг. Я дам ей время привыкнуть ко мне”. И добавил: “Я все-таки не дикарь. Да и надо же мне, наконец, определиться”. Я не сомневаюсь, что он джентльмен, истинный джентльмен.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Да, да. Но джентльмен – это тоже довольно туманно. А что Жижі, ты говорила с ней?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. А что мне оставалось? Не могла же я общаться с ней, как с ребенком, от которого прячут конфеты. Я сказала ей все начистоту... согласно собственному опыту... что Гастон – это чудо, это божественно, это...

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*недовольно*). На твоём месте я бы объяснила ей, какую счастливую карту она вытянула, какую блестящую победу одержала, над какими соперницами может восторжествовать.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*молитвенно сложив ладони*). Победа! Соперницы! Ты думаешь, она похожа на тебя? Да ты ее совсем не знаешь. В ней нет ни капли злости.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Спасибо.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Извини, я хочу сказать, что она не тщеславна. То, что я ей рассказала, не произвело на нее никакого впечатления, – я была просто потрясена. Ни радости, ни волнения. Все, чего я смогла добиться от нее, так это: “Да? Как это мило с его стороны”. Под конец, правда, она поставила мне условие.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Так, так, интересно, очень интересно.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Она хочет сама ответить на предложение господина Лашая и объясниться с ним наедине. Она попросит у него Луну с неба, а он уж сумеет поставить ее на место. Он придет в четыре?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Да.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Он ничего не прислал? Ни цветов, ни подарков?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Ничего. По-твоему, это плохой знак?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Ты знаешь, это вполне в его духе. Проследи за тем, чтобы малышка принарядилась. Она хорошо выглядит?

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Неважно, бедняжка. Сдается мне, Жижи как "Санта" из Древнего Египта – порочная и святая.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*сурово*). Перестань ты, да перестань же, Алисия!

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

В комнате двое – госпожа Альварес и Жижи.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Ты почти ничего не ела, Жижи.

ЖИЖИ. Нет аппетита, бабушка. Можно еще кофе?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Пожалуйста.

ЖИЖИ. А ликерчику?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Ну, конечно, ликеры полезны для желудка.

В открытое окно проникает уличный шум, слышится гудок автомобиля. Жижи окунает кончик языка в рюмку.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*дружелюбно*). Видела бы это тетушка Алисия.

ЖИЖИ (*сдерживая мелькнувшую в себе горькую улыбку*). Видишь, бабушка, как старое клетчатое платье стягивает мне грудь? Дай-ка вытяну ноги под стол. А почему мама не обедала с нами сегодня? Мы что, поссорились, бабушка? Или у нее, правда, репетиция в "Опера-Комик"?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Правда, правда, раз она так сказала.

ЖИЖИ. А мне кажется, что она не хотела обедать сегодня дома.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Ну почему же?

ЖИЖИ (*пожимая плечами*). Я просто так думаю, мне так кажется.

Допив рюмку, Жижи собирает все со стола на поднос.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Оставь, Жижи, я сама.

ЖИЖИ. Нет, это моя обязанность.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*отводя глаза от тревожного взгляда внучки*). Просто мы поздно обедали, сейчас почти три, а ты еще не одета.

ЖИЖИ. Впервые в жизни мне понадобится целый час, чтобы переодеться.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Я тебе не нужна? Ты хорошо завита?
ЖИЖИ. Да, бабушка. Когда позвонят, не открывай, я открою сама.

Трижды резко звонят в дверь, Жильберта выбегает на середину комнаты. Она все еще в старом клетчатом платье и войлочных тапочках. Потерев щеки кулачками, она направляется к двери.

ЖИЖИ. А, это вы? Здравствуйте, дядюшка Гастон.

ГАСТОН. Ты что, не хотела мне открывать, злючка?

Он задевает ее плечом, вежливо извиняется, нервно рассмеявшись.

ЖИЖИ (*рассмеявшись ответно*). Садитесь, пожалуйста. Представьте, у меня не было времени переодеться. Какая красивая саржа на вас, никогда не видала.

ГАСТОН ЛАШАЙ. Ты ничего в этом не понимаешь, это лявиот.

ЖИЖИ. Правда? А что такое я говорю?

Жильберта садится на табурет, натянув юбку на колени. Внезапно в ее расширенных глазах появляется жалобное выражение, детская самоуверенность теряется, пропадает.

ЖИЖИ (*вздыхая*). О-о-охх-х!

ГАСТОН ЛАШАЙ. Что с тобой, Жиж? Скажи мне, что с тобой?.. Ты знаешь, зачем я пришел?

Она кивает головой.

ГАСТОН. Так да или нет?

Откинув за ухо локон, Жиж решительно проглатывает слюну.

ЖИЖИ. Нет.

ГАСТОН (*жадно глянув на нее и в сторону*). Какие синие глаза... еще и родинка на розовой щечке... а ресницы изогнуты, губам неведома моя власть... Как тяжелы пепельные волосы, а шея как бело-мраморная колонна, без единого украшения...

ЖИЖИ. Я не хочу того, чего хотите вы, что вы сказали бабушке.

ГАСТОН (*морщась, как от зубной боли*). Сам знаю, что я сказал твоей бабушке. Можешь мне этого не повторять. Скажи мне только, чего ты не хочешь. Ты можешь также сказать, чего хочешь. И ты это получишь.

ЖИЖИ (*выпрямившись неожиданно*). Правда?

Он кивает, его плечи слегка сутулятся. Жиж с удивлением наблюдает за проявлением его душевной слабости, мук.

ЖИЖИ. Дядюшка, вы сказали, что хотите обеспечить мое будущее?
ГАСТОН (*твердо*). Да, это так.

ЖИЖИ (*не менее твердо*). Если это будущее еще мне понравится. Мне все уши прожужжали, что я отстаю в развитии, но я все же понимаю, что означают ваши слова. Они означают, что я должна буду уехать из моего дома, буду жить с вами и спать в вашей постели...

ГАСТОН. Умоляю тебя, Жиж.

ЖИЖИ. А что тут такого? Вы же не постеснялись сказать это моей бабушке? И бабушка тоже не постеснялась сказать это мне. Она так хотела убедить меня, что мне очень повезло. Но я-то знаю, что она не все мне рассказала. Я знаю, что получится, когда вы займетесь моим будущим. Это значит – мои портреты появятся в газетах, это значит – Праздник Цветов и скачки в Довиле. И когда мы с вами поссоримся, об этом напишут в “Жиль Блазе” и “Пари ан амур”... Но когда вы бросите меня окончательно, как и многих других, а кого я имею в виду – вы знаете, например, Жантиану де Севени... и еще кое-кого до нее, то...то...

ГАСТОН. Как, тебе и это известно?

ЖИЖИ (*опустив голову*). Бабушка и тетушка Алисия мне кое-что рассказали... Мариза Шюкс украла у вас письма, и вы подали на нее в суд. Я знаю также, что графиня Париевски была вами очень недовольна из-за того, что вы не захотели на ней жениться, и она стреляла в вас из револьвера...

ГАСТОН (*кладя руку на колено Жильберты*). Все эти истории не стоят того, чтобы их обсуждать. Жиж. С этим покончено, все это в прошлом.

ЖИЖИ. Сегодня покончено, дядюшка, а завтра все начнется сначала. Вы, конечно, не виноваты, что вы известны в свете. Но, откровенно сказать, это все не по мне.

Жиж одергивает край юбки и сбрасывает со своего колена руку Гастона.

ЖИЖИ. Конечно, бабушка Алисия и моя бабушка с вами заодно. Но у меня тоже есть свое мнение. Так вот, это мне не подходит.

Она поднимается и в волнении начинает ходить по комнате, бормоча: “Конечно, судьба решает... я так сказала... разве я не права?”

ГАСТОН (*заговорив, наконец*). Лучше скажи, не пытаешься ли ты скрыть от меня, что я тебе отвратителен... или просто не нравлюсь?.. Если так, чего там – говори напрямую.

ЖИЖИ. Нет, дядюшка, нет. Я всегда рада вам. И давайте сделаем так. Вы будете приходить к нам, как обычно, и даже чаще. Никто не

увидит в этом ничего дурного, вы же друг дома. Вы по-прежнему будете приносить мне леденцы, а на именины – шампанское, по воскресеньям сразимся в пикет. Мы прекрасно заживем. По крайней мере, не нужно будет спать с вами в вашей постели на виду у всех, терять жемчужные ожерелья, позировать перед фотографами, ходить все время по струнке...

Она накручивает на нос прядь волос и начинает гнусавить.

ГАСТОН. Оч-чень прривлекательно! Но ты забываешь, ЖижИ, что я влюблен в тебя.

ЖИЖИ (*вскакивая*). Что-о?! Но вы ничего об этом не говорили.

ГАСТОН (*часто дыша*). Ну вот и.. сказал... говорю...

Грудь ЖижИ под узким корсажем трепещет, щеки пылают, а губы подрагивают и крепко сжаты.

ЖИЖИ. Дядюшка, вы просто ужасны. Вы влюблены в меня, а хотите, чтобы я только и делала, что мучилась. Чтобы все вокруг меня сплетничали, газеты писали гадости. Вы влюблены в меня, а тащите в эту кошмарную жизнь, где разрывы, скандалы, револьверы и этот яд – “ла.. ла... лауданум”.

ЖижИ рыдает, у нее возникает приступ кашля. Гастон обнимаетеe, пытается склонить к себе, словно ветку, но она вырывается и прячется за пианино.

ГАСТОН. Послушай, ЖижИ... выслушай меня, ЖижИ.

ЖИЖИ. Никогда, никогда. Я больше не хочу вас видеть! Я от вас этого не ожидала! Вы просто скверный человек, уходите!

Гастон пытается поймать ее, дотянуться губами до ее губ, но она изворачивается, у нее неудержимы слезы и рыдания. Это тревоживает госпожу Альварес, она входит и останавливается в нерешительности.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Боже, что с ней, Гастон?

ГАСТОН. Она не хочет.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*в растерянности*). То есть как это не хочет?

ГАСТОН. Вот так, не хочет, и все!

Госпожа Альварес смотрит на ЖижИ с ужасом.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. ЖижИ... но это безумие! Я же говорила тебе...

Гастон, видит Бог, я говорила ей...

ГАСТОН (*в сердцах*). Не знаю, не знаю.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*со взглядом, полным любви и отчаяния*).

ЖижИ!.. ЖижИ!..

Жижи сотрясают рыдания, волосы ее рассыпаны и перепутаны.

ГАСТОН (*глухо*). В конце концов, мне это надоело. Хлопнув дверью
Лашай уходит.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

*В комнате никого. Появляется тетушка Алисия.
Она тяжело дышит, очевидно, летела сюда стремглав.*

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*в тревоге*). Где Жижи?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. У себя в спальнеке.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Как она?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Как всегда.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*яростно*). Как всегда! Обрушила на нас поток,
и как всегда! Ну и поколение!! (*поднимая вуалетку и впиваясь
взглядом в сестру*). Ну а ты-то что стоишь? Надо же действовать!

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*устало*). Что значит действовать? Не могу
же я тащить ее на аркане. Мне кажется, я не заслужила, чтобы
мои дети так со мной обращались.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Не хнычь. Представляю, в каком состоянии
вылетел отсюда Лашай.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Ушел без шляпы. Так без шляпы и сел в
свой автомобиль. Это могла видеть вся улица.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Если мне скажут, что в настоящий момент он уже
с кем-нибудь обручен или помирился с Лианой, я этому не удивлюсь.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*мрачно*). От судьбы не уйдешь.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Ну и что ты после сказала этой маленькой
злой вонючке?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*обиженно поджимая губы*). Алисия! Воз-
можно, Жижи и отстают от сверстниц, но она, на мой взгляд, совер-
шенно не то, что ты о ней говоришь. Девуцу, привлекающую внима-
ние Гастона Лашая, нельзя называть "вонючкой"!

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Ну хорошо, хорошо. Так что ты сказала этой
своей принцессе?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Я зывала к ее благоразумию. Говорила о на-
шей семье. Объясняла, что все мы связаны одной веревочкой, уза-
ми... перечисляла все, что она может сделать для себя и для нас...

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. А надо было зывать к ее безумию. Почему
ты не рассказала ей о любви, о путешествии вдвоем, о лунном
свете, об Италии? Почему ты не поискала каких-либо тайных
струн? Надо было сказать ей, как может светиться море, как

колибри прячутся в цветах, как прекрасна любовь в тропическом саду, среди гардений и фонтанов.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*с грустью*). Я не могла ей этого рассказать,

Алисия. Я ничего не знаю об этом, я нигде не была.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. А придумать ты не способна?

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Нет.

Они молчат. Пауза.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*решительно*). Позови мне эту птичку.

Входит Жильберта. Тетушка Алисия, преобразясь, с томным видом нюхает чайную розу, приколотую у нее на груди.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Здравствуй, моя девочка.

ЖИЖИ. Здравствуй, тетя.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Что я слышу, у тебя поклонник? И какой! Для первой пробы совсем неплохо.

Жильберта улыбается сдержанно. Тетушка как бы впервые разглядывает ее с интересом.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*в сторону*). А она ничего. Личико свежее, однако словно покрыто гримом. Так густо лежит тень от ресниц, так ярко губы. Ну да, очевидно, чтобы не было так жарко, ЖижИ двумя гребнями подняла на виски волосы, отчего еще больше удлинились уголки глаз.... (*вслух*). ЖижИ, я так понимаю, что ты строишь из себя злочку и пробуешь на господине Лашае свои коготки? Bravo, внученька, bravo!

Жильберта поднимает на тетушку недоверчивые глаза.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*продолжая*). Да-да, bravo! Гастон почувствует себя в сто раз счастливее, когда ты сменишь гнев на милость.

ЖИЖИ. Что ты, тетушка? Я просто не согласна. Вот и все.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Да-да, это мы уже слышали. Ты дала ему от ворот поворот. Это даже забавно. Только не посылай его к черту, он может еще пригодиться. Короче, он тебе не нравится, да?

ЖИЖИ (*дернув по-детски плечом*). Что вы, тетя, он мне нравится.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Нет-нет, лунная девочка, он тебе, скорее всего, не нравится. Заметь, я считаю, это даже к лучшему: когда сердечко молчит, голова лучше работает. Вот если бы ты влюбилась в него без памяти, я бы, пожалуй, всерьез обеспокоилась. А ведь он ничего собой, этот седоватый брюнет. Он хорошо сохранился: сложен неплохо, до сих пор подтянут, достаточно

взглянуть на его фотографии в Довиле, на пляже. Иначе мне было бы тебя жаль, моя бедная Жиж. Первая такая страстная любовь... Вы вдвоем уезжаете на другой конец света. Забываете обо всем в объятьях друг друга, слушаете песнь любви, живете вечной весной... Видимо, все это пока ничего не говорит твоему сердцу? Или что-то уже говорит?

ЖИЖИ. Говорит. То, что вечная весна закончится, едва господин Лашай уедет на край света с другой. Или же мне придется покинуть господина Лашая, и господин Лашай дает по этому поводу интервью. А мне ничего не остается, тетушка, как отправиться в постель к другому мужчине. А я не хочу так, я люблю постоянство.

Она стоит, скрестив руки, и по ее телу пробегает дрожь.

ЖИЖИ. Бабушка! Дай мне порошок, меня что-то знобит.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*взрываясь*). Идиотка! Самое место тебе за прилавком! Давай выходи замуж за какого-нибудь экспедитора.

ЖИЖИ. Хорошо. Если ты так настаиваешь, тетя. Но сейчас я хотела бы прилечь.

Входит госпожа Альварес, кладет ладоньей на лоб.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Ты плохо себя чувствуешь, внучка?

ЖИЖИ. Нет, бабушка, мне просто грустно.

Она склоняет голову на плечо госпоже Альварес и впервые в жизни по-женски как-то, патетически закрывает глаза. Сестры переглядываются.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Хорошо, девочка моя. Мы больше не будем тебя мучить.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*сухо*). Что сделано, то сделано, нечего тут говорить.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Во всяком случае, ты не можешь нас упрекнуть. Уж советов-то от нас ты получила достаточно.

ЖИЖИ. Я знаю, бабушка. И все же мне грустно.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС (*сочувственно*). Почему?

Жильберта не отвечает. По ее щеке катится слеза, она смахивает ее. И тут раздается резкий звонок в дверь, Жильберта вздрагивает.

ЖИЖИ. Ах, это он! Это он! Бабушка, я не хочу его видеть, спрячь меня, бабушка... Вы нехорошие, злые, вы меня предаете... продаете...

Тетушка Алисия, угадывая низкие, страстные нотки в голосе Жиж, торопится отворить дверь. Следом за ней в комнату входит Гастон Латай. Лицо его пожелтело, он кажется невыспавшимся, разбитым.

ГАСТОН (*кланяясь, игривым, не свойственным ему голосом*).
Здравствуйте, тетушка. Здравствуй, Жижина... Я на минутку, только забрать шляпу.

Никто не отвечает, уверенность покидает его.

ЖИЖИ (*шагнув к нему*). Нет, вы пришли не за шляпой. У вас у руке другая шляпа. Вы пришли снова мучить меня.

ГОСПОЖА АЛЬВАРЕС. Ну уж это слишком, я просто этого не вынесу.
Когда человек от чистого сердца...

ЖИЖИ. Прошу тебя, бабушка. Не вмешивайся, погоди.

В последний раз как-то жалобно взглянув на пожилых женщин, Жильберта машинально одергивает юбку, поправляет пряжку на поясе, вся вспыхнув, подходит вплотную к Гастону.

ЖИЖИ. Я подумала, дядюшка, я хорошенько подумала.

Гастон закрывает рот ладонью, чтобы помешать сказать то, чего сам так страшится.

ГАСТОН. Клянусь тебе, дорогая, клянусь.

ЖИЖИ. Нет-нет, не нужно никаких клятв. Я подумала вот что! И решила: лучше уж буду несчастна с вами, чем без вас. И значит... (*голос ее прерывается*). И значит... Здравствуйте, дядюшка. Здравствуй, Гастон...

Она подставляет ему щеку, безвольно замирает в объятиях. Госпожа Альварес пытается кинуться к ним, но Алисия останавливает ее.

ТЕТУШКА АЛИСИЯ. Не вмешивайся, неужели не видишь, что это сильнее нас?

Головка Жижина покоится на плече Гастона, укрывая его волной рассыпавшихся пепельно-светлых волос.

ГАСТОН (*радостным, ликующим голосом госпоже Альварес*).
Мадам, я прошу, прошу вас о великой чести и милости... прошу вас сделать меня счастливейшим из смертных... я прошу у вас руки моей любимой Жижина...

ТЕТУШКА АЛИСИЯ (*сестре своей, сразу как-то ссутулившейся*).
Вот так люди в любви и продляют жизнь до бесконечности. Пойдем, старенькая моя, дорогая моя сестрица, нам с тобой тут уже делать нечего. Мы учили ее, а она сделала все по-своему, как хотела. Что ж, пришло время, она его не упустила.

30 января 2000 г.,
г. Орел

НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

(Инсценировка одноименного романа Франсуазы Саган)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

НАТАЛИ СИЛЬВЕНЕР – молодая провинциалка из Лиможа.
подруга Жилья Лантье.

ЖИЛЬ ЛАНТЬЕ – парижский журналист, 35 лет.

ЖАН – друг и коллега Жилья.

ОДИЛИЯ – сестра Жилья из Лиможа.

ФЛОРАН – ее муж, нотариус.

ГОСПОДИН СИЛЬВЕРЕН – муж Натали, провинциальный судья.

ПЬЕР ЛАКУР – брат Натали.

ФЕРМОН – издатель одной парижской газеты, патрон Жилья.

ГАРНЬЕ, ПЬЕР И ТОМА – журналисты этой газеты.

ГОСПОДИН РОЖЕ – крупный буржуа.

ПОДРУГА ДЕТСТВА НАТАЛИ – его жена.

ЭЛОИЗА – любовница Жилья, парижская фотомодель.

МАДАМ РУАР в Лиможе.

АМЕРИКАНЕЦ.

События происходят летом 1967 года. Издалека наплывает мелодия, голос Джо Дасена “S; tu n'exsistes pas.” На этом фоне звучит обращенное к залу: “Если бы не было тебя”. Голос диктора:

*“И я вижу ее, и теряю ее, и скорблю,
И скорбь моя подобна солнцу в холодной воде!”*

Поль Элюар

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

ПАРИЖ. Утро. Окно в квартире с видом на Эйфелеву башню. Жиль Лантье приподнимается на постели. Сидит, обхватив голову, прислушиваясь к щемящей мелодии.

ЖИЛЬ ЛАНТЬЕ (в сторону). Господи! Надрался вчера, как сапожник.
Грубая схватка с Элизой на этой постели. И все равно ничего

у нас с ней не получилось. Очко проиграно. Что это за мужчина!.. Жизнь, которая была так щедра к тебе, мой дорогой Жиль, вдруг отступила. Сколько ни тверди себе, что ты еще ничего – и выигрышная внешность, и интересная профессия, и успех у женщин, – все это мертвые, мертвые слова... Море отступило, оставив одинокую скалу... одинокий утес...

Смеется коротким, горьким смешком. Подходит к умывальнику, берет мыло, выскользнув, оно падает на пол. Он пытается изловить его на лету. С ужасом наблюдает, как что-то мерзкое, вроде змеи, ползет по руке.

ЖЮЛЬ ЛАНТЬЕ. Нет-нет, это не переутомление, не печень даже, это совсем другое, более страшное: я болен, надо признать. Обратиться к психиатру? Нет, нет, я сам справлюсь с этой “штукой”!..

Работа в международном отделе газеты на износ вконец доконала его. Все эти кровавые, невыносимые события по всему свету. На Среднем Востоке, в США, во Вьетнаме... Земля вращается в хаосе... это Париж, люди вокруг с блестящими от возбуждения глазами, а ты как побитый пес, заблудшая душа...

К Жану, что ли, подняться наверх, этажом выше? Жан обожает меня. В одной газете работаем, коллеги – у Жана о тебе сложившийся образ, ты для него из счастливейших, символ успеха, беззаботности...

Кто-то стучит в дверь. Вот легок на помине, сам Жан к нему препожаловал. Жюль молча подает ему стул, протягивает сигарету.

ЖАН (глядя свою голову). Совсем уже лысый, а у тебя, Жиль, шевелюра. И вид из окна на Эйфелеву башню, а не какие-то водосточные трубы... Ну, и как тебе это нравится?

ЖИЛЬ. Что – телеантенны, серые и голубые крыши Парижа?.. Ах, ты о вчерашнем убийстве? Да, можно сказать, ловко состряпано!

Жан перекладывает папки на столе, тянет время.

ЖИЛЬ (в сторону). “Сказать или не сказать, поделиться? Вот уже два месяца со мной творится что-то неладное. Но я избегаю разговора с ним по душам”.

Жан решительно давит в пепельнице сигарету.

ЖАН (глядя Жилью прямо в глаза). Ну, как?

ЖИЛЮ. Что как?

ЖАН. Не клянутся дела?

ЖИЛЬ (*засмеявшись*). Н-не к-кляются.

ЖАН. Уж месяца два? Верно?

ЖИЛЬ. Три... Да уж три месяца скверно мне.

Жан опять подносит к сигарете зажигалку.

ЖАН. Конкретные причины?

ЖИЛЬ (*в сторону, с раздражением*). "Тоже мне, взял тон полицейского! Ломает комедию" (*вслух ровным тоном*). Да причин – никаких.

ЖАН. Вот это уже серьезнее.

Вставая, Жан кладет руку на плечо Жилья: "Ничего, старик, ничего". На глазах Жилья выступают слезы. Он нажимает на головку шариковой ручки, то выдвигая, то убирая стержень.

ЖАН. Что у тебя не ладится, старик? Может, ты болен?

ЖИЛЬ. Нет. Просто мне ничего на свете не хочется. Кажется, модная болезнь, да? Каждый девятый парижанин страдает, не так ли?

Жан пожимает плечами.

ЖИЛЬ. Мне вообще ничего не хочется, ясно? Ни работать, ни любить, ни даже двигаться – только бы завалиться в постель и целыми днями лежать одному, укрывшись с головой одеялом...

ЖАН. А ты пробовал?

ЖИЛЬ. Этого дела? (*намек на наркотик*). Конечно, хватало ненадолго. К девяти часам вечера уже тянуло покончить с собой. Простыни и подушки казались грязными, собственный запах – омерзительным, обычные мои сигареты – просто гадостью.

ЖАН (*тяжело вздохнув*). А с Элоизой?

ЖИЛЬ. Что с Элоизой? Терпит пока. Как тебе известно, нам в общем-то не о чем с ней разговаривать. Но она меня любит. А я, знаешь ли, выдохся...

ЖАН (*как можно мягче*). Ну, это не страшно. Наладится. Тебе надо посоветоваться с хорошим врачом, попринимать витамины, подышать чистым воздухом – и через пару неделек, глядишь, опять начнешь за курочками гоняться.

ЖИЛЬ (*разозлившись*). Да плевать мне на это! Мне ничего не хочется, понимаешь? Не только женщин. Мне жить не хочется.

Молчание. Слышится тяжелое дыхание Жилья.

ЖАН. Выпьешь виски?

Извлекает из сумки бутылку шотландского виски, разливает в стаканы.

ЖИЛЬ (*выпивая и морщась*). К черту! Мне теперь и спиртное не помогает. Разве что надраться до полусмерти и заснуть. Алкоголь меня больше не возбуждает.

ЖАН (*беря его за руку*). Дружище! А пойдем-ка пошатаемся по Парижу... Вообще-то, я думаю, тебе надо поехать куда-нибудь. Взять недельки на две командировку... А сейчас давай закатимся на вечерок к девочкам, как в добрые старые времена? Нет?... А как твоя книга? Ну, этот репортаж об Америке?

ЖИЛЬ. К черту этот репортаж, ко всем чертям Америку! Штук пятьдесят уже таких книг написано, и куда лучше моей.

ЖАН (*теряя терпение*). Ну, пошел ты тогда!...

Хлопнув дверь, Жан уходит.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Та же квартира. Перед телевизором сидит Элоиза – любовница Жюля, парижская фотомоделль.

ЭЛОИЗА (*в сторону*). Уж два году живу у Жюля, он позвал меня, вовсе не стал выносить одиночества... (*смотрится в зеркало*). То брюнетка, то блондинка, то вовсе рыжеволосая – цвет волос меняю каждые три месяца из соображений фотогеничности. Ничего, глаза ярко-синие. А фигурка, говорят, точеная, когда я в хорошей форме... Долгое время в известном плане превосходно ладил с Жилем, сейчас все полетело к черту. Чаще всего ему хочется забиться в угол... быть одному...

А ведь эту свою трехкомнатную квартиру на улице Дофин Жиль так и не обставил. С каким энтузиазмом вначале он прибивал полки, делал проводку для стереофонической аппаратуры, выбирал место для книжного шкафа, для телевизора – теперь же с ненавистью смотрит на все эти вещи, даже на книги, которыми пичкал себя всю свою жизнь.

Входит Жиль – Элоиза вскакивает с наигранной улыбкой, показывая на телевизор.

ЭЛОИЗА. У них там игра такая: надо составить слово из деревянных букв... По-моему, это “аптека”...

Жиль молча проходит к бару, наливает себе виски, однако пить одному не хочется, он ставит стакан на столик.

ЖИЛЬ (*наконец-то отвечая*). Что ж, вполне возможно.

ЭЛОИЗА. Звонил Гарнье – твой коллега, спрашивал, не хотим ли мы поужинать сегодня с ним в клубе?

ЖИЛЬ. Там видно будет.

ЭЛОИЗА. Если тебе не хочется выходить, у нас в холодильнике есть холодная телятина. Можно ужинать и смотреть детектив по телевизору.

ЖИЛЬ (*иронично*). Богатый выбор (*в сторону*). Ничего себе, этот Гарнье в сотый раз будет объяснять, что, если бы наше телевидение не было бы так продажно, он, Гарнье, давно бы создал шедевр... Друзья-журналисты вот уже три месяца называют его сюда. И этот Гарнье цыпляется за фалды: просто хочет пить с тобой на халтуру...

Звонит телефон. Жиль не шевелится.

ЭЛОИЗА (*беря трубку*). Это Жан, тебя просит.

Жиль колеблется, наконец, берет трубку.

ЖИЛЬ. Все в порядке, старик. Прости, что так вышло... Завтра поговорим о серьезных вещах... Ах, что мы делаем вечером? Наверно... наверно, мы сегодня останемся дома и будем есть холодную телятину перед телевизором. Да, старина, да... Ах, в "Бобино" сегодня премьера? И у тебя есть билеты?.. Да нет, что-то не хочется вылезать из своей конуры. Давай-ка лучше завтра устроим грандиозный кутеж... До свиданья, старик!

Жиль кладет трубку. Элоиза сидит, по-прежнему уставившись в телевизор.

ЖИЛЬ (*взрываясь*). Господи, неужели ты в состоянии смотреть эту дрянь!

ЭЛОИЗА (*растерянно, с мольбой в голосе*). Я думала... как лучше... чтобы только не разговаривать...

ЖИЛЬ (*в сторону*). Все это ложь, ложь! (*вслух, слабым голосом*). Не сердись. Сам не знаю, что со мной.

ЭЛОИЗА (*вздыхнув*). В двадцать два года со мной было то же самое. Я все время плакала... Мама безумно боялась за меня, говорила, что это нервная депрессия.

ЖИЛЬ. И как же все это кончилось?

ЭЛОИЗА. Само прошло. Месяц попринимала какие-то таблетки, а в один прекрасный день мне вдруг стало лучше.

ЖИЛЬ (*глядя на нее едва ли не с ненавистью*). Какие таблетки? Может, позвонишь, спросишь у мамы?

ЭЛОИЗА. Жиль!.. Дорогой мой!.. Я знаю, что я не очень умная и вряд ли могу помочь тебе. Но я люблю тебя, Жиль!..

Плача, она утыкается в плечо ему.

ЖИЛЬ. Ничего-ничего, не плачь. Все уладится. Я совсем развинтился, завтра же пойти к доктору? Или, может, вызвать его сюда?

Та же комната. В комнате двое – Жиль и Элоиза.

ЖИЛЬ (*все еще злясь*). Элоиза! Мне кажется, дух этого врача-психиатра из времен Людовика XIII все еще витает тут в комнате. Представь себе, я смотрю на него в смутной надежде, а у него уверенность, безапелляционность, прикрывающая его бессилие... Лицо у него как у адвоката. Напускает на себя такое выражение глубокого интереса, подобающее разве что журналисту...

ЭЛОИЗА. А почему бы и нет? Если это поможет.

ЖИЛЬ. Может, у Жилия Лантье просто недостает в организме кальция или железа. Или еще какой-нибудь штуковины, и только поэтому я несчастен! Человек выдумывает невесть что насчет своей воли, свободы, мозга, и вдруг оказывается, что он связан по рукам и ногам, потому что ему чуточки недостает витамина В... Ишь, как доктор сказал: “Вы чувствуете себя плохо? Не скрою, я мало чем могу вам помочь”. “Как же так, доктор?” – говорю я, а он мне: “Вы физически совершенно здоровы. Во всяком случае, внешне. Если хотите, можем вам сделать анализы, прописать лекарство для поднятия тонуса. Одну капсулу перед едой по пять раз в день”.

ЭЛОИЗА. По пять (*всплескивая руками*). Неужели по пять?

ЖИЛЬ. Да хоть по десять раз! А когда-то за ночь мог, хм-хм, и по пятнадцать... Какой циник этот доктор! Я шел к чадолюбивому отцу, а мне подсунули ученого скептика. Как он сказал, представляешь? “Вы страдаете общей вялостью, которую мы называем депрессией. Она затрагивает и умственную деятельность, и половую сферу... Могу посоветовать вам отправиться в путешествие, отдохнуть хорошенько или, наоборот, изнурять себя...”

– Благодарю вас, доктор, я знаю, вы очень заняты, и только по просьбе Жана...

– Да-да, мы с Жаном большие приятели, – сказал доктор. – Во всяком случае, друг мой, таких пациентов, как вы, я вижу человек по пятнадцать в неделю. В конце концов все у них налаживается. Значение времени, как говорится...

ЭЛОИЗА. Ах, Жиль! Ах, Жиль!... Я так переживаю за тебя, так переживаю, ты не можешь себе представить...

ЖИЛЬ. И этот врач, занимающийся исцелением недугов, зачем он морочит людям голову? Я предпочел бы какого-нибудь знахаря,

лжепророка. просто дурака. пичкающего пациента лекарствами. А этот – врет в открытую, в лицо...

В кои времена появилась основательная причина прогулять денек на работе: "Врач был у меня, я был у врача". А тут, откровенно сказать, не должен этого делать. Я теперь не в силах выполнять всю нагрузку, мне помогает Жан. Но меня, откровенно сказать, скоро вышибут вон из газеты, где я с таким трудом сумел создать себе положение... И будешь ты прозябать где-нибудь в бульварной газетенке. Пьянствовать и оплакивать свою судьбу в ночных кабаках...

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Помещение клуба. Стойка бара, бармен.

ЖИЛЬ (*входя с улицы*). Хэлло! Общий привет!.. И тебе, Жоэль! И тебе, Андре! Билю, Зоэ – всем, всем! Спасибо за приглашение... Да, давненько не виделись... Я тут пристроюсь у стойки... Мне виски шотландского с содовой... Тома, это ты! Качает тебя шторм на море? Четыре года ты смотришь на меня искоса. А все из-за того проклятого репортажа...

ТОМА (*пронзительным фальцетом*). А-а, это наш красавец Жиль! Не нравлюсь тебе, так и скажи, не нравлюсь?

Пьер, тоже из журналистов, делает знаки Жилю, что Тома вдребезги пьян. Тома резким движением опрокидывает стакан прямо на рубашку Жилья. Стакан падает и разбивается. Мертвая тишина. Жиль резко бьет кулаком по остренькому личику Тома, и оба схватываются в драке.

Все выметаются из клуба. Жиль сидит в кресле побитый. Входит Жан, бросается к Жилю.

ЖАН. Что с тобой, дружище?

ЖИЛЬ (*улыбаясь*). Подрался с Тома. И, кажется, даже Пьеру досталось. Вот этот синяк у меня под глазом был, кажется, классным ударчиком Пьера (*Жиль начинает дергать плечами, сухо кашлять, рыдать*). Завтра в редакции меня будут называть подонком, скотом!

ЖАН. А послезавтра все позабудется.

ЖИЛЬ. Да я не позабуду, я не позабуду этого себе, не прощу, – я!..

Кстати, чему я обязан вас видеть, мсье?

ЖАН (*в сторону*). "Действительно, с Жилем что-то неладно". (*Жилю*). Сиди смирно, немножко пощиплет, и все.

ЖИЛЬ (*грубо*). Ну да! Ты как заботливая мамаша: "Мой мальчуган напроказил. Ай-ай-ай, как нехорошо! Бить того, кто слабее тебя! Бить лежачего... Ай-ай-ай..."

Жан обрабатывает рассеченную губу Жилья, смачивая одеколоном сухую ватку.

ЖИЛЬ. Ой, больно!

ЖАН. Что тебе сказал Даниель?

ЖИЛЬ. Доктор?

ЖАН. Ну да, Даниель.

ЖИЛЬ (*резко*). А разве ты уже не поговорил с ним по телефону? (*в сторону*). "Все это может закончиться обыкновенной "психушкой".

ЖАН. Да, я звонил ему.

ЖИЛЬ. И что?

ЖАН. Он успокоил меня.

ЖИЛЬ. Ну да. Так ты в полночь прилетел в клуб навестить меня?

ЖАН. Элоиза сказала, что после посещения доктора ты ушел куда-то и запропастился. А ведь уже четыре часа... Я пришел составить тебе компанию и подбодрить. По мнению Даниеля, у девяти десятых парижан точно такой же диагноз. Но это не основание для того, чтобы из-за тебя люди беспокоились, мучились, пока ты дерешься в баре с Тома.

ЖИЛЬ (*иронично*). Извини, папочка. А что тебе еще говорил твой друг Даниель?

ЖАН. Приятель, тебе надо переменить обстановку.

ЖИЛЬ. Вот как? Газета оплатит мне турпоездку на Багамские острова?

Жиль кусает губы, подавляя нервный смех. Наконец, не выдержав, хохочет во все горло и никак не может остановиться.

ЖИЛЬ (*в испуге*). Багамские острова... Багамские острова... Багамы... А почему бы и нет? Ах, я псих, вся наша жизнь такая, я — псих...

ЖАН. Перестань, Жиль!... Да перестань же ты!...

Жан достает из пиджака большой носовой платок в светло-синюю клетку и стирает кровь со щеки Жилья.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

ЛИМОЖ. Лужайка перед сельским домом в Лиможе, где-то в провинции Лимузен. На лужайке, нежась под солнцем, лежит Жан Лантье. Откуда-то наплывает тема все той же грустной лирической песни

*“Если бы не было тебя”, исполняемой Джо Дассеном.
Привстав, Жиль прислушивается к этой мелодии, ко-
торая вещает перемены, тревожит.*

ЖИЛЬ (в сторону). “И это мой родовой дом. Тут живет моя родная сестра Одилия с мужем Флораном – местным нотариусом. У них нет детей, и она считает Флорана за сына. И удивляется, как это можно не поставить брата на ноги из-за какой-то “нервной депрессии” в течение двух недель. По ее мнению, собственно, от всего стопроцентно лечат отдых, сочные бифштексы и прогулки... Ох уж эта деревенская тишь, доброта сестры и Флорана, их желание угодить абсолютно во всем... Телевизор – их гордость, недавно куплен, принимает две программы, что еще надо?”

Между тем Жиль все худеет, молчит, даже иногда убегает из комнаты, чтобы только не слышать просто невозможные рассуждения Флорана о международной политике.

Бедняжка Жиль! У своей сестры ты все младшенький, взбалмошный путаник, а теперь и вовсе свихнулся в своем Париже. Ты любишь присесть на скамеечку у ее ног и молча сидеть, пока она гладит тебя по головке. И, удивительное дело, ты не вырываешься, позволяешь себя ласкать, она занимается вязаньем, и тебе легче от ее присутствия. Ее незатейливая болтовня успокаивает...

После того мучительного дня в Париже, так как больших денег не было, ты решил укрыться у сестры Одилии, в родительском доме. Знал ведь, что здесь тебе будет смертельно скучно. По крайней мере, здесь ты сможешь укрыться от самого себя, от тех нелепых припадков, которые будут угрожать, если ты останешься в Париже. Тут, во всяком случае, свидетелями этого могут оказаться только овцы на зеленых лугах Лимузена...

Парижская квартира оставлена на попечительство Элоизы, на работе тебя заменяет Жан. Ты обещал вернуться через месяц вполне здоровым. Но вот уже половина срока, а ты по-прежнему близок к отчаянию. Каждое дерево, каждый закоулок, кажется, говорит тебе: “Прежде ты был здесь счастлив, ты тогда был хорошим”... Да, Жиль, у тебя украдено все, даже детство...

*Он зарывается лицом в росистую траву, вдыхая
земные ароматы.*

ЖИЛЬ. Жалкий комедиант! Притворяешься, что любишь природу, как когда-то женщин... напрасно...

Вот он, родительский дом: старый, серый, с голубой крышей, с двумя маленькими смешными коньками, типичный провинциальный дом, с террасой на переднем плане и холмом позади. В любое время года и в любой час, кажется, тут пахнет цветущей липой...

Появляется Одилия, она несет на подносе для него кофе.

ЖИЛЬ. О сестрица! Дорогая моя!.. Как это здорово! Это напоминает мне запахи дров, тлевших тогда, в детстве, помнится, в нашем камине... Приятен запах твоего одеколона...

В халате к ним приближается Флоран – муж Одилии. Толстенький, как и его жена, с огромными голубыми глазами.

ФЛОРАН. Ну как? Как спалось, дорогой, хорошо? Виделись приятные сны? (*смеясь заразительно, заговорицки подмигивая Жилью*). Небось, и тебя заарканила какая-то дрянь. Поспокойнее! Одну потерял, – вот сколько (*показывая обе пятерни*) сразу найдутся... Который час?

Жиль вздрагивает. Оглядывается вокруг.

ЖИЛЬ (*бормоча, в сторону*). “В самом деле, прекрасен день. Надо будет съездить в соседнее поселение за покупками, купить себе газеты, журналы, сигареты. Потом устроиться на террасе и читать до обеда. А перед ужином выпить с Флораном виски и спать завалиться пораньше, чтобы сестра могла наконец свободно включить свой телевизор. Не такой уж это и смертный грех”... (*вслух*) Одилия! Сегодня вечером будем вместе смотреть телевизор.

ОДИЛИЯ. О нет! Ты забыл, я же тебе на днях говорила, что мы едем в гости к мадам Руарг. Она знает тебя с пяти лет.

ЖИЛЬ (*в ужасе*). Я приехал сюда отдохнуть, а не разъезжать по гостям, да еще к каким-то Руаргам.

ОДИЛИЯ. Нет, поедешь, поедешь, и все тут! Поедешь, какой безобразник!

ЖИЛЬ (*сдаваясь*). Ну, ладно, сестричка. Поеду.

ОДИЛИЯ (*просияв*). Все-таки ты славный мальчик. Это недалеко, каких-нибудь тридцать километров.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Провинция Лимузен. Усадьба Руаргов в Лиможе. Дом, голубая гостиная.

РУАРГ (*встречая гостей*). Мы вас не видели, Жиль, лет двадцать... Одилия говорила, что у вас малокровие... Очень приятно увидеться с вами. Пойдемте, я вас представлю.

Ошарашенный, оглушенный, Жиль покорно идет за хозяйкой, за сестрой Одилией. Что-то, говорит, кому-то кивает.

РУАРГ. Жиль, я хочу вас представить мадам Руарг... Сильвенер Натали, знакомьтесь – Жиль Лантье, журналист из Парижа.

Статная, красивая, рыжеволосая молодая особа стоит перед Жилем, улыбаясь смело и заразительно.

ЖИЛЬ (кланяясь). Мадам (в сторону). “Ого! А глаза-то – зеленые, дерзкие, однако добрые”.

НАТАЛИ (сухо). Здравствуйте.

И тут же отходит. Жиль провожает ее взглядом.

ЖИЛЬ (в сторону). “Вспышка яркого пламени! На фоне выцветшего голубого бархата этой старомодной гостиной”.

ГОЛОС из толпы гостей (какой-то старичок, Жилю). Ах, и вы любуетесь прекрасной мадам Сильвенер – королевой нашего города?

Жиль в одиночестве смотрит в окно. Ощупав бицепсы, он вздыхает.

ЖИЛЬ (в сторону). “Худой какой, обессилел в последнее время. И лицо осунулось, руки дрожат”.

ФЛОРАН (подходя к Жилю сзади, шутку пытается его напугать).

Ах-ах! Ну что, Жиль, нравится тут тебе или пора возвращаться? Я приготовлю тебе свой фирменный коктейль “порт-флип”. И мы, как всегда, пораньше отправимся спать. Чтобы подняться пораньше.

ЖИЛЬ (удивленно). “Порт-флип”? Такое еще существует?

Флоран уходит, не дождавшись ответа. Жиль кусает травинку сорванную под окном.

ЖИЛЬ (в сторону). “Интересно, протяни я руки, чем бы она ответила – поцелуем или пощечиной?”

Он отворачивается, возвращается в прежнее положение, перед ним уже стоит она – мадам Сильвенер.

ЖИЛЬ (изумленно). Мадам, это вы? Вы подошли ко мне неожиданно, сзади.

НАТАЛИ (спокойно). Да, неожиданно.

ЖИЛЬ. Почему?

НАТАЛИ. Захотела вас видеть. Вы мне понравились.

ЖИЛЬ. И что?

НАТАЛИ. Захотелось вас рассмотреть.

ЖИЛЬ (растерянно). Нет слов, я обескуражен.

НАТАЛИ. Пожалуйста.

ЖИЛЬ. Это мило с вашей стороны. Все тут, глядя на нас, только, небось, и сплетничают.

НАТАЛИ. Действительно, уже принялись сплетничать о вас, вашем образе жизни, нервном заболевании... Весьма занятно, Фрейд даже в провинции – это занятно.

ЖИЛЬ (*закипая*). И вы подошли ко мне, чтобы проверить – верны ли симптомы?

НАТАЛИ. Мне дела нет до ваших недугов.

ЖИЛЬ (*сдерживая себя*). Вы любите “порто-флип”?

Он садится на скамейку, она приближается к нему. А он смотрит на нее из-за опущенных ресниц, зная, что это идет ему. И вдруг она опускается перед ним на колени, берет его голову в руки и, наклонясь совсем близко, горячо дышит ему лицо.

НАТАЛИ (*жалостливо*). До чего же худой!

Пристально глядят друг на друга.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Если она поцелует меня, все конечно. Ни за что не встречусь с ней никогда. А жаль”.

Натали вскакивает и, отряхнув юбку, пытается уйти. Жиль делает шаг за ней.

ЖИЛЬ. Послушайте, вы случайно не чокнутая?

НАТАЛИ (*опустив плечи и постарев вдруг*). Вы что!

Подходит Одилия, подает рюмки с “порто-флип”.

ОДИЛИЯ (*раскрасневшись*). Надеюсь, напиток достаточно охлажден?

НАТАЛИ (*быстро метнув взгляд*). Кто это? Ваша сестра?

Одилия уходит молча. Жиль не отвечает.

НАТАЛИ. Вам хочется побывать на выставке картин Матисса в городском музее?

ЖИЛЬ. О да, мадам. Мне хочется, мне уже очень хочется.

НАТАЛИ (*глядя внимательно*). Очень?

ЖИЛЬ. Как в былые времена!

НАТАЛИ. Тогда в полдень. У главного входа.

Натали уходит.

ЖИЛЬ (*в сторону, оставшись один*). “Что это на меня накатило? Знаю ведь, все кончится деревенским борделем где-нибудь в окрестностях Лиможа, и я наверняка окажусь не на высоте”.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Комнатка в загородной гостинице. Узкая железная кровать. В кровати двое – Жиль Лантье и Натали Сильвенер.

ЖИЛЬ. Ну что, довольна?

Натали молчит. Лежит, отвернувшись к стене.

ЖИЛЬ *(в сторону)*. “Ну да, пили чай в придорожной харчевне. Ты сунул денег хозяину и получил эту жалкую комнатенку. Натали ни разу ни в чем тебя не упрекнула – спокойная и равнодушная”.

Наконец Натали поворачивается лицом к нему.

НАТАЛИ. Чем же мне быть довольной?

ЖИЛЬ. Согласись, для мужчины это не очень приятно.

НАТАЛИ. И для женщины тоже. Однако мы заранее знали, что тут будет именно так, убого как-то: пестрые занавески, этот ужасный сундук.

Он кладет голову ей на плечо, закрывает глаза.

ЖИЛЬ. Почему же ты согласилась?

НАТАЛИ *(вздыхнув)*. Мне еще на многое придется соглашаться ради тебя.

Она лежит неподвижно, словно занемев. Он приподнимается на локоть, разглядывает ее с близкого расстояния.

ЖИЛЬ *(наклонясь, целует ее)*. Добрая женщина, невероятно добрая женщина.

Пальцы Натали нервно впиваются ему в плечо.

ЖИЛЬ. Прости, я был, наверно, грубоват.

НАТАЛИ *(стоя у кровати и одеваясь)*. Не могу сказать, что это было восхитительно, но ты ведь чувствуешь себя лучше? Освободился от заклятья?

Жиль вскакивает: обидеться или не обидеться? Сидит, замерев, на кровати.

ЖИЛЬ. Ты что же, всегда считаешь себя обязанной говорить гадости?

НАТАЛИ *(улыбаясь)*. Нет, не всегда.

Жиль смеется и тут же по-спортивному, как пробка, вылетает из постели.

НАТАЛИ. Франсуа, должно быть, уже беспокоится.

ЖИЛЬ. Кто это?

НАТАЛИ. Мой муж.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “А ведь мне и в голову не приходило, что она замужем. Я ничего не знаю о ее жизни”. (*Вслух*). Я ничего не знаю о твоём прошлом и настоящем.

НАТАЛИ (*улыбаясь*). А час назад я не знала ничего о тебе.

Жиль застывает, замороженный ее улыбкой.

ЖИЛЬ (*в сторону, разочарованно*). “Я не способен любить кого бы то ни было, как не способен любить и себя. Что ты можешь ей предложить? Только страдания. Шуточки твои грубоваты, есть за что тебя презирать. Но что интересно: мне неприятно об этом думать, в то же время меня пугает эта ее смелая, искренняя, исполненная обещаний улыбка”. (*Вслух*). Знаешь, я ведь...

НАТАЛИ. Знаю... Но я уже люблю тебя.

ЖИЛЬ (*в сторону, с чувством возмущения, даже негодования*). “Нельзя же так вот сразу сдаваться первому встречному! Нет, она сумасшедшая. Какой же интерес обольщать даму, когда она сама признает себя обольщенной? Как можно надеяться полюбить ее, если с первой же минуты она не оставляет сомнений в своем чувстве? Она ведет игру против правил... и в то же время восхищает щедрость ее натуры, ее безрассудство”... (*Вслух*). Откуда ты можешь знать? (*В сторону*). “А она красива, очень красива, она просто создана для любви”.

НАТАЛИ (*глядя на него неотрывно, со смехом*). Ты гадаешь: что я сказала – правду или неправду? Что именно? Ты читал когда-нибудь русские романы. Когда внезапно после двух встреч, герой говорит героине: “Я люблю вас”. И это правда, это ведет прямо к трагическому концу.

Жиль неотрывно смотрит в окно.

ЖИЛЬ. Как красивы луга и рощи.

Натали как-то жестко, беспощадно смеется.

ЖИЛЬ. Чего ты? Для неврастеника не так уж и плохо?

НАТАЛИ. Ты доволен?

ЖИЛЬ. Да.

НАТАЛИ (*резко трясет его за плечи*). Скажи еще раз. Повтори (*властно*). Скажи, что ты доволен.

ЖИЛЬ (*целует ей руки*). Я доволен... доволен... доволен... (*В сторону*) “Однако что это? Здорово смахивает на страсть”.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

*Комната вредительском доме. Жиль лежит небри-
тый, скорчившись на диване. Стремительно входит
Натали.*

НАТАЛИ. А ты не мог хотя бы позвонить мне по телефону?

ЖИЛЬ. Пятый день от тебя ни слуху ни духу. Пятый день.

НАТАЛИ. Или хотя бы приехать?

ЖИЛЬ. У меня нет ни телефона, ни машины.

НАТАЛИ. Я ждала пять дней! Пять дней ждала этого растрепанного,
совершенно небритого человека.

ЖИЛЬ (*чему-то обрадовавшись*). Я н-не б-был уверен... не был...

НАТАЛИ. Но ведь я люблю тебя, я люблю.

*Она бросается к выходу, Жиль едва успевает дог-
нать ее у самой двери. Он обнимает ее, целует нежно,
долгим взглядом смотрит в глаза.*

ЖИЛЬ. Слышишь, как в стекла шуршит, барабанит о стекла дождь?
И слышится запах дров, сложенных где-то под лестницей... Вот-
вот может зайти Одилия.

НАТАЛИ. И пусть.

*Она дерзко вскидывает голову и бросается ему на
шею. Он ведет ее к себе на постель.*

*Они лежат, крепко обнявшись. Присмирившие,
угомонясь.*

ЖИЛЬ. Уже смеркается. Часы пролетели, как миг.

НАТАЛИ. Оказывается, мы с тобой просто созданы друг для друга.
Наконец-то мы стали настоящими любовниками.

ЖИЛЬ. В самом деле, я снова обрел вкус к жизни и наслаждению.
Где ты оставила машину?

НАТАЛИ. У крыльца. Я хотела тебя просто выручить и уехать. Твоя
сестра и Флоран, боже мой, что они подумают о нас?

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Какой я ровный, усталый, спокойный. Как я мог
почти четыре месяца жить без нее?” (*Вслух*). По-твоему, они
что-то подумают?

НАТАЛИ. Я знала, знала, что у нас с тобой так получится, лишь толь-
ко у видела тебя... Странно...

ЖИЛЬ. Пойдем выпьем “порто-флип”.

НАТАЛИ. Как мы спустимся к ним, что скажем?

ЖИЛЬ (*властно*). Никогда не нужно ничего объяснять. Одевайся,
Натали.

НАТАЛИ (*иронично*). Ты так думаешь?

Жиль наклоняется и целует ее в плечо.

Они входят в гостиную с беспечностью, которая появляется у любовников после счастливого и решающего свидания. Флоран и Одилия смущены.

ФЛОРАН (*фальшиво*). Какой ужасный сюрприз!

ОДИЛИЯ (*еще более фальшиво*). Спасибо, мадам, что вы нашли возможность приехать к нам. У меня недостает мужества даже высунуть нос на улицу.

ФЛОРАН. Конечно, в такую погоду не мешает вспрыснуть – выпить, скажем, портвейна.

НАТАЛИ (*сидя на диване и бросая на Жиль быстрые, острые взгляды*). Безусловно... ну, конечно... это не помешает...

ОДИЛИЯ (*сокрушенно*). Такая погода, наверно, помешает Косиньякам устроить бал на свежем воздухе.

НАТАЛИ (*живо*). Вы к ним собираетесь?

ОДИЛИЯ. Я боялась, что Жиль не захочет.. но теперь.

Одилия умолкает, оцепенев от ужаса, Флоран подает ей бокал, свирепо вращая глазами. Жиль едва не расхохотался, успев отвернуться.

ОДИЛИЯ (*промямлив*). Но теперь Жиль выглядит немного лучше и, надеюсь, согласится поехать с нами.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Боже мой, как я благодарен этой женщине! Снова это состояние блаженной усталости” (*Вслух, весело*). Ну, конечно же, я поеду.

НАТАЛИ (*улыбаясь ему*). Мне пора. Значит, завтра вечером у Касиньяков?

ЖИЛЬ (*проводя ее следом*). А завтра днем?

НАТАЛИ (*в отчаянии*). Днем у меня собрание членов Красного Креста.

ЖИЛЬ. Ах да, ты ведь супруга важного чиновника.

НАТАЛИ (*посерьезнев*). Не смейся, не смейся, ты не должен смеяться.

Натали уходит, Жиль стоит в размышлении.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Зеленая поляна перед домом, это дом Касиньяков. Столики на траве, гости. Одилия с Флораном и Жиль Лантье проходят мимо, кивая знакомым.

ОДИЛИЯ (*Жилью, останавливаясь перед высоким красивым*

мужчиной). Франсуа, вы знакомы с моим братом? Познакомьтесь. Жиль – мсье Сильвенер.

СИЛЬВЕНЕР. Очень рад, но мы уже встречались ранее, кажется, где-то на ужине.

ЖИЛЬ (*вслух*). Ну, конечно (*в сторону*). “Недурен собой и, кажется, богат. Но, должно быть, не слишком веселый. Кажется, у меня прилив желания поддержать Натали в объятьях, как позавчера”.

СИЛЬВЕНЕР. Вы живете в Париже?

ЖИЛЬ. Да, уже десять лет. И вы часто туда наведываетесь?

СИЛЬВЕНЕР. Стараюсь как можно реже. Жена, разумеется, обожает ваш Париж, но у меня он вызывает раздражение.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Какой бы предлог подыскать, чтобы уйти от него? А то и вовсе смыться отсюда?”

Подходит Натали – в зеленом отлично сшитом платье, под цвет ее глаз. Она кланяется галантно, улыбается Жилью.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Чуть побледнела, прекрасна”. (*Вслух*). Здравствуйте, мадам.

СИЛЬВЕНЕР. Вы, полагаю, уже знакомы?

НАТАЛИ. Совершенно верно. Мсье Лантье, мать хозяина дома, прикована к креслу, но она заметила вас и просила привести вас к ней. Идемте?

Отойдя за сирень, Натали бросается Жилью в объятья. Жиль осыпает ее поцелуями.

Вдалеке появляются прогуливающиеся гости.

НАТАЛИ (*в экстазе*). Перестань... перестань...

ЖИЛЬ (*замечая их, с усмешкой*). А он у тебя недурен.

НАТАЛИ. Не говори о нем, не будем о нем говорить.

ЖИЛЬ. Я просто пытаюсь быть объективным.

НАТАЛИ (*сухо*). А я не пытаюсь быть объективной.

Натали уходит, Жиль закуривает сигарету.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Она слишком хороша, слишком цельная натура для такого жалкого лгуна и комедианта, каким я стал. Надо ей все это объяснить сейчас же, немедленно”.

Жиль находит ее в обществе красивого молодого человека.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Этот красавец – несомненно, ее любовник. Как он снисходительно смотрит на меня – шуплого, фатоватого парижанина...”

НЕЗНАКОМЕЦ (*представляясь*). Пьер Лакур... Должен вам признаться, я преподаю литературу в Лиможе и время от времени печатаюсь в местной газете.

ЖИЛЬ. Так мы коллеги!

Кидает на Натали взгляд с каким-то упреком.

ЖИЛЬ. Разрешите все же пригласить вас на танец?

Натали кладет руку ему на плечо, они движутся в танце.

НАТАЛИ. Ты больше не будешь?..

ЖИЛЬ. Чего не буду?

НАТАЛИ. Говорить о Франсуа?

ЖИЛЬ. А это кто — белокурый красавец?

НАТАЛИ (*расхохотавшись*). Ах, этот? Да это же мой брат Пьер...

Не прижимай меня так, на нас смотрят. Ты счастлив, Жиль?

ЖИЛЬ. Да. А ты?

НАТАЛИ. Я тоже.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Родительский дом. В гостиной один только Жиль.

Входит почтальон, он приносит телеграмму.

ЖИЛЬ (*держит ее в руках*). Ага, от Жана, просит позвонить. Итак, набираем, звоним... Это ты, Жан? Твой голос не из Парижа, а словно с другой планеты... Да, это я — Жиль Лантье. Звоню из Лиможа, откуда еще?... Ну да, мне лучше. Не говори мне про воздух Лимузена, как моя сестра. Просто нашлась женщина, которая полюбила меня, и я принимаю ее любовь. Не мог же ты это предвидеть?...

Ну да, так что ты говоришь? Лену насмерть разругался с шефом? Предполагается передать мне международный отдел?... Не клянись, не клянись, верю тебе... Но все это пустяки в сравнении с Лиможем... Это назначение, конечно, будет не раньше октября? Ах, ты сказал шефу без церемоний, что я смылся куда-то с какой-то итальянской актрисой?..

Ты спрашиваешь меня — рад я? Когда приеду?.. Завтрашним поездом... Ах, сегодня же? Что за пожар? Ну, хорошо, завтра же приезжай на вокзал встречать меня. До свиданья, старик.

Жиль кладет трубку, вытирает мокрый лоб.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “В три часа свидание с Натали. Да ведь и в редакции у них там, когда освобождается важная должность, действительно, начинается пожар. Основательная там сейчас суматоха, нельзя упускать шанс”.

Входит Флоран.

ФЛОРАН (*встревоженно*). Ну что, хорошие новости или плохие?

Улыбаясь, Жиль дружески хлопает его по плечу.

ЖИЛЬ. Хорошие!

ФЛОРАН (*радуясь за него*). Ну вот все и уладится.

Жиль поднимается в комнатку где-то на чердаке. В ней тесно и душновато. Однако именно здесь живет сейчас Жиль. На кровати его лежит одетая Натали.

НАТАЛИ. Значит, завтра ты уезжаешь?

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Можно говорить ей сколько угодно о важности новой работы, моральной ответственности перед человеком, о страшном интересе людей к международной политике, но лучше помолчать”. (*Вслух*) Я уезжаю в Париж на недельку. И после вернусь. А работать начну, скорее всего, с октября.

НАТАЛИ. Если это так важно, почему же ты не выехал сегодня?

ЖИЛЬ. У нас же назначено свидание.

Она бросает на него недоверчивый взгляд.

НАТАЛИ. А может, ты просто подумал, что неудобно бросить женщину, ограничившись коротенькой запиской, даже если знаком с ней всего две недели?

ЖИЛЬ (*наклонясь над ней*). А если я все-таки не вернусь?

НАТАЛИ. Приеду к тебе... Обними меня, Жиль.

Солнечный луч падает на них через окно. Жиль жадно гладит волосы, плечи Натали, целует ее, прощаясь.

НАТАЛИ. Я отвезу тебя на вокзал. Только не в Лимож, а во Вьерзон. И приеду за тобой, когда ты вернешься.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Привокзальная площадь. Натали ждет кого-то. Слышно, как прибывает поезд из Парижа. С чемоданчиком появляется Жиль. Они обнимаются, целуются, как уже давнишние любовники.

ЖИЛЬ. А знаешь... Знаешь, Натали, я люблю тебя.

НАТАЛИ (*счастливо смеясь*). Ну да, не хватало бы, чтобы ты не любил меня.

ЖИЛЬ (*смеясь ответно*). Натали, ты — сильная женщина, но именно в твоей слабости — сила, которой невозможно противостоять.

Они присаживаются на скамейку под деревом.

НАТАЛИ. Почему ты ничего не рассказываешь?

ЖИЛЬ. О чем?

НАТАЛИ. О своей поездке в Париж.

ЖИЛЬ. А что рассказывать-то? Всю дорогу любовался природой из окна вагона.

НАТАЛИ. Поцелуй меня.

Жиль обнимает ее, целует долгим, мучительным поцелуем.

НАТАЛИ (*приводя себя в порядок*). Ну и что там было, в Париже?

ЖИЛЬ. Успел побывать в своей квартире.

НАТАЛИ. Привел, конечно, любовницу?

ЖИЛЬ. Она там живет.

НАТАЛИ. Как ее зовут?

ЖИЛЬ. Элоиза... Но я все думал, как позвонить тебе, не рискуя нарваться на твоего супруга. Мне просто хотелось услышать твой голос, узнать, что ты жива и невредима.

НАТАЛИ. Ну и что сказал твой друг и коллега Жан?

ЖИЛЬ. Жан? Он сказал мне: дружище, ты выглядишь гораздо лучше, даже слегка загорел. И я сказал, что главный доктор мой – это моя любовь, это ты. И я назвал ему твое имя.

НАТАЛИ. И что же твой Жан?

ЖИЛЬ. А он говорит: я уже сказал шефу, что ты уехал на Лазурный берег с восходящей итальянской кинозвездой. А я перебил его и сказал, что ты, Натали, прекраснее любой итальянской кинозвезды. Ты обладаешь тем, чем не обладают итальянские кинозвезды.

НАТАЛИ. И что же он?

ЖИЛЬ. А вот что. Когда я сказал: “Прости, старик, я на секунду. Обещал сразу же позвонить сестре, ты ведь знаешь, какая она у меня беспокойная”, – Жан только вежливо улыбнулся. Он все понимает... Я потрепал его по волосам и прошел в спальню, к телефону. Сел на кровать, нужно было набрать десяток цифр...

НАТАЛИ. Кого потрепал по волосам – Элоизу?

ЖИЛЬ. Да. Но звонил-то тебе... “А не поздно ли сейчас звонить?” – спросила меня Элоиза. “Это сестре”, – сказал я Элоизе. “Если подойдет твой муж, – подумал я, – повешу трубку”. А подошла ты... Раздался твой чуть хрипловатый голос. “Это ошибка”, – сказал я, ты помнишь? И ты еще добавила: “Нет, вы меня ни чуть не побеспокоили, мсье”, – и повесила трубку. – “Значит, муж рядом”, подумал я. Франсуа был рядом, Натали?

НАТАЛИ. А я услышала в трубку, как у тебя там женский голос сказал: “И снова, как раньше. Я знала, мы опять будем вместе”. Это Элоиза, да?

Жиль сидит молча, в оцепенении.

ЖИЛЬ. Тогда она сказала мне, что у меня все устроится. А она будет постоянной фотомоделью в журнале “Вог” благодаря этому американцу.

НАТАЛИ. Вот как?

ЖИЛЬ. Все лето ей придется участвовать в показе моделей. Однако она сказала, что между двумя сеансами она могла бы приехать ко мне. Теперь есть еще и самолет на Лимож. “Не надо”, – сказал я Элоизе. “Тебе грустно? Но ведь все устроилось”, – сказала она и выключила свет.

НАТАЛИ (*повторив*). Да, она выключила свет.

ЖИЛЬ (*глядя в лицо ей*). В твоих глазах качается ветка тополя, что строит за окном. В них загадочное обещание – в этих твоих светло-зеленых глазах, Натали.

Какое-то время Жиль и Натали сидят молча.

НАТАЛИ. А что у тебя на работе, в газете?

Жиль продолжает молчать, затем начинает от-куда-то издаലെка.

ЖИЛЬ. Наш патрон втайне добивается восстановления графского титула – этой частицы “де”, исчезнувшей при Карле X. А внешне, послушать его, этот Фермон только и рассуждает об ответственности перед страной, перед обществом. Мне лично он сказал следующее: “Нечего и говорить, что вам придется отказаться от дурных привязанностей, своих похождений. Я не стану разыскивать вас в Сан-Тропезе, когда Америка и Вьетнам заключат мир. Я понимаю, вы слишком молоды для этого поста, тем более нужно как следует делать это дело. Кстати, учтите, если бы не скандал, случившийся с Гарнье, мы бы, конечно, назначили его...”

НАТАЛИ. Ну и что они имеют против Гарнье?

ЖИЛЬ. Жан мне сказал: “У Гарнье серьезные неприятности с полицией, он у них на учете из-за какого-то мальчишки”. Я возмутился, резко ответил Жану: “Но при чем тут это?”

НАТАЛИ. Выходит, это место ты получаешь благодаря своим добродетелям?

ЖИЛЬ. Вот не думал-то! Вот именно благодаря добродетелям! А не своим профессиональным и личным качествам! Я так и сказал тогда Жану. Я не могу принять это место, получается как бы воровство. Подумаешь, какие пуритане! Чтобы в наше время шантажировать кого бы то ни было? С этим могут не согласиться, но это так.

А Жан, выслушав, меня сказал миролюбиво: “Впрочем, не волнуйся. Если ты откажешься, они живо найдут другого”. “А мне наплевать! – резко ответил я Жану. – Мне Гарнье очень симпатичен. И он знает дело не хуже меня”. И тогда Жан мне ответил: “Я уже переговорил с Гарнье, и он сказал, что ты – самая подходящая кандидатура”. А он на свой счет не строит иллюзий... Повидайся с ним”.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Те же. Там же.

НАТАЛИ. Ну, повидался?

ЖИЛЬ. Мне хотелось послать к чертям весь Париж со всеми его интригами, порядками и лицемерием. Хотелось вернуться в Лимож, позвонить тебе, Натали.

НАТАЛИ. Тебя обидело, что тебя выдвигают не за выдающиеся способности?

ЖИЛЬ (*оставляя вопрос без ответа*). Тогда Жан мне сказал: “Уезжая из Парижа, ты был похож на каторжанина, влачащего за собой чугунное ядро”. Я сказал Жану, что ты очаровательная женщина, вот и все!

НАТАЛИ. И что Жан после этого?

ЖИЛЬ. А Жан в ярости, сказал, что он обо мне думает: “колпак, у меня глупый вид, что ему даже страшно за меня. И тогда я сказал Жану, кто же лучше разбирается в моих чувствах – я или он?” И Жан сказал, что, конечно, он. Вот уже пятнадцать лет мы дружим, и он знает меня лучше, чем я самого себе. – “Ты прав, конечно, дружище, – сказал я ему. – Но дело в том, что я, наверное, люблю эту женщину”, то есть тебя, Натали.

Натали притягивает к себе Жюля и целует в губы искренне, с большим удовольствием.

НАТАЛИ. А как же насчет любовницы?

ЖИЛЬ. Это насчет Элоизы?

НАТАЛИ. Да.

ЖИЛЬ. Она сказала мне: “Знаешь, я безумно тебя люблю”. В порыве великодушия и в знак благодарности я зашел в ювелирный магазин и купил ей какой-то пустячок. И позвонил ей из кафе

рядом. Она ответила сухо, и я подумал: “Ну что ж, это естественно. Всякое дело имеет свой конец”. И тут же позвонил тебе в Лимож. Помнишь? Я еще спросил тебя: “Что происходит?” И ты ответила: “У нас тут страшная жара, с утра все гремит и гремит гром”. И что ты страшно боишься грозы. “Не смейся!” – крикнула ты и бросила трубку. И тогда я купил подарок тебе, Натали. Мне хотелось звонить тебе еще и еще, чтобы объяснить, что телефон не имеет никакого отношения к электричеству, трубку брать во время грозы не опасно.

И мне страшно тогда захотелось тебя увидеть. Ты это чувствовала, Натали?

НАТАЛИ. Да, я это чувствовала. Мне очень хотелось, чтобы ты прилетел самолетом.

ЖИЛЬ. Конечно, существует знаменитая авиакомпания “Эр-Интер”. И я позвонил в аэропорт Орли, но мне сказали, что самолет в Лимож только что улетел и до завтрашнего рейса авиарейсов не будет. Впрочем, этого следовало ожидать. Слишком уж был я счастлив в тот день.

И я был снова подавлен, понимая, что нахожусь в полной зависимости от женщины, которую едва знал...

НАТАЛИ. Это ты обо мне?

ЖИЛЬ. Ну, конечно. Понимаешь, я оказался в зависимости от тебя как от женщины, которая только что клялась мне в любви и при первом же ударе грома бросила трубку. И я тогда подошел к хозяйке кафе.

– Чудесная погода? – сказал я ей.

– Пожалуй, слегка жарковато, – отозвалась она.

И я ухватился за эти ее слова:

– А вы боитесь грозы?

– Грозы? – рассмеялась она. – Да вы шутите! Налогов – вот чего мы боимся.

И, видимо, увидев на моем лице разочарование, хозяйка кафе, движимая природной добротой, а также тем непогрешимым чутьем, которым наделены хозяйки маленьких кафе, привыкшие с первого взгляда узнавать одиноких и несчастных и очень счастливых, добавила:

– А вот, возьмите, моя племянница, она родом из Морвана, там ведь грозы бывают ужасные, так она до сих пор никак не может привыкнуть к ним. Ничего не поделаешь: нервы...

– Да-да, – обрадовался я чему-то и стал дожидаться следующего дня уже легче, чтобы уехать в Лимож.

НАТАЛИ. Ну а все же как насчет Элоизы?

ЖИЛЬ. Я глянул в окно и увидел, что она пересекает улицу своей танцующей походкой. Я быстро окинул взглядом всю комнату: моя белая рубашка, легкий серый костюм на кровати. А ее этот ужасный плюшевый медведь – где он?.. Она вошла в комнату. “Ты голоден?” – спросила она меня. Тут-то я все ей и сказал: “Нет, Элоиза... я встретил другую женщину там, в деревне, и я и она – это мы”. Вот и все, Натали.

НАТАЛИ. И какие же были ее последние слова?

ЖИЛЬ. “Ты ее любишь?” – спросила меня Элоиза.

НАТАЛИ. Ну и что ты ответил?

ЖИЛЬ. “Да. По крайней мере, думаю, что люблю. И она меня любит”.

Я встал и прошелся по комнате. Она плакала. И самые последние ее слова были таковы: “Уйди, прошу тебя, Жиль, сейчас же уйди, завтра я уеду. А сейчас уйди, уходи”. С бешено бьющимся сердцем выскочил я на улицу. Все было кончено.

НАТАЛИ. А что Гарнье?

ЖИЛЬ. Гарнье сказал мне при встрече: “Я рад, что назначили именно вас”.

Мы сидели с ним в баре “Королевский мост”, бар помещается в подвале. Там вечно электрический свет. Гарнье при этом свете казался куда спокойнее, чем я, – седой, с мягким взглядом своих серых глаз. “Это место по праву принадлежит вам, – сказал он мне. – И я не хочу его у вас отнимать. Вы, конечно, тут ни при чем. Просто Фермона не устраивает мой моральный облик – в этом все дело”.

Помню, Гарнье рассмеялся, а я покраснел. “Видите ли, – сказал он, – потеряно все, кроме чести. Но, спасая репутацию, я потерял бы честь. Забавно, не правда ли?” “Что вы собираетесь делать?” – спросил я его. “Через полгода, когда мальчика выпустят из колонии, – сказал Гарнье, – он будет уже совершеннолетним”.

НАТАЛИ. И ты поставил все точки над i?

ЖИЛЬ. Да, Натали, и я вернулся сюда к тебе, в Лимузен. Мне осточертел этот Париж! Мне не хватало именно тебя, и вот я тут, во Вьерзоне, ты встречаешь меня на вокзале. Мы снова вместе.

НАТАЛИ. О, Жиль! Какое счастье, я ужасно соскучилась. Я люблю тебя, Жиль, я ужасно люблю.

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Особняк XVII века в центре Лиможа, принадлежащий одному из блюстителей правосудия Франсуа Сильвенеру. Окна выходят в сад. На верхней площадке лестницы стоят Натали и Франсуа Сильвенеры, принимая гостей.

Жиль целует руку Натали, пожимает руку Франсуа, останавливается в отдалении.

ЖИЛЬ (*в сторону*). "Она бросила на меня такой взгляд, как будто хотела сказать: "Все это для тебя, дорогой, для тебя".

Подходит высокий красивый молодой мужчина. Это Пьер Лакур – брат Натали.

ПЬЕР ЛАКУР (*Жилью*). А мы уж отчаялись вас увидеть. Вы совсем не появляетесь в обществе. Я везде вижу вашу сестру Одилию, а вас – нигде.

ЖИЛЬ. Я, действительно, не очень-то люблю бывать в обществе.

ПЬЕР ЛАКУР. Вам, наверно, скучно с нами, провинциалами?

ЖИЛЬ. Ну что вы! Я просто очень устал в Париже и приехал сюда отдохнуть.

ПЬЕР ЛАКУР (*вкрадчиво, беря Жилья под локоть*). Мне хотелось бы поговорить с вами... тет-а-тет... вы знаете, что я очень дружен со своей сестрой.

ЖИЛЬ. Да, знаю.

ПЬЕР ЛАКУР (*резко*). Натали вас любит, и я просто в отчаянии.

ЖИЛЬ. Почему?

ПЬЕР ЛАКУР. Вы не внушаете мне большого уважения, простите за откровенность.

ЖИЛЬ (*упавшим голосом*). Почему? Мы ведь с вами едва знакомы.

ПЬЕР ЛАКУР. Натали вас любит, и вы, по вашим словам, ее тоже. Что же делать? Быть может, вы думаете, что она – мешаночка, привыкшая к любовным похождениям? Что ей легко сейчас жить с ее мужем Франсуа?

ЖИЛЬ (*растерянно*). Она решила подождать до конца лета.

ПЬЕР ЛАКУР (*яростно*). Ничего она не решила! Она думает, что вы не уверены в себе, и не хочет принуждать вас. Уже целый месяц ее жизнь – сплошной кошмар, сделка с совестью. И все это – из-за вас... Я боюсь за Натали.

ЖИЛЬ. Почему?

ПЬЕР ЛАКУР. Потому что вы слабый, безвольный эгоист.

ЖИЛЬ (*сухо*). Все мужчины – эгоисты.

ПЬЕР ЛАКУР. Но не все мужчины так снисходительны к себе.

ЖИЛЬ (*глубоко вздохнув*). А что бы вы сделали на моем месте?

ПЬЕР ЛАКУР. Я никогда не буду на вашем месте! На вашем месте я давно уже увез бы ее отсюда.

Молчание. Только тяжелое дыхание обоих.

ЖИЛЬ. Но я люблю ее.

ПЬЕР ЛАКУР. Тогда позаботьтесь о ней.

ЖИЛЬ. Вы считаете, что я должен увезти ее? Но когда – завтра?

ПЬЕР ЛАКУР. Как можно скорее. Она слишком несчастна.

ЖИЛЬ (*решительно*). Так я и сделаю!

Пауза. Молчание.

ПЬЕР ЛАКУР. Сильвенер – порядочный человек. Она должна с ним расстаться прилично.

Пьер Лакур уходит. Замерев, Жиль Лантье стоит на лестничной площадке.

ЖИЛЬ. Натали – цельная, страстная натура. Она не может уйти прямо сейчас, вместе со мной. Это требует соответствующего оформления.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

ПАРИЖ. Парижская квартира Жюль Лантье. Звучит знакомая мелодия, исполняемая Джо Дассеном. Жюль вслушивается в нее, глядя в окно с видом на символ Парижа – Эйфелеву башню.

ЖИЛЬ. Да что же, наконец, там случилось – в этом Лиможе? Я жду ее вот уже три дня. Целых три дня! Натали, ты меня слышишь?

Мелодия Джо Дассена уплывает и замирает. Раздается резкий звонок в дверь.

ЖИЛЬ. Это она! Ну, конечно, она!

Вбегают Натали. Оставляет на полу чемодан, бросает пальто на спинку стула.

ЖИЛЬ (*обнимая ее*). Какое счастье, какое счастье! Ты приехала, Натали!

НАТАЛИ. Я же сказала тебе тогда там, в нашем лиможском доме, что приеду. Вот я и приехала.

Молча смотрит туда же – в окно, на Эйфелеву башню.

ЖИЛЬ. Что случилось, Натали?

Усаживает ее на стул, наливает вина.

НАТАЛИ. Просто я объяснилась с Франсуа. Он отвез меня на вокзал. В Париже я взяла такси, и вот я тут у тебя по адресу улица Дофина.

ЖИЛЬ. Ну и как он?

НАТАЛИ. Кто?

ЖИЛЬ. Франсуа. Как он ко всему этому отнесся?

НАТАЛИ. Тебе-то что? Мы с ним расстались, вот и все... Ах, Жиль, мой дорогой, как я люблю тебя!

Обнимает его, целует. Жиль берет ее в свои руки.

ЖИЛЬ. Какие холодные, просто ледяные. Тебе страшно? Тебе тяжело?

НАТАЛИ. Н-нет.

ЖИЛЬ. Но ты вся дрожишь, вот-вот готова заплакать... Давай посмотрим мое обиталище. Где нам с тобой предстоит жить... Видишь, я готовился к твоему приезду... Привратница прибрала все, я купил чаю, бумажных салфеток, сухариков и эту пластинку.

Натали рассеянно рассматривает квартиру. Жиль ставит пластинку, раздается знакомая мелодия Джо Дассена.

ЖИЛЬ. Это твоя мелодия, для тебя.

Берет на руки Натали, поворачивает ее лицом к себе.

ЖИЛЬ. Тебе нравится тут у меня?

НАТАЛИ. Ну, конечно. Здесь прелестно.

ЖИЛЬ (*вздыхнув, в сторону*). "Прелестно! Звучит как-то неискренне... Это меня доконает. Нет, она не любит меня. Все ее мысли остались там, в Лиможе. Она все же уедет обратно, она бросит меня".

Он отходит к окну долго всматривается в него.

НАТАЛИ. Жиль!

Она ложится на постель, она призывает его к себе.

ЖИЛЬ (*в сторону*). "Значит, пока остается". (*Вслух*). Ты звала меня, любимая?

НАТАЛИ (*протягивая его к себе*). Ближе, ближе.

Жиль опускается к ней.

ЖИЛЬ. Я так ждал эти три дня, целых три дня... так испугался... Ты никогда не уедешь от меня, нет?

НАТАЛИ. А куда?

ЖИЛЬ. Мне этого не перенести, я только сейчас это понял (*в сторону*). ...Я чувствую себя тут, даже дома, чужим, и что же? С таким же успехом мы могли бы встречаться где-нибудь в номере гостиницы как бесприютные любовники, о которых поет Пиаф. Но ведь мы с Натали соединили судьбы, мы у себя дома. Отчего же так щемит сердце?

Он прижимает к себе Натали. Гладит ее плечи, волосы. Она дышит ровно, спокойно.

ЖИЛЬ (в сторону, удивленно). "Она спит? Она устала. С дороги, от всего перенесенного".

Жиль ставит на столик бутылку шампанского, наливает два бокала – себе и ей. Чокается со вторым бокалом.

ЖИЛЬ. Клянусь! Никогда, никогда не причиню зла этой женщине!

И выпивает залпом оба бокала.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Ресторанчик на берегу Сены. Сидят трое – Натали, Жиль и Жан.

НАТАЛИ. Я уверена, что он рассказывал вам обо мне. Жиль не способен молчать. Единственный раз Жиль попробовал это сделать, когда речь зашла о вас, Жан. Тут-то я и поняла, что он вас любит.

ЖИЛЬ (улыбаясь). Ну хватит, довольно, довольно.

ЖАН. Ну что ж, я сейчас, вероятно, разочарую тебя, Жиль. Элоиза сделала умопомрачительную карьеру – стала любовницей фотографа номер один в журнале "Вот", и все у нее идет хорошо. Посмотрите на Жилия, Натали: он расстроен, да? Ха-ха, ему хотелось бы, чтобы женщины оплакивали его всю жизнь.

ЖИЛЬ (воскликнув). Да плевать мне!

ЖАН. На твоём месте я бы сказал то же самое.

Наклоняется и целует руки Натали, она улыбается ему благодарно.

ЖАН. Вот уже неделю, как ты, Натали, в Париже. Бродите с Жилем, небось, по пустым улицам, которые бывают в августе, в период летних отпусков. Спите вместе на широкой постели тут, на улице Дофина. И ни с кем не видите, вам никто не нужен, так? Когда пару часов назад я завернул к вам на огонек, мне показалось, что ты, Натали, ведешь себя дома как случайная гостья. Жилю самому пришлось доставать из серванта рюмки, из холодильника лед и тому подобное.

Опустив голову, Натали молчит. Жилю на это тоже нечего сказать.

ЖАН (продолжая). Есть предложение – отправиться в клуб. Натали уже побывала там? Нет? Вы, Натали, должны заглянуть туда, посмотреть, что вам сулит жизнь с таким шалопаем.

Натали идет решительно к зеркалу поправить прическу.

ЖАН (*разглядывая ее, грустно*). Хороша! Очень хороша! Она гораздо лучше тебя, Жиль, гораздо. Я говорю не только о внешности.

ЖИЛЬ (*суховато*). Спасибо.

Пауза.

ЖИЛЬ (*веселея*). Знаю-знаю, что скажешь. Постарайся ее сохранить, не доставлять страданий, не будь эгоистом.

ЖАН (*совершенно серьезно*). Да уж постарайся.

Друзья обмениваются сдержанными взглядами.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Ненавижу себя такого, каким увидел себя же в глазах Жана, не-на-вижу!” (*наигранно весело*). Ну что отправляемся в клуб?

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Клуб журналистов. Бар, столики, множество людей за столами. Входят Жиль Лантье и Жан, с ними Натали. “Эй, Жиль, друг мой, привет!”

ЖАН (*Жилю*). “Друг мой!” А ведь пару месяцев назад, Жиль, этот Пьер дал тебе по зубам.

ЖИЛЬ (*обращаясь к Натали*). Это Пьер Леру, а это – Натали, познакомьтесь... Да, мадам Сильвенер.

Натали густо краснеет.

Они проходят между столиками. Жиль знакомит Натали со своими приятелями и делает это раз пятнадцать. Мужчины хлопают его по плечу, девицы целомонно целуют.

ОДИН ИЗ ЗНАКОМЫХ. Так это вы похитили нашего бэби?

Это Гарнье – один из приятелей Жилия.

ГАРНЬЕ. Надеюсь, вы угостите меня виски?

ЖИЛЬ. Мы ничего не празднуем.

ГАРНЬЕ. Я уверен, мадам будет в восторге, если мы выпьем в честь ее появления в клубе.

Натали наливает виски себе и ему. Жиль взбешен.

ЖАН (*огорченно*). Жиль, если бы ты видел, какая у тебя сейчас постная физиономия!

Натали и Гарнье хохочут до слез, Жиль выдавливает из себя жалкую улыбку.

ЖИЛЬ (*в сторону*). "Оставить, что ли, этих двух идиотов и пойти напиться в компании старых друзей?" (*Вслух, наклонясь к Натали*). Почему бы тебе не потанцевать? Например, с Гарнье?

НАТАЛИ. Я не танцую. У нас не танцуют в ресторане, я приехала из провинции.

ГАРНЬЕ. Боже мой! И откуда?

НАТАЛИ. Из Лимузена.

ГАРНЬЕ. Ах, из Лимузена? Обожаю Лимузен. У меня там даже родственники. Значит, надо вспрыснуть. Жиль, выпьем за Лимузен! В Лимузене прекрасные виноградники. Выпьем же за прекрасные виноградники прекрасного Лимузена!

НАТАЛИ (*весело*). Выпьем.

ЖИЛЬ (*ворчливо*). Виноградники в Лимузене не так уж прекрасны.

ГАРНЬЕ. Выпьем за прекрасных женщин прекрасного Лимузена.

ЖИЛЬ (*ворчливо*). В Лимузене женщины не так уж прекрасны.

НАТАЛИ (*сдвигая брови*). Как не так уж прекрасны! Кто тебе это сказал?

ЖИЛЬ (*торопясь исправиться*). Да, не так прекрасны все женщины Лимузена, кроме тебя, Натали, моя дорогая, моя прекрасная, самая прекрасная из всех, о Натали!

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Комната в квартире Жюль Лантье. Натали просыпается, как бывает после изрядной выпивки. Однако старается выглядеть бодрой. Улыбаясь, смотрит на Жюль.

ЖИЛЬ. Ну, что? Наверно, Гарнье во сне видела?

НАТАЛИ. Он мне ужасно понравился, похож на большого пса.

ЖИЛЬ. На большого и пьяного пса. Кстати, вот не знал, что ты не прочь выпить.

НАТАЛИ (*смутившись*). Дело в том... в том... что мне было страшно. У меня был такой нелепый вид рядом с этими девицами.

Жюль смотрит на нее с изумлением.

НАТАЛИ. На мне было ужасно простенькое такое черное платье, нитка жемчуга. А они все прямо Дианы – охотницы. Тебе, наверно, было неловко со мной?

ЖИЛЬ (*негодую*). Ну, это уж слишком! Ты действительно думаешь, что я мог стыдиться тебя? И тебе было страшно? Приехав сюда, ты бросила вызов всему Лимузену, и здесь, в клубе моих друзей-алкоголиков, тебе стало страшно? Это смешно.

НАТАЛИ. Я боялась, тебе будет скучно со мной.

ЖИЛЬ. Но ведь с нами был Жан.

НАТАЛИ. Жан – твой друг. Ты можешь манипулировать им как угодно, он тебе все простит. Я даже подумала, не доставляют ли ему удовольствие твои дурацкие выходки?

ЖИЛЬ. Ты с ума сошла!

Задумавшись, Жиль сидит в каком-то оцепенении.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Действительно, если вспомнить мой очередной кризис, мои дикие и нелепые выходки. Жан успокаивал меня с какой-то снисходительной веселостью, как будто восхищался моими затеями, подливая масла в огонь. Однако смешно представить Жана в роли Мефистофеля”.

Жиль хохочет прямо в лицо Натали.

ЖИЛЬ. Ты все ставишь под вопрос. Хочешь перевернуть всю мою жизнь?

НАТАЛИ. С моей жизнью ты не очень-то церемонишься.

Она сидит, полузакрыв глаза и раскачиваясь.

ЖИЛЬ (*не то в шутку, не то всерьез*). Ты женщина суровая и жесткая. Ты ничего не боишься. Кроме того, ты пьяница. А кроме того, еще и бесстыдница. Надо познакомить тебя с Жильдой.

НАТАЛИ. С Элоизой?

ЖИЛЬ. Нет, с Жильдой.

НАТАЛИ (*оживившись*). А кто такая Жильда? Твое второе “я” – Жиль, да?

НАТАЛИ (*вспыхивая и продолжая игру*). О-о-о, Жиль! Все женщины могут быть развратницами. Но, когда любишь, это уже наслаждение.

ЖИЛЬ. Молчи, болтунья.

Жиль замирает, сидит какое-то время молча. Затем вскакивает и бежит к серванту, достает бутылку шампанского.

ЖИЛЬ. Послушай, Натали, хватит нам препираться! Давай-ка осушим с тобой по бокальчику. Три месяца назад я был в отчаянном положении. И вот у меня есть ты, Натали, через три дня я начинаю работать в новой должности. Весь мир принадлежит теперь мне. Послушай, запивать шампанским сосиски с капустой – сущий идиотизм... Может, нам сходить в кино – в соседний кинотеатр?

НАТАЛИ (*капризно*). Вот уже три дня я прошу сводить меня на какую-нибудь “интеллектуальную” пьесу.

ЖИЛЬ. Это же чистейший провинциализм! Да я несколько лет не был в театре. Терпеть не могу запланированные развлечения! Успеется, не на одну же неделю приехала ты в Париж.

НАТАЛИ. Но мне все это нравится по-настоящему, как ты это не понимаешь?

ЖИЛЬ. Вот попалась интеллектуалка.

НАТАЛИ. Я от тебя этого и не скрывала.

Натали затихает, молча смотрит в окно.

ЖИЛЬ *(в сторону)*. “Однако культура-то у нее куда шире и глубже, чем у тебя, Жиль. Разумеется, в провинции у тридцатилетней дамы достаточно времени для чтения”. *(Вслух)*. Детка, я же не очень интеллигентный человек. Принимай меня таким, каков я есть.

НАТАЛИ. Тебя ничто не интересует. Удивляюсь, как это тебя держат в газете.

Пожав плечами, Натали смеется. Но в тоне ее улавливается горькая нота.

ЖИЛЬ. Натали! Я просто обожаю, когда ты бранишь меня. Мне нравится ссориться с тобой, Натали.

Они поднимаются, снова ложатся в постель.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Вечер. Ужин в ресторане, на который Фермон, их патрон, пригласил Жюль Лантье вместе с Натали и Жаном. Первыми за столиком оказываются Жиль с Натали, они ждут остальных.

ЖИЛЬ *(разглядывая зал, в сторону)*. “Однако Натали не теряла времени в Париже. Она знает теперь такие улицы, кафе, картинные галереи, о которых ты, Жиль, никогда и не слышал. Когда она закончит изучение города, что она будет делать дальше? В клубе ей уже неинтересно. Исключение лишь для Гарнье. Впрочем, этот жирный болван...” *(Вслух)*. Не правда ли, Натали? Этот Гарнье ужасно начитан. Он не глуп, высказывает довольно тонкие суждения... когда трезв... Забавно, он, кажется, прямо-таки на глазах влюбляется в тебя?

НАТАЛИ *(откладывая в сторону меню)*. Конечно, Гарнье не Золя... однако... однако Гарнье никак не может найти проницательного профессора, который рискнул бы ради него тремястами миллионами франков. Просто чудо, что такой талантливый человек еще не озлобился.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Да, лодырь закоренелый, хронический алкоголик – этот твой Гарнье! Безуспешно прошел уже шесть курсов лечения. Десять лет как импотент во всех смыслах этого слова”.
(*Вслух*). Что-то нет ни патрона, ни Жана.

НАТАЛИ. Как всегда, начальство задерживается.

ЖИЛЬ. Вот уже лет пятнадцать мы с Жаном разговариваем через головы покорных, пленительных женщин. А тут вдруг появилась еще и умная, культурная женщина, вот он и ревнует... по-дружески...

НАТАЛИ. А Фермон?

ЖИЛЬ. Что Фермон?

НАТАЛИ. Это на него не похоже?

Наконец появляется Фермон – патрон Жюля и Жана, главный редактор газеты, ее издатель. Окидывает взгляд присутствующих, останавливается на Натали, по-видимому удивясь, что ужинать ему придется не с какой-нибудь юной кандидаткой в кинозвезды, а с женщиной, можно сказать, бальзаковского возраста.

ФЕРМОН. Прошу извинить за то, что я один, без супруги.

Откуда-то возникает Жан, подходит к их столику.

ЖАН. Ничего, шеф, я тоже в единственном числе. А это подружка Жюля, ее зовут...

НАТАЛИ. Меня зовут Натали, я из Лиможа.

ФЕРМОН. Ах, из Лимузена? Очень приятно.

НАТАЛИ (*одаривая нежной улыбкой Жюля*). Да, из Лиможа.

Фермон встает и церемонно целует ей руку.

ФЕРМОН (*снова усаживаясь и затеявая интеллектуальный разговор*). Положение у нас наитруднейшее, события противоречивы.

НАТАЛИ. Они всегда противоречивы.

ФЕРМОН (*напыщенно, декламируя*). Словом, пусть сердце разобьется или станет бронзой, как сказал Стендаль.

НАТАЛИ. Это Шамфор сказал.

ФЕРМОН. (*замирая, с вилкой в руке*). Простите?.. Весьма огорчен, но это сказал... Стендаль. Кажется, даже в “Пармской обители”.

ЖИЛЬ (*поспешно, бросая косой взгляд на Натали*). Во всяком случае, изречение замечательное.

ФЕРМОЙ (*повернувшись к Жюлю*). Как бы то ни было, я рад, что вы знакомы с молодой и образованной женщиной (*сладким, ехидным голосом*). Вы изменились.

ЖИЛЬ (*с поклоном*). Благодарю.

Натали слегка краснеет за него. Наступает молчание, все заняты суфле, поданным к столу.

НАТАЛИ (*дрожащим голосом*). Мне очень жаль. Если бы я знала, что вас может рассердить такая поправка к цитате, я бы промолчала.

ФЕРМОН (*с улыбкой*). Все, что исходит от хорошенькой женщины, не может меня рассердить.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “А я кончу рассылным в газете. Жан смотрит на все это с тайным восхищением. Но чем он восхищается – Фермону наконец-то утерли нос? Или тем, что Натали поставила меня в неловкое положение?”

Фермон поднимается из-за стола.

ФЕРМОН. Мадам, благодарю вас за приятное общество. Господа! И вас, Жиль, и вас Жан, за время, проведенное с удовольствием... К сожалению, у меня деловое свидание, и я вынужден вас покинуть. До свидания, господа.

Раскланивается и уходит. Пауза. Следом уходит и Жан. Натали и Жиль остаются вдвоем.

НАТАЛИ. Ты сердисься, Жиль? Но ведь от этого Фермона тоже можно сойти с ума. На редкость самодовольный тип.

ЖИЛЬ. Как-никак, а он кормит нас.

НАТАЛИ. Да, но это не дает ему права путать Шамфора со Стендалем. Да еще говорить с таким дурацким апломбом.

ЖИЛЬ. С дурацким или не с дурацким, но он мой патрон. И с этим тоже надо считаться. (*В сторону*) “Не противно ли говорить такие вещи, новоиспеченный заведующий международным отделом газеты? “Старый служака”, но уж ни в коем случае не находчивый и бойкий хроникер, которым хотелось бы быть”. (*Вслух*). Натали, ну почему ты не могла ему, в конце концов, подыграть?”

Говорит, не слушая, что она ему отвечает.

(*В сторону*). “Прекрасно же знает жизнь. Бывают ведь случаи, когда надо улыбаться, стараться понравиться – потом можно и похотать над собой, над своим мелким угодничеством”. (*Вслух*). При таком ремесле вставить в позу поборника истины, а уж упорствовать в этом – просто недобросовестно. (*В сторону*). “Почему всегда и во всем она вносит эту свою бескомпромиссность? Она просто испытывает ужас перед полумерами, хотя именно полумеры (тут уж ничего не попишешь) и дают человеку возможность жить спокойно”.

(Вслух). Ты меня предала, Натали.

Наконец до него доносится ее голос, ее слова, сказанные в ответ.

НАТАЛИ. Если бы я любила полумеры, меня бы здесь не было. Я жила бы в Лиможе и каждые две недели приезжала к тебе.

ЖИЛЬ (язвительно). Ты немножко путаешь чувства и эффектные выпады. Ты уехала из Лиможа сюда ко мне, потому что полюбила меня, потому что я люблю тебя и другого выбора у нас нет, не так ли?

НАТАЛИ (резко). Если бы я могла вынести самодовольную тупость этого человека, то я прекрасно могла бы вынести и свою прежнюю жизнь.

ЖИЛЬ (вскакивая). Короче! Ты весьма довольна своей ролью свободной женщины. Ты – женщина возвышенная, умная, случайно соединившая свою жизнь с этим несчастным писакой, существом слабохарактерным и совершенно не таким совершенным, как это представлялось тебе – женщине, чуткой и страстной, которая...

НАТАЛИ. Жиль! Ну, хватит, хватит!

Жиль берет ее за руки, смотрит в глаза.

ЖИЛЬ. Прости меня, милая, прости... Я виноват... В сущности, подло веду себя с тобой, дорогая. По целым дням оставляю одну в чужом, незнакомом городе, тащу ужинать с тупицами да еще упрекаю за них. Почему бы тебе не выйти за меня замуж? Натали, я уже десять раз предлагал тебе.

НАТАЛИ. Нет, и ради тебя.

ЖИЛЬ. Неужели? Я боюсь этого? Как буржуа своей буржуазности? Это глупо, не так. Тебе бы следовало сказать: "Я согласна". Развестись с мужем и тут же тащить любовника в мэрию. Бывают моменты, когда человека надо принудить, действуя в своих собственных интересах.

НАТАЛИ. Нет, я так не могу, Жиль.

ЖИЛЬ. О, Натали! Именно за это я так тебя люблю.

Натали встает из-за столика и закуривает.

НАТАЛИ. Идем домой, дорогой... Поздно уже... Я так люблю нашу квартиру, нашу комнату, нашу широкую постель, из-за необозримых пространств которой у нас никогда не возникает никаких сложностей. В эту ночь, мой дорогой, я обещаю тебе еще больше страсти и нежности, чем во все наши прошлые ночи.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Париж. Елисейские поля. Уголок улицы, у бистро четверо – Жиль с Натали, ее давняя подруга из Лимузена и ее муж Роше.

ПОДРУГА. Ну что, по рюмочке коньяку?

ЖИЛЬ (*в сторону, в бешенстве*). “Да хоть сто рюмочек! Париж велик, а встретились, как в Лиможе, прямо на улице. Она – подруга Натали еще по своей провинции, а муж ее – какой-то тут небольшой промышленник, кажется, крикун и жуир. По-моему, это Натали организовала встречу”. (*Вслух*). Верно, Роше, налоги всегда опережают наши доходы.

РОШЕ. Поверьте своему другу Роше – я вас буду называть просто Жиль, не возражаете? Поверьте, мы с вами найдем общий язык. На меня театры тоже нагоняют сон. А супруга не реже одного раза в месяц таскает меня в театр.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Ну вот и нашлось что-то общее”. (*Вслух*). Бедные-бедные мужья.

РОШЕ. Конечно, телевизор не бог весть что, я согласен с вами, но иной раз там показывают интересные штучки. Сидишь себе дома, попиваешь винцо. В театре же изволь платить бешенные деньги, чтобы изнывать от скуки. Верно?

ЖИЛЬ (*твердо*). Нет, театр я люблю, даже очень. А коньячку можно... по рюмочке.

НАТАЛИ (*отвлекаясь от разговора с подругой и обращаясь к Жилью*). О чем это вы говорите?

ЖИЛЬ. О театре. Вот Роше предпочитает телевизор.

ПОДРУГА. Мне безумно трудно бывает вытащить его из дому. Но у нас заключен договор: раз в месяц я насильно веду его в театр.

ЖИЛЬ. Мы тоже, вероятно, придем к этому, да, Натали?

Натали молча смотрит вдоль улицы, множество идущих людей.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “У нее в Париже никаких знакомств, кроме этой злополучной подруги с ее скудоумным мужем”.

Берет за руки Натали, она отвечает ему благодарным взглядом.

ПОДРУГА. Надо поторапливаться, дела... Вы и представить себе не можете, как я рада, что Натали в Париже. Надеюсь, мы будем встречаться.

НАТАЛИ. Конечно, конечно.

ЖИЛЬ. Разумеется. Будем ходить на “вестерны”.

РОШЕ (*сокрушенно*). А по телевизору как раз сегодня “вестерн”. В следующий раз, дружище, мы с вами останемся дома, проведем вечерок по-холостяцки, а жен отпустим в театр, пусть смотрят свои драмы.

Подруга вместе с мужем уходят. Натали внимательно смотрит на Жиля.

НАТАЛИ. Ты ужасно скучал, правда?

ЖИЛЬ. Да нет, пьеса хорошая.

НАТАЛИ. А знаешь, по молодости она, подруга моя, была славная, такая милая, такая романтическая.

ЖИЛЬ. В ней есть обаяние. Только вышла замуж за такого типа.

НАТАЛИ. Да, жаль.

ЖИЛЬ (*обнимая ее*). Знаешь, Натали, я очень люблю тебя.

Натали не отвечает ему, лишь крепко сжимает руку. Вдруг он видит на улице женщину, кричит ей, машет рукой. Женщина замечает их, подходит к ним вместе с каким-то рослым подвыпившим парнем.

ЖИЛЬ (*на нее*). Это Элоиза, Натали, знакомьтесь... Элоиза, а это кто? (*на парня*).

ЭЛОИЗА. А, один американец, тоже журналист.

АМЕРИКАНЕЦ (*тыкая пальцем то в грудь Элоизы, то в грудь Жиля*). Как это... прежде знакомы... любовники, да? А теперь она есть одна?

ЖИЛЬ (*показывая на Натали*). Я люблю эту даму.

Американец наливает из бутылки большой стакан виски себе и такой же стакан Жилю. Выпивают.

АМЕРИКАНЕЦ. Шотландское виски, а мадам (*показывая пальцем на Натали*) – французская, ха-ха-ха.

НАТАЛИ. Очень остроумно.

ЖИЛЬ (*приблизившись к Элоизе*). А духи твои прежние, привязанностей не меняешь?

ЭЛОИЗА (*на Натали*). Очередная веха на твоём пути? Ну и как с ней насчет всего прочее?

ЖИЛЬ. Какая бесстыдница! Не могу же тут я тебе все это выложить.

ЭЛОИЗА. А почему бы и нет?

Натали стоит рядом, но напротив американца. Тот пытается с ней поговорить, но у него с ней ничего не получается. Натали молчит, потупясь.

ЭЛОИЗА (*Жилю*). Твоей Натали. кажется, невесело.

ЖИЛЬ. Твой дружок прямолинеен, как бык.

ЭЛОИЗА (*смеясь*). Он очень славный.

ЖИЛЬ (*расслабься*). Скажи, Элоиза, что ты счастлива с ним.

ЭЛОИЗА (*сухо*). Если тебе это доставит удовольствие, пожалуйста.

АМЕРИКАНЕЦ (*толкая Жиля*). Как это... еще раз?

Наливает еще по стакану виски. Выпивают.

НАТАЛИ (*Жилю*). Ты не устал?

ЖИЛЬ (*заплетающимся языком*). Н-нет, н-не зн-наю. Почему вы не танцуете? Все танцуют вокруг, весь Париж. Что – сегодня праздник какой-нибудь? День взятия Бастилии?

АМЕРИКАНЕЦ. Ах, Бастилия? Бастилия – это не есть свобода, нет!

НАТАЛИ (*беря под руку Жиля*). Все, едем домой.

ЖИЛЬ. Я тебя люблю, Натали.

АМЕРИКАНЕЦ. Натали! Я тоже люблю. Я хочу... как это... чтобы ты замуж за меня...

НАТАЛИ. Элоиза, забери своего придурка, мы уезжаем.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Квартира Жиля Лантье. Входит сам Жиль, на пороге его встречает Натали.

НАТАЛИ (*радостно*). Угадай, кто у нас!

ЖИЛЬ (*заглядывая ей за спину*). Кто это? Ах, Пьер?

НАТАЛИ (*падая от смеха на кресло*). А ты думал кто – этот Уолтер? Ну, вчерашний американец. Я как раз рассказывала про него Пьеру.

ЖИЛЬ. Когда вы, Пьер, приехали из Лиможа? Как вы находите свою сестру?

ПЬЕР. Сегодня утром. Мне очень захотелось увидеть Натали. Писем от нее мне недостаточно.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Интересно, что она могла писать брату? Я счастлива... я скучаю.. Жиль очень хороший... Жиль не очень хороший...” (*Вслух*). Я вижу, вам тут и выпить-то нечего, Натали совсем не хозяйка.

ПЬЕР. Натали всюду чувствует себя гостьей, тут уж ничего не поделаешь.

Натали бежит к холодильнику, мужчины остаются одни.

ПЬЕР. Судя по ее виду, моя сестра счастлива.

ЖИЛЬ (*в сторону*). "Говорит спокойно, а в голосе угрожающие нотки. Как в тот знаменательный вечер в Лиможе, когда он выступал в роли "благодарного брата". (*Вслух*). Надеюсь, Натали действительно счастлива.

ПЬЕР. Буду очень рад, если ошибся в своих опасениях. Как мне без нее тоскливо в Лиможе!

ЖИЛЬ. Искренне огорчен за вас. Но без нее мне было бы не менее тоскливо в Париже.

ПЬЕР. В сущности, вот это мне и хотелось узнать.

ЖИЛЬ. Разве она вам не писала об этом?

ПЬЕР. Натали не любит распространяться о своих чувствах.

Входит Натали, не очень умело держа поднос прямо перед собой.

ЖИЛЬ (*в сторону*). "Как они близки друг к другу – брат и сестра! А вот у тебя с Одилией никогда не было такой близости... Ох, видать, вчера перепил. Таким что-то я себя не люблю. (*Вслух*). Почему бы вам не поужинать где-нибудь вместе? А я лег бы пораньше, что-то расклеился – многовато выпил вчера.

НАТАЛИ. А тебе не будет скучно?

ПЬЕР. Вы, правда, не против?

НАТАЛИ. Да, Жиль, ты не против?

ЖИЛЬ. Ну, конечно, моя сумасбродка. Ступайте, поужинайте без меня, поговорите наедине. Если я еще не засну к вашему возвращению, мы вместе выпьем по чашечке липового чаю.

Натали и Пьер собираются и уходят. Жиль остается один. Включает и выключает телевизор. Достает из холодильника и ест ветчину. Ставит на столик бутылку минеральной воды, кладет сигареты, берет детектив и ложится на диван.

ЖИЛЬ. Нет, что ни говорите, человеку не мешает побыть в одиночестве – это тоже имеет свою прелесть. Ты одинок, ты добрый, одинокий волк... ты волк одинокий...

Засыпает. Книга валится из рук Жилья. Он спит, не погасив света. Наплывает мелодия Джо Дассена.

Появляется Натали, садится в кресло напротив спящего. Долго и пристально всматривается в Жилья. Почувствовав этот взгляд, он просыпается.

ЖИЛЬ (*зевая*). А где же Пьер?

НАТАЛИ. Отправился в свой Лимож.

ЖИЛЬ. Как, уже?

НАТАЛИ. Говорит, ему достаточно было увидеть меня, чтобы успокоиться и здесь, в Париже, почувствовать снова любовь к своему Лимузену.

ЖИЛЬ. Послушай, это правда? Вчера ты сказала мне, что подыскала очень хорошее место с приличной оплатой. Конечно, это существенно для нашего бюджета. Однако забавно вообразить тебя за конторским столом... Разве ты уже успела осмотреть все музеи Парижа?

НАТАЛИ. Целыми днями я ничего не делаю, так совсем отупеешь.

ЖИЛЬ. А что ты делала в Лиможе?

НАТАЛИ. В Лиможе у меня было благотворительное общество.

ЖИЛЬ. Ты сумасшедшая!

НАТАЛИ. Это только кажется нелепым, но многим я помогала.

ЖИЛЬ *(все еще смеясь)*. Ты – в роли дамы-благотворительницы, нет, каково?! Ты же бывала все время со мной.

НАТАЛИ. Это было летом, а для бедняков самое тяжелое время – зима.

ЖИЛЬ. Если я тебя правильно понял, стоило мне приехать к сестре зимой, и мы бы с тобой не встретились?

НАТАЛИ. И все же в агентстве работать приятно. Да и директор – человек очаровательный, приятель Пьера. Я буду разрабатывать маршруты и отправлять туристов в Перу, Индию, Нью-Йорк...

ЖИЛЬ *(в сторону)*. “Ну да, я транжирю деньги, трачу их невесть куда, а Натали приходится работать. И если она еще может где-то бывать и одеваться, то это оттого, что ежемесячно получает из своего Лиможа сто тысяч по какой-то старой семейной ренте”. *(Вслух)*. К Рождеству я купил тебе прелестную старинную брошь, а ты ее не надеваешь.

НАТАЛИ. Мы же за нее еще не расплатились.

ЖИЛЬ *(пропуская мимо ушей)*. Туристическое агентство не лучший выбор.

НАТАЛИ. Если тебя это неприятно, я могу отказаться.

ЖИЛЬ *(вздыхнув)*. Делай, как хочешь. Кстати, о путешествиях. Этот американец еще не вернулся из своей поездки вокруг земного шара? По-моему, он просто нахал – забросал тебя письмами и открытками, посылает их, наверно, почти из каждой точки планеты.

НАТАЛИ *(целует в шею Жилья)*. Я обожаю тебя, а не его виды Гонконга и Новой Зеландии. Кстати, Гарнье все еще ждет выхода из тюрьмы-колонии своего юного друга?

ЖИЛЬ. Гарнье все больше перекладывает работы на мои плечи. А заодно и заботы о моем доме. Вчера прихожу, а он опять тут с тобой, просиживает часами. Станный у тебя вкус, Натали.

В компании пьяниц и развратников ты становишься оживленной веселой, тогда как общество интеллигентного Жана тебя тяготит.

НАТАЛИ. Ты не понимаешь, у Гарнье есть шарм – что-то непосредственное, искреннее, и это мне нравится.

Жиль сидит какое-то время молча, переваривая сказанное.

ЖИЛЬ (*тряхнув головой*). Во всем мире люди сходят с ума – войны, горячие точки. Между работниками газеты идут все более яростные споры, вроде не из-за чего.

НАТАЛИ. Конкуренция, и все более жесткая. Вот сижу внизу, ожидая тебя часа по два, и чувствую гнетущую атмосферу.

ЖИЛЬ (*властно*). А не сиди, не приходи в редакцию. Давай встречаться лишь дома... Вчера, к примеру, ну ж был денек! Этот ужасный, мерзкий Тома перешел все границы подлости. А Фермон вызвал меня к себе и устроил разнос, найдя статьи мои чересчур “академичными”. По его мнению, в них отсутствует сенсация, которая нравится читателям... Но зачем, Натали, тебе все это знать?

НАТАЛИ. Не находишь ли, что сами факты, сама действительность достаточно взвинчивают читателя?

ЖИЛЬ. Действительно, как о этом я не подумал? Надо было так и сказать Фермону. А я сказал, что тема должна увлечь и взвинтить.

НАТАЛИ. И получил от Фермона хорошую трепку?

ЖИЛЬ. Ну да. Неужели цифры недостаточно красноречивы? Короче, я вышел от Фермона в бешенстве. Зайдя в кабинет Жана, обнаружил там бутылку шотландского виски и налил себе полный стакан, но, выпив, не почувствовал облегчения. До того осточертела эта проклятая газета! Будешь прозябать тут всю свою жизнь, пока этот Фермон совсем не выживет из ума и не сведет тебя в могилу.

НАТАЛИ. Да, ничего себе перспективка.

ЖИЛЬ (*все более распляясь*). Далее так: Жиль Лантье постареет, Натали превратится в истинную провинциалку, может быть, мы даже поженимся, у нас пойдут дети, мы купим себе благоустроенную ферму. И твой Жиль, твой дорогой Жиль, жаждущий объездить весь мир, способный на любую крайность, загубит свою жизнь под игом и любовницы... Да не хочу я, чтобы меня осуждали, прощали, заковывали, ставили в какие бы то ни были рамки – будь то профессия или область чувств! Хочу быть одиноким, свободным, как раньше...

*Жиль вскакивает с постели, одевается и уходит.
Натали остается одна.*

Тускло горит ночничок. Натали сидит одна, согнувшись, тупо смотрит в журнал. Голова ее никнет все ниже, ниже.

НАТАЛИ (*поднимаясь и глядя в окно*). А вот и рассвет, скоро утро. А Жилья все нет. Где он, "благородный любовник", что с ним? Не хватает, чтобы он влип в какое-нибудь нехорошее дельце.

Наконец раздается звонок в дверь. Пошатываясь, вваливается Жиль. Он без плаща.

ЖИЛЬ. Где был? Не помню. В каких-то ночных кабаках на Монмартре. Вытворял какие-то глупости на правом берегу Сены. Кажется, даже подрался с кем-то, перед глазами маячит физиономия полицейского... надо же, как хочется пить... смертельно хочется пить...

Натали наливает ему воды прямо из крана.

ЖИЛЬ. Это мило с твоей стороны, очень мило... так шумит в голове, не болит даже... Что же все-таки я натворил? Ты не помнишь?

НАТАЛИ. Что с тобой, Жиль?

ЖИЛЬ. Ах да, тебя со мной не было. Там, около Бульваров. Я кому-то должен пять косых, а кому?.. Сколько времени?

НАТАЛИ. Шестой час. Ты ложись, ложись.

Не раздеваясь, Жиль валится на постель прямо в обуви и тут же засыпает. Слышится его богатырский храп. Натали, как и прежде, сидит, склонив голову, молча и одиноко.

НАТАЛИ (*встряхнувшись*). Вот не знала-то, что он окажется еще и пьяницей. В прошлый раз вообще дома не ночевал... еще и беспутный... перепутал, наверное, адреса.

Светает. Натали пересаживается в кресло. Сидит теперь напротив Жилья.

Жиль просыпается и видит Натали, сидящую в кресле, прямо перед собой.

ЖИЛЬ (*вздохнув*). Я напился.

Она не отвечает.

ЖИЛЬ. У тебя темные круги под глазами, прости... Сколько тебе лет? И где брошь, почему нет броши?.. Я вчера заходил в агентство, но тебя там не оказалось... Ах да, говорю глупости, не то, совсем не то, правда? Ты обо мне беспокоилась?

НАТАЛИ (*после паузы*). Беспокоилась? Н-нет!

И отвечает Жилью одну за другой две увесистые пощечины.

НАТАЛИ (*уходя внешне спокойно*). Иду варить кофе.

Возвращается с чашечкой кофе.

НАТАЛИ. Ты где шатался вчера целый день? Гарнье искал тебя, Жан звонил, тебя не было ни в редакции, ни в клубе. Ты был у этой своей Элоизы?

ЖИЛЬ (*засмеявшись*). Это забавно, меня ревнуют, значит, любят.

НАТАЛИ. Гарнье посоветовал мне привыкать.

ЖИЛЬ. А Жан?

НАТАЛИ. Перестань паясничать!

ЖИЛЬ. Всякий может разок-другой напиться.

НАТАЛИ. Этот “всякий” мог бы позвонить по телефону и сказать: “Я пьянствую, будь спокойна”.

ЖИЛЬ. Это испортило бы тебе от жизни все удовольствие.

НАТАЛИ. Вот кофе. Пей... Прекрасно. Я ухожу в агентство.

Жиль пьет, потом разворачивает газету, но, не читая ее, бросает. Натали надевает плащ и уходит. Звонит телефон, Жиль бросается к аппарату.

ЖИЛЬ. Ах, это ты, Жан? Да, старина, я один... Ушла. Куда? Да в свое агентство... Как прошло возвращение? Да неплохо, в общем. Две оплеухи. С одной руки по обеим щекам... Профессионально, говоришь? А твоя как? Никогда в жизни?.. Не верю. Не может быть... Почему? Потому что не может этого быть.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Та же комната в парижской квартире Жюль Лантье. Жиль в одиночестве, тоскливо смотрит в окно с видом на Эйфелеву башню.

ЖИЛЬ (*самому себе*). Вот и настал день, когда Натали понадобилось съездить в Лимож. Тетя Матильда, которая присылала ей ежемесячно сто тысяч, находится при смерти, зовет племянницу. Натали остановится у брата, побудет там с недельку и возвратится как можно скорее... Все как положено. Ты проводил Натали на Аустерлицкий вокзал, простился долгим поцелуем, посмотрел в спину, как она проходит по коридору вагона. Все как прежде. Однако в наших отношениях появилась трещина. Из-за чего?..

И вот, проводив, ты выходишь на привокзальную площадь, перед тобой простирается город – огромный и тоже весь в трещинах, как фотография лунной поверхности, город как раз для тебя. В тебе еще звучат слова, сказанные Натали при прощании:

“Ты заявляешь, что тебе ненавистны нелепицы, свойственные нашему веку, а сам в нем как рыба в воде. Ты выключаешь у себя телевизор, выключаешь радио, потому что тебе нравится их выключать. Этим ты выделяешься”.

– А ты? – ответил я ей. – Ты, Натали, в каком веке хотела бы жить?”

Ответ ее незамедлителен:

– Я? В том, в котором можно восхищаться.

Восхищаться, но чем, но кем? Женщина должна восхищаться только мужчиной, который рядом, тогда у нее не будет глупой рассудочности, детской тоски по несбыточному.

Отчего же все-таки появилась трещина в отношениях? Сам того не ведая, ты ждешь от нее какой-нибудь низости или пошлости, чтобы поставить ее на один уровень. Неужели та моя ночная пьянка доказывает, что Натали выше меня? Скорее всего, наши расхождения – неизбежная расплата за шесть месяцев прожитой вместе жизни. Чем же Натали лучше меня? Да и бывает ли один лучше другого в любовных отношениях? Однако смеется она теперь реже, худеет, в нашей физической близости появилось что-то неистовое, нарочито яростное, словно каждый с избытком готов утолить страсть за счет другого, подчинить его своей воле, своему наслаждению. Но что могут доказать эти вскрикивания, эти стоны, эти вздрагивания в объятьях? Плотского влечения, оказывается, недостаточно, прежней близости нет, никогда еще в любви ты не находил так мало радости.

Аустерлицкий вокзал – тот самый вокзал, откуда и ты, Жиль, давно ли, уезжал в Лимож к сестре зализывать раны, а возвратился влюбленным, связав себя с Натали. Она проезжает сейчас, сию минуту, мост через Луару, смотрит из окна, как бегут в воде облака. Ты тоже тогда смотрел, тоже видел в реке облака. .. Тогда, в мае, осознавая свою любовь, ты еще не вполне понимал, что тебя ожидает... Как она бросилась тогда навстречу тебе! Она убежала со званого вечера, чтобы встретить тебя на перроне!.. Тебе, Жиль, нравится история вашей любви, действительно, есть что вспомнить. И как это страстная, безрассудная, не знавшая меры и в то же время такая благовоспитанная женщина могла влюбиться в меня?... Ах, луга Лимузена, ах, трава, прогретая солнцем, дно прозрачной реки и ладонь Натали на моем затылке и та махонькая каморка, где мы соединились в первый раз... и душная комната под раскаленной крышей родительского дома... и коктейли Флорана...

Откровенно сказать, ты не хотел, чтобы она уезжала. Если бы по какой-нибудь фантастической причине вдруг что-то случилось где-нибудь, например под Орлеаном, и ей бы пришлось вернуться, ты, Жиль, был бы этому только рад. Однако в одно время тебе хотелось, чтобы поезд отошел, чтобы она уехала, и побыстрее. В тебе живут противоречивые чувства, несчастный безумец, которому неизвестно, что еще надо, кроме твоей дурацкой, ничтожной, никчемной свободы.

Прямо с вокзала ты тогда отправился в клуб. Приятели устроили тебе торжественный прием, какой обычно устраивают вырвавшимся на свободу. "А! Вот и Жиль!.. Браво, Жиль!" Так крепка у них сила привычки видеть тебя одиноким; пожалуй, лет пятнадцать ты играешь эту роль одинокого человека. Правда, иногда тебя сопровождала женщина, но такая, какую можно было всегда оставить где угодно и с кем угодно... Как, например, Элоиза...

Он сидит какое-то время в оцепенении.

ЖИЛЬ (*продолжая*). Ах, Натали! Ты, вероятно, уже в Лимузене, у своего брата Пьера. Только что приехала с вокзала... Сейчас мы тебе позвоним...

Берет телефонную трубку, набирает номер.

ЖИЛЬ (*обрадованно*). Это ты? Нежно целую... Да, дома я, дома. Включил классическую музыку, как раз слушаю Моцарта... Слушай, без тебя постель широка... Сейчас лягу, завтра много работы... Думаю о тебе. Спокойной ночи.

Жиль вешает трубку. Позевывая, снимает галстук.

ЖИЛЬ. Как будто мы с ней женаты лет десять. Завтра, Жиль, ты проснешься в хорошей форме, будешь работать, как одержимый, и ждать, когда вернется твоя возлюбленная.

Подходит к зеркалу, смотрит на себя. Улыбается – хмурится, хмурится – улыбается. Схватывает куртку, бросается к двери.

ЖИЛЬ. Ну, мы так и думали! Не люблю спать один!

Та же комната. Рассвет. Входит Жиль – по привычке осторожно, на цыпочках.

ЖИЛЬ. А чего на цыпочках-то? Я же один, и в комнате никого.

Тут же раздается телефонный звонок. Жиль снимает трубку.

ЖИЛЬ. Ах, это ты, Натали? Где я был? Крепко спал... А ты позвонила еще раз? Но я уже не подошел к телефону, и ты подумала бог знает что... Позабыла напомнить, чтобы я взял из чистки свой синий костюм? Спасибо, возьму...

Ну да, ты сразу догадалась, что мне захотелось повидаться с друзьями... Зачем я выкинул с тобой этот номер? Зачем говорил о широкой постели, о музыке?.. Но я же искренне думал так и говорил искренне... А потом вдруг решил пойти в клуб... Выпил в клубе с Жаном и через час уже был дома... Да-да, целую и обнимаю...

Жиль яростно кладет трубку.

ЖИЛЬ. Мало того, что ради тебя даже не подкатился ни к той, правда, вульгарной злюке, ни к очаровательной Катрин – этой обольстительной блондиночке... Вел себя как ангел, но все равно получил нахлобучку. Будто я только и делаю, что лгу.

Жиль закуривает сигарету, начинает расхаживать по комнате.

ЖИЛЬ (в пустоту, прямо перед собой). Натали! Я люблю тебя.

И тут же опять раздается звонок.

ЖИЛЬ (обрадованно). Это ты, Натали? Ты услышала меня? Я только что сказал: “Я люблю тебя”... Ах, ты тоже? И тоже целуешь? И я тебя тоже целую. Люблю.

Снова вешает трубку, но теперь уже мягче, спокойнее.

ЖИЛЬ. Она вернется через неделю, и я буду держать ее в объятьях. Буду прижимать к себе теплое, живое тело Натали. И буду сидеть с ней дома или ходить по театрам, раз она любит театр. Ходить по концертам, раз она любит музыку... Хотя, конечно, лежа на ковре, предпочитаю послушать хорошую пластинку...

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Париж. Юго-западный вокзал. Перрон. Толпа движется с только что пришедшего поезда. На перроне Жиль Лантье. Он ждет кого-то. Возникает и наплывает издали знакомая мелодия “Аве Марии” Джо Дассена.

Увидев Натали еще издали, он радостно машет рукой.

ЖИЛЬ (в сторону). “Какова толпа этих дам-провинциалок, хотя бы и внешне. Юбка чуть длиннее моды, черный – траурный

платочек на голове... Идет дождь, и все равно Натали как яркое пятно среди всех... О Натали!"

Он делает шаг к ней, и она бросается к нему в объятия.

ЖИЛЬ (*вслух*). О Натали!

НАТАЛИ. Жиль! Это ты?

Отстранясь, радостно улыбаются друг другу.

ЖИЛЬ. Это я, конечно. Ну кто же еще, Натали?

НАТАЛИ. Да, именно ты.

Она тянется вся к нему, смотрит на него снизу вверх.

ЖИЛЬ (*в сторону*). "Лицо немного припухло, небрежно покрасилась – что ж, вполне естественно в нынешнем положении".

Жиль берет ее под руку.

ЖИЛЬ. Я купил жареную курицу, поужинаем дома. Ты выехала сразу после похорон?

НАТАЛИ. Да, конечно.

ЖИЛЬ. Честные люди не бросали в тебя камнями на улице?

НАТАЛИ. Нет.

ЖИЛЬ. Я купил тебе новую пластинку – это Гайдн, родоначальник симфонии.

НАТАЛИ. О Жиль! Я люблю тебя... Что новенького в Париже?

ЖИЛЬ. Да ничего особого. Ты читала газеты?

НАТАЛИ (*улыбаясь*). А ты?

ЖИЛЬ. Много работал. Пожалуй, выпивал лишнего. Вот и все (*в сторону*). "Кроме того, что, пьяный, сунулся провожать Катрин, но потерпел фиаско". (*Вслух*). Ну а ты? Видела Франсуа?

НАТАЛИ. Да. Он специально приезжал к Пьеру.

ЖИЛЬ. Зачем?

НАТАЛИ. Уговаривал вернуться. Мне кажется, он тоскует.

ЖИЛЬ. Провинция переменялась... (*в сторону*). "Все хотят отнять у меня эту женщину. Не допуская даже мысли о том, что она меня любит". (*Вслух*). И что ты сказала ему?

НАТАЛИ. Кому?

ЖИЛЬ. Франсуа.

НАТАЛИ. Что люблю тебя. Что же еще?

ЖИЛЬ (*в сторону*). "Ее окружали там знакомые лица, и она, как Анна Каренина, утратила свою гордость".

НАТАЛИ. Я так устала.

ЖИЛЬ (*в сторону*). “Чего же ты злишься? Она бросила все ради меня, и она вот здесь”.

НАТАЛИ. Я видела и твою сестру, и Флорана. Они жаловались, что от тебя нет вестей. Ты бы им написал.

ЖИЛЬ. Завтра же сяду и напишу (*в сторону*). “Господи, у меня, кажется, дрожит голос, даже руки”. (*Вслух, обеспокоенно*). Ты вся дрожишь, тебя всю колотит, что с тобой?

НАТАЛИ (*трясаясь*). Ты с кем-то встречался, ты меня не любишь, как прежде.

ЖИЛЬ. Тебе надо лечь спать пораньше, ты совсем извелась.

НАТАЛИ (*прислонясь к нему*). Да, конечно.

ЖИЛЬ. В конце концов, все наладится. Все будет у нас с тобой хорошо.

КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

Все та же комната в квартире Жана Лантье. Звучит знакомая мелодия Джо Дассена. Наплывая откуда-то, перебивая Моцарта, Гайдна, она звучит и звучит, хотя и с перерывами, на протяжении всей картины. Как тема ее – Натали.

Натали одна в комнате.

НАТАЛИ (*приподнимаясь с постели*). У меня ничего не осталось, кроме этого (*на музыку, оглядывая комнату*). А там я сожгла последние мосты. Брат замучил мольбами, муж поставил ультиматум... Ах, Жиль! Я вижу твои слезы даже во тьме ночи. Никто в Лимузене не доверяет тебе, даже твоя родная сестра. Одилия отозвала меня в сторону и, набравшись смелости, спросила все же, счастливая ли я с тобой?.. Мне там больше нечего делать... А тут? Весна. Апрель опушил зеленью Елисейские поля, и все живет, как и жило...

Жиль успел сказать, что Фермон похвалил его за хорошую статью о Греции – сжато, страстно и четко. И друзья поздравили с удачей. И это для него, кажется, самое главное... Ну, утро вечера мудренее...

Она ложится и укрывается с головой, отделяя себя от всего мира.

Утро. Звонок к двери – появляется Жан. Жан усаживается поудобнее в кресло напротив Жилья, не замечая спящей в уголке под одеялами Натали. Жиль тоже, кажется, забыл о ней.

ЖАН (*потирая руки*). Давненько я не бывал у тебя.

ЖИЛЬ. Давненько.

ЖАН. Знаю-знаю, дружище. Страсть – это страсть. Это лучшее из

всего, что с тобой могло только случиться. В особенности страсть к такой женщине, как Натали.

ЖИЛЬ (*приглушив голос*). Видишь ли, когда я с ней познакомился... ну, ты помнишь, конечно... с меня словно кожу содрали. Она положила меня на пуховую подушку, согрела, вернула к жизни... (*еще тише*). Теперь эта подушка давит мне на лицо, душит. Все, что я любил в ней, что поддерживало меня – ее властность, цельность... все теперь против нее...

ЖАН. Ты – вялый и неустойчивый.

ЖИЛЬ. Может быть. Но я бы дорого отдал, чтобы, как и прежде, быть одиноким.

ЖАН. Может, тебе следует объяснить все это ей?

*Натали неожиданно поднимается, встает с постели:
"Доброе утро!"*

Жиль вздрагивает, что-то бормочет. Друзья совершенно растеряны, Натали спокойна, бледна.

НАТАЛИ. Агентство сегодня закрыто, и я осталась, решила поспать подольше.

ЖИЛЬ (*в отчаянье*). Так ты спала?

НАТАЛИ (*совершенно спокойно*). Сейчас я покину вас, не буду мешать вам, друзья, мне надо купить кое-что.

Одевшись, она уходит. Они медленно опускаются в кресла.

ЖИЛЬ. О, дьявольщина! Кажется, она все слышала!

ЖАН. Не думаю.

ЖИЛЬ. Это ужасно.

ЖАН. Ничего, успокойся.

ЖИЛЬ. Ты посиди тут, а я пойду поищу ее.

Звучит мелодия Джо Дассена, затем Моцарта, Гайдна. Жан сидит в кресле, вяло листает журнал. Появляется Жиль.

ЖИЛЬ. Она не приходила?

ЖАН. Нет.

ЖИЛЬ. Взял такси, объездил все места, где она может быть. Побывал на вокзале... ее нигде нет, нигде... Чем я провинился перед ней, чем?

Они сидят в креслах и ждут Натали.

ЖИЛЬ. А шагов по лестнице все нет и нет. Я уж звонил Гарнье, и там ее нет... Вот уже пять часов, ты посиди еще тут, а я съезжу опять на вокзал. Может, она собралась назад, в Лимож?

Жан один в комнате, листает журналы, появляется Жиль.

ЖИЛЬ. Приехал к поезду, обежал все вагоны – ее нет. Поезд ушел – на вокзале пусто. В душе тоже.

Голос его дрожит.

ЖАН. Успокойся. Хочешь, пойдем к нам ужинать?

ЖИЛЬ. С ума сошел! Не двинусь с места, ты уходи, а я буду ждать.

Жан уходит. Жиль остается один.

ЖИЛЬ (*морщась*). О Господи! В голове одна звенящая нота и пустота.

Звонит телефон, Жиль в бессилии опускается в кресло. Однако берет телефонную трубку, трубка пляшет в руках.

ЖИЛЬ. Да-да. Доктор? Это больница?.. Что? Ее нашли в половине двенадцатого? Она сняла номер в гостинице?.. Господи! Приняла огромную дозу гардинала?.. Это ужжа-а-сно!

Ах, оставила записку?

Надежда, надежда хоть есть?! Очень мало?

Организм борется? Сердце, должно быть, не выдержит? О Боже!..

Доктор, я еду, я сейчас, сию минуту...

Жиль бежит по какому-то белому, длинному, бесконечному коридору.

Двери направо, двери налево, все нараспашку – входы, входы и нет выхода, впереди – пустота.

ЖИЛЬ (*бормоча, как безумный*). О Натали! О Натали!.. Входи и не выходи, входи и не выходи... А ты лежишь где-то тут – полуобнаженная, и что-то незнакомое, неведомое уже искажает тебе лицо... О Натали! О Натали! Зачем же все так, зачем?... Синяя жилка бьется, еще бьется, как и билась в часы любви... Слезы искажают и меня всего. Кто посмел отнять тебя у меня, кто? Такую прекрасную, полную жизни, такую любимую. О Натали! О Натали!.. К твоему лбу прилипли мокрые пряди, руки еще движутся по одеялу... О Натали!..

– Доктор, сердце слабеет?

– Доктор да сделайте же хоть что-нибудь!

– Я больше не нужен?.. Уйти?..

Жиль выходит откуда-то и входит куда-то. А в конце коридора – распахнутое окно, зеленая ветка – зачем?

Угасают мелодии – Джо Дассена, Моцарта, Гайдна.

Жиль держит записку в руках, пытается что-то прочесть.

ЖИЛЬ (в сторону). “Вместо подписи ее одна только буква, это буква “Н”. “Что – Наполеон?” О Натали!.. Выходит доктор из двери – какой он безобразно рыжий! Я так и знал, у рыжих на фалангах пальцев растет рыжий пух.

ЖИЛЬ (вслух). Все кончено, да? Кончено все, очень жаль.

Жиль бросается бежать по коридору, натывается на стены, стоит перед белой стеной и плачет, рыдает... О Натали!... Натали!.. Буква “Н” и одиночество.

Мелодия звучит с переборами, в такте его сердцу и затихает, затихает. А в спину крик откуда-то сзади, из распахнутой двери:

– А документы? А ее документы? У нее никого нет, кроме вас?

ЖИЛЬ (кричат исступленно в пустоту, прямо перед собой). Никого! Никого! Одна, только одна буква “Н”.

У нас с ней никого, не было никого, никого, кроме друг друга!

Что я стою один, без тебя? О Натали!

О моя Натали!!

Конец

31 марта 2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
МНОГОЛИКАЯ ДРАМА ТЕАТРА (от автора)	4
“НЕ РЫДАЙ МЕНЯ, МАТИ...”	19
ЛЮБЯЩАЯ МАРИЯ (или ОРЛОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ)	80
ЕХАЛА ТЕЛЕГА ПО ВОЙНЕ	130
В КОЛЬЦЕ НИБЕЛУНГОВ (ДВОЙНИК ГИТЛЕРА)	178
ПЫШКА	217
ЖИЖИ	231
НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ	268

Леонард Золотарев

Люблящая Мария

трагедии · драмы · комедии

Ответственный за выпуск А.П. Литюга
Редактор М.В. Одолева
Художественный редактор А.Ю. Анохин
Корректор А.А. Гудкова
Технический редактор Н.М. Крыжановская

Издательство "Вешние воды". 302000, г. Орел, ул. С.-Щедрина, д. 1.
Сдано в набор 20.11.04. Подписано в печать 24.05.05. Формат 60x90 ¹/₁₆.
Усл. печ. л. 20. Тираж 1200 экз. Заказ 4550

Отпечатано в ОАО "Типография "Труд", г. Орел, ул. Ленина, 1.

